АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1978

СОДЕРЖАНИЕ

Кумахова З. Ю., Кумахов М. А. (Москва). К проблеме классификации функциональных стилей в языках различных типов 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Лаптева О. А. (Москва). Современная русская публичная речь в свете теории стиля. 18
Лопатин В. В., Улуханов И. С. (Москва). Теория грамматики и практика грамматического описания. 38
Палмайтис М. Л. (Тбилиси). Праязык — генетическая или контактная общность? 51

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Филиппов А. В. (Пушкино, Моск. обл.). К проблеме лексической коннотации 57
Комлев Н. Г. (Москва). О критериях правильности высказываний . . . 64
Паулини Э. (Братислава). Дифференциальные признаки гласных словацкого языка. 76
Аванесов Р. И. (Москва). О фонологическом статусе долгих согласных в белорусском языке. 81
Санжеев Г. Д. (Москва). Об аллофонах долгих гласных фонем в монгольских языках. 88
Цывин А. М. (Баку). К вопросу о классификации русских словарей . . . 100
Партенадзе М. Х. (Батуми). О природе слов с пометой «областное» . . 109

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Сковородников А. П. (Красноярск). О соотношении понятий «парцелляция» и «присоединение». 118

Рецензии

Русановский В. М. (Киев). «Русский язык — язык межнационального общения народов СССР». 130
Новикова К. А. (Ленинград). *А. В. Романова, А. Н. Мыреева, П. П. Барашков.* Взаимовлияние эвенкийского и якутского языков 134
Баскаков Н. А., Добродомов И. Г. (Москва). *Е. Н. Шипова.* Словарь тюркизмов в русском языке. 137
Максимов В. И. (Ленинград). «Словарь синонимов. Справочное пособие» 141
Туркин В. Н. (Днепропетровск). *Б. А. Ларин.* Лекции по истории русского литературного языка. 146
Колесов В. В. (Ленинград). *С. А. Высотский.* Средневековые надписи Софии Киевской. 149
Маковский М. М. (Москва). *J. M. Piel, D. Kremer.* Hispano-Gotisches Namenbuch. 152
Агеева Р. А. (Москва) «Ономастика» 156

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103045 Москва, К-45, ул. Жданова, д. 12, корп. 1, комн. 64.

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука»,
«Вопросы языкознания», 1978 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1978

КУМАХОВА З. Ю., КУМАХОВ М. А.

К ПРОБЛЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ В ЯЗЫКАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

В современной лингвистике довольно четко обозначилась несколько необычная (если не сказать — парадоксальная) тенденция, а именно: стремление к построению общей теории как любой отрасли (раздела, подраздела) языкознания, так и отдельных единиц разных языковых уровней на материале нескольких языков. Сразу же отметим, что подобный подход к решению общетеоретических основ отдельных лингвистических отраслей, языковых единиц и категорий не обязательно во всех случаях должен вызвать возражения. На земном шаре представлено огромное количество типологически и генетически различных языков. Даже учет самых существенных особенностей их структурной иерархии практически невозможен ни в одной работе по общей теории того или иного раздела языкознания. Кроме того, нужно признать, что для построения подобных теорий далеко не всегда необходим охват материала очень большого числа языков. Так, общая теория компаративистики, опирающаяся преимущественно на показания индоевропейских языков (причем не всех индоевропейских), является если не универсальной, то по крайней мере применимой ко многим языковым семьям. Объясняется это спецификой самой компаративистики, ее методических приемов и процедуры реконструкции. Разумеется, сравнительное языкознание с рассматриваемой точки зрения не является исключением. Возможны (и имеют достаточно широкое распространение) другие общие теории в языкознании. Этого, однако, нельзя сказать о всех существующих теориях, претендующих на универсальное использование своих исходных постулатов. Со всей определенностью следует подчеркнуть, что некоторые так называемые общие теории (например, синтаксические, словообразовательные и др.) при внимательном ознакомлении с ними оказываются либо частными, либо ущербными с точки зрения их пригодности к материалу иных языковых систем. Это доказывается и тем неоспоримым фактом, что за последние десятилетия нередки случаи, когда общие теории и постулаты общих классификационных схем разбираемого типа не выдерживают испытания временем ввиду того, что они не согласуются прежде всего с многообразием языковой действительности.

Сказанное имеет прямое отношение к некоторым попыткам построения общей концепции и общих классификационных схем функциональных стилей, предпринимаемым за последнее время отдельными специалистами. Основываясь на материале весьма ограниченного числа языков (а иногда одного языка), некоторые авторы стараются дать обоснование положений, имеющих, по их мнению, целью создание обобщенной теории функциональной стилистики и общих принципов классификации функциональных стилей. Однако подобные попытки в области функциональной стилистики остаются еще весьма спорными, хотя правомерность существования общего определения понятия функционального стиля, по-видимому, не подлежит сомнению.

Вряд ли стоит еще раз оговаривать (об этом писали многие исследователи), что функциональный стиль — категория историческая. Однако из этой общеизвестной посылки вытекает, что принципы выделения функциональных стилей, их состав, соотношения между ними (как, впрочем, и сами стилистические средства дифференциации и нормы их отбора) необязательно должны быть одинаковыми в разных языках. Напротив, в языках различных типов классификации функциональных стилей, число выделяемых стилей, их взаимоотношения могут быть разными, поскольку очевидна зависимость формирования и развития функциональной стилистики от экстралингвистических факторов. То же самое следует сказать о материале для стилистической дифференциации и выделения отдельных стилей. В одних языках материалом для дифференциации функциональных стилей может быть литературный язык, а в других языках статус функционального стиля приобретают и иные формы существования языка.

Следует подчеркнуть, что вопросы функциональной стилистики разрабатываются преимущественно на материале старописьменных языков. Исследователям этих языков принадлежат основные концепции и классификации функциональных стилей. Это объясняется тем, что наличие письменной традиции, ее давность, своеобразие формирования письменной литературы, характер ее функционирования оказывают сильное воздействие на развитие стилистической дифференциации. Что касается языков, не обладающих давними традициями письменной литературы, то вопросы функциональной стилистики остаются в них слабо изученными. Применительно к языкам этого типа отсутствуют сколько-нибудь последовательные и обоснованные концепции понимания функциональных стилей, не выработаны принципы их классификации, не выяснено их соотношение.

Мы разделяем точку зрения, согласно которой функциональный стиль — это разновидность общенародного языка, используемая в определенной сфере общественной деятельности и характеризующаяся известной совокупностью лексических, фразеологических, грамматических и отчасти фонетических признаков, «часть из которых своеобразно, по-своему, повторяется в других языковых стилях, но определенное сочетание которых отличает один языковый стиль от другого» [1]. Степень стилистической дифференциации непосредственно определяется коммуникативной сферой, в которой используется данный язык [2]. В разных языках функциональные стили возникают по-разному и в разные исторические эпохи, различны их истоки, состав и форма взаимодействия. Это положение подтверждается на материале языков различных типов.

Во многих новописьменных (младописьменных) языках, в частности западнокавказских (на материале последних преимущественно строится настоящая статья), не только своеобразен состав функциональных стилей, но чрезвычайно подвижны границы между ними, очень сильны традиции фольклора в формировании и развитии языка художественной литературы как особого функционального стиля. Так, анализ материала позволяет выделить в этих языках следующие функциональные стили: устно-поэтический, литературно-художественный и научно-публицистический.

Специалистам, занимающимся разработкой проблем функциональной стилистики, нетрудно заметить, что предложенная классификация не

[1] Р. А. Будагов, К вопросу о языковых стилях, ВЯ, 1954, 3, стр. 67.

[2] Н. Н. Семенюк, Из истории функционально-стилистических дифференциаций немецкого литературного языка, М., 1972, стр. 36; Г. В. Колшанский, Соотношение субъективных и объективных факторов в языке, М., 1975, стр. 204.

совпадает ни с одной из существующих классификаций функциональных стилей. В этом не следует, однако, усматривать какую-то оригинальность данной классификации. Дело заключается, очевидно, в том, что функциональная стилистика языков рассматриваемого типа не стала еще предметом всестороннего, углубленного анализа.

Как будет показано ниже, выделяемые функциональные стили не являются изолированными друг от друга, т. е. не образуют абсолютно замкнутых систем, а широко взаимодействуют. Однако указанные функциональные стили различаются по форме взаимодействия и степени проницаемости. Более подвижен и проницаем литературно-художественный стиль, испытывающий на себе влияние не только устно-поэтической речи, но и территориальных диалектов и других типов речи (обиходно-разговорной речи, просторечия и т. д.).

Особое место среди функциональных стилей занимает устно-поэтический стиль. В этом отношении типологически много общего обнаруживают языки, не имевшие давних письменных традиций. Дело в том, что, как правило, чем моложе письменность, тем богаче и разнообразнее устно-поэтическая речь. Не случайно Л. Н. Толстой, ознакомившись с произведениями устно-поэтического творчества, опубликованными в сборнике «Сведения о кавказских горцах», еще в 1875 г. писал поэту А. А. Фету: «Там предания и поэзия горцев и сокровища поэтические необычайные. Хотелось бы вам послать.. Но не посылаю, потому что жалко расставаться. Нет, нет и перечитываю» [3]. Устно-поэтическая речь имеет многовековую историю, ее истоки уходят в глубокую древность. Касаясь вопроса о наддиалектности языка эпоса, Ф. П. Филин писал: «Широкая распространенность языка эпоса ставила его над диалектными расхождениями, выдвигала его на ступень своеобразного народного койне»[4]. В этой связи А. В. Десницкая отмечает, что фактор устойчивости стереотипных моделей языка фольклора «играет определяющую роль в создании сублимированной формы устной народной речи, которая и по своей функции, и по своим формально-стилистическим признакам, а также и по характеру лексики отличается от речи повседневно-бытового общения» [5].

Устно-поэтическая речь западнокавказских народов, развивавшаяся в условиях длительного отсутствия письменной традиции, характеризуется своими сложившимися языковыми и композиционными особенностями. Возникнув на ранней стадии развития истории данных народов, устно-поэтическая речь выработала в процессе длительного существования свои принципы отбора, сочетания и организации языковых единиц, определяющиеся целями и задачами реализации функции языка в соответствующей сфере общественной деятельности. На протяжении многих столетий устно-поэтическая речь наряду с территориальными диалектами была основной формой выражения общественной функции языка. Устно-поэтическая речь сформировалась как функциональный стиль общенародного языка, впитала в себя многие наддиалектные особенности. Богатство устно-поэтической речи связано с многообразием ее жанров. В этом отношении обращает на себя внимание эпическая поэзия, в особенности героический эпос «Нарты», оказавший значительное влияние на развитие языков и духовной жизни многих народов Кавказа [6].

---

[3] Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 62, М., 1953, стр. 209.

[4] Ф. П. Филин, Очерки истории русского языка до XIV столетия, «Уч. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена», 27, 1940, стр. 92.

[5] А. В. Десницкая, Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка, Л., 1970, стр. 34.

[6] См.: «Сказание о нартах — эпос народов Кавказа», М., 1969.

Подчеркивая необходимость изучения языка фольклора и особенности его поэтического строения, В. Я. Пропп писал, что «фольклор обладает совершенно особой специфической для него поэтикой, отличной от литературных произведений... Генетически фольклор должен быть сближаем не с литературой, а с языком, который также никем не выдуман и не имеет ни автора, ни авторов» [7].

В изучение языка фольклора, в понимание сущности его стилистических и композиционных средств внесли существенный вклад советские ученые (ср. работы В. М. Жирмунского, П. Г. Богатырева, А. В. Десницкой, Л. И. Баранниковой, И. А. Оссовецкого, А. П. Евгеньевой, Н. Рошияну, П. А. Гринцера и др.). Среди фольклористов и отчасти лингвистов получила широкое распространение теория формульности языка эпической поэзии, изложенная в работах М. Парри и А. Лорда [8].

В то же время обращают на себя внимание значительные расхождения во взглядах лингвистов на место устно-поэтической речи в системе языка. Разными исследователями по-разному решается вопрос о том, является ли язык эпической поэзии литературным. Нет единства среди исследователей в понимании роли устно-поэтической речи в формировании литературных языков, в трактовке роли традиции фольклора в развитии языка разных жанров новых (молодых) художественных литератур. Заметим также, что в определении границ между устно-поэтическим творчеством и художественной литературой, их общих и дифференциальных признаков отмечаются существенные расхождения между лингвистами и литературоведами (фольклористами) [9].

Не может подлежать сомнению, что пути развития и степень обобщенности языка фольклора, его традиции и жанровый состав различны у разных народов. С этим связано и решение вопроса о месте устно-поэтической речи в системе общенародного языка. Так, поэтика западнокавказского фольклора достигла большого художественного совершенства, обладает собственным арсеналом средств построения произведений самых разнообразных жанров: эпической поэзии, историко-героических, обрядовых и иных песен, сказок, пожеланий и т. д. При этом степень обработанности языка фольклора определяется различными факторами, например, наличием/отсутствием больших территориальных (диалектных) признаков, характером исполнения произведений устно-поэтического творчества и др. Степень обобщенности, устойчивость традиций и наддиалектных форм во многом зависят от социального положения исполнителей произведений устно-поэтического творчества как в прошлом, так и в наши дни. Певцы (рапсоды) многих народов Кавказа играли исключительно важную роль не только в создании разных жанров устно-поэтического творчества, но и в регламентации его языковых норм, выработке традиционных и наддиалектных явлений. Становлению устно-поэтической речи, возвышающейся над территориальными диалектами, способствовала сама форма института певцов. Дело в том, что на Кавказе были не только оседлые певцы, но и странствующие, «бездомные» (как, впрочем, это имело место в Древ-

---

[7] В. Я. Пропп, Специфика фольклора, «Труды юбилейной научной сессии ЛГУ», 1946, стр. 141—142.

[8] См.: M. Parry, Studies in the epic technique of oral verse, I — Homer and Homeric style, «Harvard Studies in Classical Philology», vol. 41, 1930; II — The Homeric language as the language of an oral poetry, там же, vol. 43, 1932; A. Lord, The singer of tales, Cambridge (Mass.), 1964.

[9] Н. И. Кравцов, Проблемы теории фольклора, «Проблемы фольклора», М., 1975; К. В. Чистов, Специфика фольклора в свете теории информации, «Типологические исследования по фольклору», М., 1975; У. Б. Далгат, Введение, «Роль фольклора в развитии литератур народов СССР», М., 1975.

ней Греции) [10], исполнявшие одни и те же произведения устно-поэтического творчества в разных диалектных регионах.

В этой связи не лишне вспомнить ту высокую оценку, которую М. Горький давал роли народного певца на Кавказе, его традициям в языке художественной литературы. Подвергая резкой критике некоторых писателей, М. Горький в статье «Разрушение личности» пишет: «На Кавказе, в Кабарде еще недавно, по словам Веселовского, существовали гегуако, бездомные народные певцы. Вот как один из них определил свою цель и свою силу: „Я одним словом своим,— сказал он,— делаю из труса храбреца, защитника своего народа, вора превращаю в честного человека, на мои глаза не смеет показаться мошенник, я противник всего бесчестного и нехорошего“» [11]. Далее по адресу писателей М. Горький продолжает: «Если бы они действительно могли подняться на высоту его самооценки, если бы могли понять простую, но великую веру его в силу святого дара поэзии» [12]. Широко известно также обращение М. Горького к представителям национальных литератур на Первом Всесоюзном съезде писателей. Называя народного певца Сулеймана Стальского Гомером XX века, на этом съезде М. Горький сказал: «Берегите людей, способных создавать такие жемчужины поэзии, какие создает Сулейман. Повторяю, начало искусства слова — в фольклоре» [13].

С традициями народного рапсода, с его техникой исполнения произведений фольклора связано образование наддиалектных форм (в лексике, морфологии, синтаксисе и отчасти фонетике) и так называемых общих «темных мест». Последние довольно многочисленны в устно-поэтической речи и выходят за пределы узких локальных границ.

Следует отметить, что устно-поэтическая речь оказалась устойчивой не только в дописьменный период. Устно-поэтическая речь сыграла и продолжает играть значительную роль в развитии языка художественной литературы. Во всяком случае традиции фольклора очень сильны в языке художественной литературы.

Ранний период развития письменной литературы, особенно поэзии, неразрывно связан с фольклорными традициями. Основоположники советской поэзии на западнокавказских языках использовали все богатства устно-поэтической речи, ее лексико-фразеологические, грамматические особенности, принципы и формы построения традиционного стиха. Первые поэты создавали свои произведения по канонам фольклорных произведений, широко используя все жанровое разнообразие устно-поэтического творчества. В этом отношении показательно творчество основоположника кабардинской советской поэзии Али Шогенцукова, погибшего на войне в 1941 г. Влияние лучших образцов устной народной поэзии на формирование литературного стиля поэта является всесторонним и охватывает все уровни языковой структуры (включая фонетику). Этим в значительной степени объясняется широчайшая популярность произведений Али Шогенцукова. Творчески используя народно-поэтические элементы, углубляя традиционно сложившиеся закономерности устной народной поэзии, нередко делая и смелые отступления от ее канонов, поэт очень бережно и с большой любовью относился к слову народной речи, что и выразил в следующих строках:

---

[10] И. М. Тронский, Вопросы языкового развития в античном обществе, Л., 1973, стр. 133.
[11] М. Горький, О литературе, М., 1955, стр. 88.
[12] Там же, стр. 89.
[13] Там же, стр. 764.

Лучшее слово для песни хранится
В речи народной. И если поэт
Словом заветным посмел поступиться,
Тут уж ему снисхождения нет [14].

Следовало бы всегда помнить об этом некоторым молодым (да и не только молодым) поэтам и писателям, слишком увлекающимся теми неоправданными языковыми приемами (искусственными неологизмами и излишними кальками в лексике, синтаксическими конструкциями, построенными на необычной для синтаксиса западнокавказских языков стилистической фигуре — инверсии и т. д.), которые нередко именуются новаторскими.

Устно-поэтическая речь оказывает значительное влияние и на развитие современной художественной литературы. Элементы фольклора, его стилистические и композиционные приемы прослеживаются и в прозе. Характерны в этом отношении, например, прозаические произведения Тембота Керашева, Алима Кешокова, Баграта Шинкуба и др. В произведениях современных западнокавказских писателей и поэтов используется традиционная сказительская манера повествования, лексические и грамматические особенности устно-поэтической речи (образные метафоры и эпитеты народной речи, эпифорические и анафорические предложения, эпические формы обращения), очень широко применяются народные поговорки и пословицы и др. Так, в последнем романе известного абхазского писателя Баграта Шинкуба «Последний из ушедших» повествование ведется от имени старика, в образе которого нашли воплощение высокое мастерство и лучшие традиции народного сказителя, стилистические и композиционные особенности его языка. Иначе говоря, осознание фольклора как устной формы поэтического творчества вовсе не означает, что прерываются его традиции в языке письменной литературы. «Прошлое и настоящее, наследство и современность... Эти понятия тесно связаны, они зависимы, неотрывны. Не учитывая их, нельзя даже наметить путь к дальнейшему, в будущее» [15]. Это относится также к языку, к функциональным стилям и соотношению их устной и письменной форм реализации.

В учебных пособиях и специальных исследованиях по вопросам стилистики употребляют разные термины: «литературно-художественный стиль», «художественный стиль», «стиль художественного произведения», «стиль художественной литературы», «языковый стиль художественной литературы» и др. Встречаются также термины: «художественная речь», «речь художественной литературы», «речьевой стиль художественной литературы» и др. Нередко разные термины составляют лишь синонимический ряд в современных исследованиях по стилистике. Вместе с тем терминологический разнобой отражает также разногласия между исследователями в трактовке вопроса о месте литературно-художественного стиля в системе языка.

Хотя о литературно-художественном стиле накопилась огромная литература, до сих пор по-разному решаются основные проблемы его своеобразия и функционирования. Даже известная дискуссия на страницах журнала «Вопросы языкознания» [16] и специальная конференция «Развитие стилистических систем литературных языков народов СССР», состоявшаяся в Ташкенте в 1966 г. [17], не дали ответов на многие вопросы,

[14] Али Шогенцуков, Избранное, Нальчик, 1975, стр. 288.
[15] Л. Климович, Наследство и современность, М., 1975, стр. 5.
[16] См.: ВЯ, 1954, 1—6; 1955, 1.
[17] См. материалы конференции в кн.: «Развитие стилистических систем литературных языков народов СССР», Ашхабад, 1968. Не утратили своей остроты следующие замечания участников этой конференции: «Одной из очередных актуальных проблем язы-

связанные с природой литературно-художественного стиля. Одной из основных проблем, не получивших однозначного решения, остается отношение литературно-художественного стиля к функциональной стилистике. Разные точки зрения по этому вопросу достаточно хорошо известны. Одни исследователи включают литературно-художественный стиль в число других функциональных стилей. Исходя из положения о стилистической незамкнутости языка художественной литературы, другие исследователи считают невозможным включение литературно-художественного стиля в систему функциональных стилей. Разделяя последнюю точку зрения в отношении синхронного состояния языка, некоторые авторы в то же время не исключают «возможности существования специального литературного стиля в других языках на определенных этапах их развития» [18].

Мы стоим на точке зрения тех, кто язык художественной литературы рассматривает в качестве функционального стиля. Хотя литературно-художественный стиль в силу своих специфических черт образует менее замкнутую систему по сравнению с другими функциональными стилями (это мнение разделяется многими исследователями) [19], проницаемость, гибкость характерны, как неоднократно подчеркивалось в специальной литературе, для любого функционального стиля. В этой связи справедливо отмечалось, что использование иностилевых элементов не означает отсутствия своеобразия стиля и реальности его существования, поскольку степень взаимопроникновения стилей относительна. Поэтому сохраняет свою силу точка зрения, согласно которой «при разумном соблюдении пропорций» разностилевых элементов не уничтожается специфика стиля [20]. Это положение, защищавшееся некоторыми участниками вышеуказанной дискуссии на страницах «Вопросов языкознания», имеет существенное значение для тех литературных языков, которые развиваются под всесторонним влиянием устно-поэтической речи. Естественно, что в этих языках особенно заметна проницаемость литературно-художественного стиля. Преемственность между устно-поэтическим творчеством и художественной литературой делает весьма гибкими границы между фольклором и художественной литературой. Тем не менее выделение языка художественной литературы в качестве функционального стиля важно для новописьменных языков. Язык художественной литературы имеет свои особенности, отличающие его от языка фольклорного творчества. В этой связи характерно, что сторонниками включения стиля художественной литературы в систему функциональных стилей выступают исследователи, признающие даже лишь экстралингвистические критерии его выделения. Отдельные авторы считают, что стиль художественной литературы не обладает своими специфическими языковыми средствами, отличающими его от других функциональных стилей. По их мнению, существование

кознания является определение понятия стилей языка применительно к каждому конкретному языку. Это понятие далеко еще не ясно» (Ф. П. Филин, О норме литературного языка, там же, стр. 46); «Вопросы развития функциональных стилей еще не привлекли к себе внимания специалистов по младописьменным языкам» (П. А. Азимов, В. В. Виноградов, Ю. Д. Дешериев, И. Ф. Протченко, Проблемы стилистики в современном языкознании и некоторые вопросы стилистических систем литературных языков народов СССР, там же, стр. 41).

[18] И. В. Арнольд, Стилистика современного английского языка, Л., 1973, стр. 60.

[19] См., например: Г. В. Степанов, О художественном и научном стилях речи, ВЯ, 1954, 4, стр. 92; В. Г. Адмони, Т. И. Сильман, Отбор языковых средств и вопросы стиля, там же, стр. 99; Р. А. Будагов, В защиту понятия «стиль художественной литературы», «Вестник МГУ», 1962, 4; И. Р. Гальперин, К проблеме дифференциации стилей речи, «Проблемы современной филологии», М., 1965, стр. 65.

[20] Г. В. Степанов, указ. соч., стр. 91.

стиля художественной литературы обосновывается его экстралингвистическими особенностями [21].

Разумеется, при определении стиля художественной литературы немаловажное значение имеет указание на его экстралингвистические особенности. Вместе с тем есть основания полагать, что стиль художественной литературы характеризуется также совокупностью языковых признаков, закрепленных только за ним или преимущественно за ним. Проникновение элементов устно-поэтической речи в язык художественной литературы не ведет к уничтожению его специфики в западнокавказских языках. Как отмечалось в литературе, о реальном существовании литературно-художественного стиля свидетельствует то существенное обстоятельство, что он осознается и вычленяется практически при его сопоставлении с другими функциональными стилями [22]. Причиной этого служат как экстралингвистические факторы (эстетическая функция языка художественной литературы), так и наличие совокупности языковых признаков, характерных преимущественно или только для данной разновидности языка. Так, сравнение текста произведений художественной литературы с текстом языка научного изложения или устно-поэтической речью без особого труда выявляет принадлежность каждого из них к определенному функциональному стилю. Ср. следующие примеры: *ИжъкIэ къырыкIогъэ хэбзэжъ горэм тетэу, адыгэ къоджэ цIыкIум ыкIыб псыхъо нэпкъым егъэзыгъэу Iус. Акэцэ чъыгхэмрэ пцэл шъхьэпыращэхэмрэ захиутыгъуагъэу, блэкIыгъэ бэлэхьэхэм агъэщтагъэм фэдэу, чIыгум хэIубагъэу щыс. Мэзэу шъхьащытым мэщытышхом иазэнэджэпIэ закъор лъагэу, мазэныкъор, къохалъэ тамыгыэм фэдэу шъхьэщысэу, къыхэщы. Къуаджэм тезэч Iугьо тIэкIухэри къыхэу,— шъолъырым фэдэу, псыгъоу ошъогум занкIэу дэкIуаех* «По каким-то еще издревле установленным законам аул теснился к реке. Казалось, напуганный прошлыми бедами, он притаился в густой зелени верб и акаций. Тонкий минарет большой мечети возвышался над аулом, и полумесяц на нем блестел, как надмогильный знак. Местами к небу тихо вились тонкие, как кожаные нитки, ленты кизячного дыма»; *Тызхэхьэгъэ япшIэнэрэ пятилеткэм адыгэ советскэ литературэм итарихъкIэ очеркхэр къыдагъэкIыгъэнхэр анэхъ пшъэрылъ инэу тиI. А IофшIэныр зэшIохыгъэным зэкIэ тихэку научнэ IофыщIэу, критикэу, писателэу исхэр къыхэтэгъэлажьэ.* «Издание очерков по истории адыгейской советской литературы является нашей основной задачей в наступившей девятой пятилетке. В создании очерков примут участие научные работники, критики и писатели области».

Первый отрывок (им начинается известный роман Тембота Керашева «Насыпым игъогу» — «Дорога к счастью») значительно отличается от второго отрывка (взятого из статьи Ш. Хута, опубликованной в адыгейской областной газете) своей лексикой, фразеологией и другими языковыми особенностями, в совокупности создающими особые функции литературно-художественного стиля.

Второй отрывок не только изобилует неологизмами, но включает синтаксические кальки и полукальки, штампы и стандартные выражения, свойственные научно-публицистической речи, грамматические формы, характерные для книжно-письменной речи (ср. формы на *-гъэ* вместо масдарных форм: *IофшIэныр зэшIохыгъэным* «решение (осуществление) дела», *очеркхэр къыдэгъэкIыгъэнхэр* («издание очерков») и др.

Указанные примеры относятся к прозаической речи. Различия между разными функциональными стилями сравнительно легко выявляются

[21] Е. С. Троянская, К общей концепции понимания функциональных стилей, «Особенности стиля научного изложения», М., 1976, стр. 72.

[22] Р. А. Будагов, Человек и его язык, М., 1974, стр. 113.

также при сопоставлении разных типов стихотворной речи. Например, читатель без труда определяет, что является произведением коллективного, народного устно-поэтического творчества и что относится к творениям современных поэтов. Характерно, что между ними не стираются существенные различия и в тех случаях, когда совпадают жанры устно-поэтического творчества и современной поэзии. Так, в современной поэзии западнокавказских (и не только западнокавказских) народов часто встречается здравица (пожелание) — одна из форм малых жанров, имеющих широкое распространение в устно-поэтическом творчестве. Современные поэты также стараются сохранить элементы форм традиционных здравиц и пожеланий. Однако читателю все же очень легко отличить традиционные формы этого жанра от современных. Причем дифференциальные признаки охватывают не только лексику и семантику, но и морфологию (например, традиционные повторы морфем), синтаксис (значительный объем предложения, состоящего из небольших, иногда одночленных простых предложений, имеющих очень высокую частотность повторяемости). Что же касается, например, таких языковых явлений, как старые формы эпического обращения, эпифорические предложения, стиховые комплексы, образующие единое синтаксическое целое, и многие другие особенности, то они стилистически маркированы. Они либо закреплены за устно-поэтическим стилем, либо характеризуются в нем своеобразным использованием, особой сочетаемостью.

Как отмечалось выше, становление некоторых новописьменных литературных языков на их начальных этапах происходило вообще в сфере поэзии. А на поэзию этого периода многообразно влиял не только фольклор, но и территориальные диалекты, разговорно-обиходная речь, элементы других типов речи. Формирование языка прозаической художественной литературы относится к более позднему периоду. Однако это не означает, что язык художественной литературы становится замкнутым, неподвижным в последующие периоды развития, хотя влияние фольклора становится менее значительным по сравнению с первоначальным этапом его становления. Вместе с тем обращает на себя внимание то обстоятельство, что в последующие периоды язык художественной литературы характеризуется весьма интенсивным процессом освоения заимствований. Это объясняется усилением языкового контактирования. Огромный поток новых заимствований проник в лексику, что создало благоприятную почву для образования синонимических рядов. Новые заимствования стали употребляться наряду со старыми заимствованиями (арабизмами, тюркизмами, фарсизмами), а иногда и конкурировали с исконными лексическими единицами. Все это способствует стилистической дифференциации, поскольку вариативные формы и члены синонимических рядов, как правило, стилистически маркированы. В лексике постепенно наметилась тенденция к вытеснению старых заимствований (а в ряде случаев и исконных единиц) новыми заимствованиями. Этот сложный процесс отличается разнонаправленными тенденциями: с одной стороны, наблюдается тенденция снижения удельного веса элементов фольклора, переход старых заимствований в пассивный запас лексики, в разряд историзмов, архаизмов, а с другой — освоение большого числа новых заимствований. В истории развития западнокавказских литературных языков имели место также некоторые пуристические тенденции. Следует подчеркнуть, что все эти разнонаправленные тенденции, хотя и стали менее интенсивными, нельзя считать завершенными.

Заимствования при всей их важности еще не самый главный показатель иноязычного влияния. Процессы языковых контактов в

области функциональной стилистики охватывают не только лексику, но и другие уровни языковой структуры. Кроме того, и это важно отметить, не только в лексике, но и в морфологии и синтаксисе в разные периоды действуют разные тенденции в истории стилистической дифференциации. Так, например, лексико-семантические и грамматические особенности, считавшиеся в начальный период нормой молодого литературного языка, в последующий период приобретают стилистическую окраску, свойственную только книжно-письменному языку. Подобные примеры не единичны.

Научно-публицистический стиль, как и литературно-художественный, в новописьменных языках относится к функциональным книжным стилям. Однако вопрос о книжных стилях не получил однозначного решения в лингвистической литературе. Терминологический разнобой и связанное с ним разное понимание понятия «книжный стиль» до конца не преодолены даже в последних работах по стилистике старописьменных языков. Что касается стилистических исследований по языкам с молодой письменной традицией, то здесь термин «книжный» нередко используется как синоним термина «письменный».

Среди исследователей нет единства по вопросу о том, какие стили относятся к разряду книжных. Справедливо указывая на сложную иерархию стилей и форм речи, В. Г. Костомаров отмечает: «Термины „книжный" и „разговорный" можно соотнести с понятием целеустремленного отбора и организации языковых средств выражения и различать книжные (связанные своим развитием с „ученостью", „книжностью", письменно-литературной традицией) и разговорный (повседневно-бытовой) стили» [23].

М. Н. Кожина считает, что явления книжного языка охватывают полностью или частично все выделяемые ею функциональные стили: законодательный, научный, публицистический, художественный, разговорно-бытовой[24]. По классификации М. Н. Кожиной, с точки зрения «книжности», полярными оказываются законодательный стиль (развивающийся только в книжной форме) и разговорно-бытовой стиль (лишь частично проявляющийся в книжной форме)[25].

Разграничивая книжные и разговорные стили, А. К. Панфилов пишет: «Если исходить из понимания функционального стиля как особой языковой подсистемы, то в составе современного русского литературного языка мы обнаружим основные функциональные стили: официально-деловой, научный, производственно-технический, публицистический и разговорный. Первые четыре являются книжными и противопоставляются разговорному»[26].

К числу книжных Д. Э. Розенталь относит научный, официально-деловой, публицистический и литературно-художественный (иначе художественно-беллетристический) функциональные стили, хотя он оговаривает, что литературно-художественный стиль не попадает в один ряд с другими книжными стилями в связи с присущим ему своеобразием[27]. Существуют и другие взгляды на состав книжных стилей и критерии их выделения.

---

[23] В. Г. Костомаров, О разграничении терминов «устный» и «разговорный», «письменный» и «книжный», «Проблемы современной филологии», М., 1965, стр. 172.

[24] М. Н. Кожина, К основаниям функциональной стилистики, Пермь, 1968, стр. 187.

[25] Там же.

[26] А. К. Панфилов, История становления публицистического стиля современного русского литературного языка. АДД, М., 1974, стр. 10.

[27] Д. Э. Розенталь, Практическая стилистика русского языка, М., 1974, стр. 25.

Если возникновение стиля устно-поэтической речи относится к ранним и дописьменным периодам развития языков, то формирование книжных стилей связано с созданием и развитием письменности. Правда, теперь произведения, принадлежащие к книжным стилям, очень часто получают распространение с помощью радио, телевидения, кино, театра и других средств массовой коммуникации. Поэтому, разумеется, нельзя утверждать, что книжные стили функционируют исключительно в письменной форме. Однако в новописьменных языках книжный стиль не только зарождается, но и преимущественно развивается в письменной (писанной, закодированной графикой) форме. Кроме того, и это весьма существенно, устная передача по радио и телевидению заранее подготовленного, неспонтанного, письменного текста, официального сообщения, публичной речи, связанной с наукой, политикой и т. д., не теряет элементов книжного стиля в языках рассматриваемого типа.

Состав книжных стилей, их историческое соотношение и взаимопроникновение, формы их реализации различны в разных языках. Вообще историю книжных стилей невозможно рассматривать в отрыве от истории общенародного языка, условий его функционирования, характера взаимосвязи между разными формами существования языка. Во всяком случае экстралингвистические стилеобразующие факторы различны в различных языках. Одним из важнейших условий, определяющих специфику книжных стилей, их соотношение и степени развития, является давность литературно-письменной традиции.

Не все книжные стили, характерные для языков с давней письменной традицией, свойственны новописьменным литературным языкам. Так, выделяемые исследователями для ряда старописьменных литературных языков официально-деловой, производственно-технический и другие книжные стили не получили развития в западнокавказских литературных языках. Создание письменности на этих языках обусловило появление публицистического (политико-идеологического — по другой терминологии) стиля. Рост газетно-публицистической литературы, охватывающей по своему содержанию культурные, экономические, политические, идеологические, философские и другие проблемы, требовал новых лексических, семантических и грамматических (особенно синтаксических) средств, необходимых для публицистической речи. Особенности публицистической речи встречаются не только в языке оригинальных публицистических произведений (в газетах, журналах, выступлениях на собраниях, митингах и т. д.), но также и в языке переводной политической литературы.

Не требует доказательств положение о том, что в современном обществе наука занимает особое место. Существенно расширился круг людей, занимающихся наукой. Сама научно-техническая революция развивается бурными темпами, что порождает свои формы общения. В силу своей особой специфики в старописьменных языках уже выработался свой язык, характеризующийся логической последовательностью, лаконичностью и точностью.

На новописьменных языках появилась значительная литература, посвященная самым различным вопросам науки. Так, основные жанры научного языка — статья, монография, учебник, лекция — уже существуют на западнокавказских языках. Естественно, что западнокавказские языки во многом отличаются от старописьменных языков по степени развития научного стиля и внутренней его дифференциации. Многие старописьменные языки в течение столетий выработали собственный научный стиль, довольно четко отличающийся от других функциональных стилей и обладающий различными подстилями. Так, особыми подстилями научной речи русского литературного языка считаются

научно-технический, научно-деловой и научно-популярный[28]. Разумеется, в этом отношении новописьменные языки имеют свои особенности. Нельзя сказать, что во всех этих языках процесс становления и дифференциации научного стиля закончен. Например, научно-деловой подстиль (стиль патентной литературы) не получил развития в западнокавказских языках. Разграничение научно-технического и научно-популярного подстилей не является также таким бесспорным и очевидным фактом, как это имеет место в ряде старописьменных языков. Научная речь как стилевое явление в западнокавказских литературных языках не всегда четко отграничивается своими выразительными средствами от речи публицистической. Функциональные средства (лексические, словообразовательные, морфологические, синтаксические) научного стиля нередко перекрещиваются с функциональными средствами публицистической речи. Признаки научной речи нередко повторяются в публицистической речи. Однако следует иметь в виду, что взаимодействие разных типов речи и разных стилей, взаимопроникновение их элементов является одной из характерных черт вообще всей стилистической системы языка.

Другое дело — границы между разными стилями, степень их развития и обособления друг от друга в разных языках. В западнокавказских языках границы между публицистической и научной речью менее очерчены по сравнению, например, с русским языком. Для научной и публицистической речи характерен целый ряд стилеобразующих признаков, дающих основание выделить научно-публицистический стиль в системе западнокавказских литературных языков. Естественно, что научно-публицистический стиль допускает внутреннее разделение на подстили (научный и публицистический), хотя описание каждого из них как отдельной, замкнутой системы (или подсистемы) наталкивается на определенные трудности в силу незавершенности процессов становления функциональных стилей западнокавказских литературных языков.

Иначе ставится вопрос о месте разговорной (обиходно-разговорной, устно-разговорной) речи в системе функциональных стилей. Не вдаваясь подробно в историю вопроса, отметим, что изучение разговорной речи, начатое еще в 20-е годы нашего столетия трудами Л. П. Якубинского и Б. А. Ларина[29], за последние два десятилетия привлекает к себе все большее и большее внимание исследователей. Правда, основные работы советских лингвистов и в этой области посвящены старописьменным языкам[30].

Хотя уже имеется значительная литература по исследованию вопросов разговорной речи, накоплен известный опыт в нашей стране и за рубежом, вопрос о месте разговорной речи в системе языка, о ее отношении к функциональным стилям, территориальным диалектам и кодифицированному

[28] О. Д. Митрофанова, Язык научно-технической литературы, М., 1973, стр. 18.

[29] Л. П. Якубинский, О диалогической речи, «Русская речь», I, Пг., 1923; Б. А. Ларин, О лингвистическом изучении города, «Русская речь», III, Л., 1928.

[30] См., например: Н. Ю. Шведова, Очерки по синтаксису русской разговорной речи, М., 1960; А. А. Никольский, Очерки по синтаксису русской разговорной речи, Душанбе, 1964; В. Д. Девкин, Особенности немецкой разговорной речи, М., 1964; В. Г. Костомаров, К итогам дискуссии о разговорной речи, «Р. яз. в нац. шк.», 1966, 6; Ю. М. Скребнев, Общелингвистические проблемы описания синтаксиса разговорной речи. АДД, М., 1971; Т. Г. Винокур, Стилистическое развитие современной разговорной речи, «Развитие функциональных стилей современного русского языка», М., 1968; «Русская разговорная речь», Саратов, 1970; Н. А. Шигаревская, Очерки по синтаксису современной французской разговорной речи, Л., 1970; «Русская разговорная речь», М., 1973; О. Б. Сиротинина, Современная разговорная речь и ее особенности, М., 1974; О. А. Лаптева, Русский разговорный синтаксис, М., 1976.

литературному языку, о характере и условиях ее функционирования и степени ее обработанности не получил однозначного решения. Характерно, что сами экстралингвистические критерии, на основании которых определяется понятие разговорной речи (ситуации, в которых реализуется разговорная речь), различны у разных авторов. Так, определяющими признаками условия использования разговорной речи одни ученые считают неофициальность общения, другие — устный характер речи, третьи — непосредственность, непринужденность общения, четвертые — спонтанность или неподготовленность речевого акта и т. д. Среди исследователей нет единства даже по вопросу о тематике разговорной речи. Некоторые авторы считают, что разговорная речь обнаруживается обычно в сфере бытовой тематики, а другие полагают, что разговорная речь обслуживает и другие сферы, например, разговор в неофициальной обстановке о науке, политике, искусстве и т. д. На последней точке зрения стоят авторы монографии «Русская разговорная речь»[31]. Некоторые исследователи отмечают, что разговорная речь обнаруживается как в устной, так и в письменной форме[32], а другие — рассматривают устную форму, определяемую непосредственностью общения, единственной формой существования разговорной речи[33].

Неодинаково понимание отношения разговорной речи к литературному языку, функциональной стилистике и местным диалектам. Здесь имеются существенные расхождения между исследователями разговорной речи. В упоминавшейся монографии «Русская разговорная речь» подчеркивается, что «рассмотрение РР в качестве функционального стиля неправомерно»[34]. Авторы монографии исходят из того, что разговорная речь обладает самодостаточной системой и противопоставлена не функциональным стилям (по их мнению, лишенным самодостаточных систем), а кодифицированному литературному языку в целом [35]. Оспаривая правомерность подобного противопоставления, Ю. М. Скребнев в своей рецензии на эту монографию полагает, что разговорная речь и кодифицированный литературный язык «различаются лишь своими периферийными областями» [36].

Некоторые исследователи — В. Барнет, А. Н. Васильева, Ю. М. Скребнев, Л. К. Павлова и др. — рассматривают разговорную речь как один из функциональных стилей[37]. Подводя итоги дискуссии о разговорной речи на страницах журнала «Русский язык в национальной школе», В. Г. Костомаров не без основания отметил, что при наличии литературно-разговорной нормы ядро разговорной речи противопоставляется книжным стилям[38]. Другие исследователи старописьменных языков в разговорной речи видят действие различных факторов — проявление литературных и нелитературных норм, сочетание разностилевых элементов в пределах

---

[31] «Русская разговорная речь», М., 1973, стр. 12—13.

[32] Н. Ю. Шведова, указ. соч., стр. 24—26; Т. Г. Винокур, Стилистическое развитие современной русской разговорной речи, «Развитие функциональных стилей современного русского языка», М., 1968, стр. 16.

[33] О. Б. Сиротинина, указ. соч., стр. 25—26.

[34] «Русская разговорная речь», М., 1973, стр. 21.

[35] Там же.

[36] Ю. М. Скребнев, [рец. на кн.:] «Русская разговорная речь», ВЯ, 1976, 3, стр. 141.

[37] V. Barnet, Yaký je lingvistický status hovorové ruštiny?, «Československá rusistika», 1970, 2; А. Н. Васильева, Разговорная речь как функциональный стиль, «Вопросы стилистики в преподавании русского языка иностранцам», М., 1972; ее же, Курс лекций по стилистике русского языка, М., 1976; Ю. М. Скребнев, Общелингвистические проблемы синтаксиса разговорной речи. АДД, М., 1971; А. К. Павлова, Субстантивные словосочетания в разговорной речи. АКД, Саратов, 1972.

[38] В. Г. Костомаров, К итогам дискуссии о разговорной речи.

национального языка. С этим связано изучение сходства форм проявления разговорной речи с особенностями территориальных диалектов[39].

Итак, вопрос о разговорной речи, ее месте в кругу других форм существования языка остается спорным в лингвистической литературе. Однако при всей дискуссионности этого вопроса представляется бесспорным тот факт, что отнесение разговорной речи к функциональным стилям литературного языка предполагает прежде всего наличие признака обработанности. В этом отношении и здесь должен быть дифференцированный подход к решению проблемы, поскольку степень обработанности разговорной речи неодинакова в разных языках. Если применительно к таким старописьменным языкам, как русский (с его относительной близостью территориальных диалектов), считается бесспорной неоднородность разговорной речи, ее связь с диалектами, а также отмечается наличие в ее составе разных пластов, в том числе «нелитературной» части[40], то в отношении новописьменных языков следует подчеркнуть, что картина оказывается значительно более пестрой и сложной.

Вообще исследователи истории литературных языков справедливо отмечают, что формирование норм устно-разговорной разновидности литературного языка относится к более позднему этапу его существования. В этой связи М. М. Гухман пишет, что в литературном языке время выработки норм устно-разговорной формы «нередко охватывает значительный период истории национального языка» [41]. Так, например, не только в XIX, но и в XX в. в немецком литературном языке, «особенно в его разговорно-бытовом использовании, все еще сохраняются местные различия в лексике, фразеологии и отчасти в грамматике» [42].

О позднем периоде формирования норм разговорной разновидности русского литературного языка писали Л. И. Баранникова, О. А. Лаптева [43] и др. Мы разделяем точку зрения, согласно которой «приходится отрицательно оценивать возможность существования каких-то положительных показателей устно-речевой нормы на ранних этапах складывания национального литературного языка, когда устная речь его носителей обнаруживала отчетливые признаки близости к диалектной среде различной территориальной отнесенности» (разрядка наша.— *З.К.*, *М.К.*) [44].

Необходимо указать на неоднородность и вариативность разговорной речи и отсутствие твердых норм ее реализации во многих языках, не имевших давних письменных традиций. Степень неоднородности и варьирования значительно усиливается при наличии сильного диалектного дробления, как это наблюдается, например, в отношении западнокавказских языков. В последних вариативность, локальные особенности в произношении (и не только в произношении) устойчиво сохраняются в разговорной речи, что тормозит процессы формирования норм, необходимых для выделения ее в качестве особого функционального стиля литературного

---

[39] О. А. Лаптева, Литературная и диалектная разновидности устно-разговорного синтаксиса и перспективы их сопоставительного изучения, ВЯ, 1969, 1.

[40] См., например: В. Г. Костомаров, К итогам...; О. А. Лаптева, Литературная и диалектная разновидности...

[41] М. М. Гухман, Существует ли литературный язык в донациональную эпоху?, «Проблемы истории и теории мировой культуры» (Сб. статей памяти акад. Н. И. Конрада), М., 1974, стр. 50.

[42] М. М. Гухман, Становление литературной нормы немецкого национального языка, «Вопросы формирования и развития национальных языков», М., 1960, стр. 252.

[43] Л. И. Баранникова, Социально-историческая обусловленность места разговорной речи в общенародном языке, ВЯ, 1970, 3, стр. 101—103; О. А. Лаптева, Русский разговорный синтаксис, стр. 22—24.

[44] О. А. Лаптева, Русский разговорный синтаксис, стр. 22.

языка. Если в отношении формирования устно-поэтического стиля значительную роль сыграл фактор многовековой традиции устной речи, а образование литературно-художественного и научно-публицистического стилей в значительной степени обусловлено созданием письменности, т. е. письменной фиксацией текста, то подобные факторы, способствующие сложению функциональных стилей, отсутствуют в сфере устно-разговорной речи. Из этого, однако, не следует, что разговорная речь остается неизменной. Разумеется, разговорная речь определенной части носителей языка приближается к литературной норме. Так, в отношении одного из языков рассматриваемого типа З. И. Керашева справедливо отмечает, что образованные люди «стремятся говорить на литературном языке» (разрядка наша.—*З.К., М. К.*) [45]. Стремление части носителей языка говорить на литературном языке, бесспорно, свидетельствует о начатках складывания разговорной речи как функционального стиля литературного языка. Вместе с тем наблюдения показывают, что этот процесс не является гладким. В этой связи прежде всего обращает на себя внимание ситуативное переключение лиц, стремящихся говорить на литературном языке, на ненормированную речь, на местные диалекты в зависимости от конкретных условий, в которых осуществляется коммуникативная функция языка. Иными словами, индивид (или группа социально однородных индивидов) может пользоваться несколькими разновидностями языка, что связано с отсутствием прямого параллелизма между социальными и языковыми дифференциациями [46]. В дальнейшем, очевидно, произойдет снижение степени неоднородности устно-разговорной речи, удельного веса региональных и иных признаков, усиливающих ее ненормативный характер. На современном этапе развития западнокавказских языков тесная связь разговорной речи основной массы носителей этих языков с территориальными диалектами, отсутствие в ней целенаправленного отбора речевых средств, недостаточная степень ее нормированности и обработанности не позволяют четко выделить ее в качестве функционального стиля литературного языка.

Итак, принципы выделения функциональных стилей, их классификация и состав, соотношения между ними не обязательно должны быть одинаковыми в разных языках. В то же время есть основания полагать, что с точки зрения состояния и развития функциональных стилей, характера их взаимосвязи и взаимодействия, отношений к другим формам реализации языка (территориальным диалектам, разговорно-бытовой речи и т. д.) языки определенного типа (например, многие языки с молодой письменной литературой) могут обнаружить структурные общности, представляющие значительный интерес для разработки теории социолингвистики, истории и типологии литературных языков.

---

[45] З. И. Керашева, Некоторые вопросы становления адыгейского литературного языка, «Адыгейская филология», Ростов-на-Дону, 1976, стр. 20.

[46] О динамической характеристике социальных и языковых фактов см.: В. М. Жирмунский, Проблемы социальной диалектологии, ИАН ОЛЯ, 1964, 2, стр. 109; М. М. Гухман, Н. Н. Семенюк, О социологическом аспекте рассмотрения немецкого литературного языка, «Норма и социальная дифференциация языка», М., 1969, стр. 10.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1978

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ЛАПТЕВА О. А.

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПУБЛИЧНАЯ РЕЧЬ В СВЕТЕ ТЕОРИИ СТИЛЯ

I

Функционирующий литературный язык обслуживает коллектив пользующихся им говорящих применительно к самым разнообразным нуждам коммуникации. Чем более развитым является общество, тем многообразнее потребности общения. Утверждаясь общественной практикой, эти потребности постепенно ведут к возникновению определенных сфер общения, которые обычно обнаруживают тенденцию к исторической консолидации. Число таких сфер общения стремится полностью удовлетворить нужды коммуникации и поэтому увеличивается по мере их роста.

Как отвечает структура литературного языка этим процессам? Наблюдается ли одно-однозначное соответствие: сфера общения — функциональная разновидность литературного языка, обслуживающая эту сферу? Такое положение просто и непосредственно соответствовало бы потребностям языкового общения: за каждой сферой была бы закреплена соответствующая область литературного языка. Однако подобное гипотетически предполагаемое упрощенное решение встречает серьезное и, более того, непреодолимое препятствие со стороны обратно направленной объединяющей тенденции, ведущей к формированию у данного национального объединения говорящих единого национального литературного языка. Таким образом, перед нами противоборствующие тенденции дифференциации и интеграции литературного языка: растущие и расширяющиеся нужды общения требуют закрепления за соответствующими сферами своих языковых средств, а интересы нации требуют языкового единства. Если бы тенденции к дифференциации не противостояла тенденция к интеграции, произошел бы распад литературного языка. Между тем исторически обычно наблюдается обратное положение — рост, развитие и упрочение нации и государственности ведет к обогащению и развитию национального литературного языка, к упрочению его позиций [1].

Взаимодействие названных тенденций ведет к возникновению сложных процессов в развитии литературного языка, процессов собственно языковых, но обусловленных экстралингвистически. Эти процессы прежде всего касаются реального функционирования о б щ е л и т е р а т у р н о й о с н о в ы, или нейтральных языковых средств.

[1] См.: В. В. В и н о г р а д о в, Различия между закономерностями развития славянских литературных языков в донациональную и национальную эпохи, М., 1963; е г о ж е, Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка, М., 1958; A. J e d l i č k a, Spisovný jazyk v současné komunikaci, Praha, 1974; Ф. П. Ф и л и н, Об истоках русского литературного языка, ВЯ, 1974, 3; е г о ж е, О структуре современного русского литературного языка, ВЯ, 1973, 2; сб. «Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах», М., 1976; М. М. Г у х м а н, (гл. 8 в кн.:) «Общее языкознание», М., 1970.

Успехи так называемой «функциональной стилистики» в отечественной русистике связаны, напротив, с разработкой вопросов о составе и функционировании не общелитературных, но специфических языковых средств, характеризующих общение в разных функциональных сферах [2]. В последнее время выявлены специфические средства русской научной, публицистической, разговорной, отчасти художественной и деловой речи. При этом сразу же обнаружилась знаменательная диспропорция в количестве работ, посвященных этим видам литературной речи, и в степени изученности этих видов. Если судить лишь по этим показателям (а они, конечно, отражают не только субъективные пристрастия и избирательность интересов исследователей или ход развития русистики, но и некую объективную языковую данность), то можно увидеть, что отношение выделяемых разновидностей литературного языка к некоей идеальной категории «функциональный стиль» оказывается различным [3]. Этот термин согласно и с очевидными основаниями применяется исследователями к научной речи (правда, с разноречивыми добавлениями: «научный стиль речи» [4] и «научный стиль литературного языка»), которой и посвящено большинство имеющихся работ, в то время как к другим видам речи, обслуживающим иные сферы общения, он применяется далеко не всеми исследователями, а если и применяется, то с большой осторожностью: предпочитают говорить о «разновидности литературного языка» [5], о «функционально-стилевом единстве» [6], о «функциональных сферах речи», о «речевой сфере» [7], о типе речи [8], о тех или иных группах текстов [9] или обходиться еще более описательными способами.

Как отнестись к такому положению? Думается, что оно следует из того объективного факта, что параметры так называемого «функционального стиля» не являются чем-то жестко неизменным, что эта категория скорее отражает лишь самую несомненность дифференциации литературного языка по областям использования наиболее частотных средств и принципам их организации, нежели вмещает в себя содержательные признаки более дробного и потому более детерминированного характера. Собственно, упомянутые общие признаки только и выступают как релевантные, а дополнительные ограничения понятия неизбежно варьируются. Не случайно имеющиеся определения функционального стиля предельно дробны и разноречивы; они нацелены на учет и отражение признаков не только перманентных, но и варьирующихся [10]. Само количество выделяемых стилей колеблется от практически неисчислимого до единицы [11].

---

[2] Ю. М. Скребнев склонен даже только на дифференцирующих признаках строить определение понятия «стиль». См.: Ю. М. Скребнев, Очерк теории стилистики, Горький, 1975, стр. 40.

[3] См.: Е. Ф. Петрищева, Стиль и стилистические средства (обзор взглядов советских лингвистов), сб. «Стилистические исследования», М., 1972.

[4] См.: М. Н. Кожина, О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми другими, Пермь, 1972; О. Д. Митрофанова, Язык научно-технической литературы, М., 1973.

[5] См.: Ф. П. Филин, О структуре современного русского литературного языка.

[6] См.: В. Г. Костомаров, Русский язык на газетной полосе, М., 1971.

[7] См.: О. А. Лаптева, Русский разговорный синтаксис, М., 1976.

[8] См.: М. П. Сенкевич, Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений, М., 1976.

[9] См.: «Частотный словарь русского языка», М., 1977, стр. 8—11, 27—28.

[10] См.: M. Jelínek, Stylistické aspekty gramatického systému (gramatické dublety a konkurenty), «Stylistické studie», II, Praha, 1974; В. Г. Костомаров, Возможная концепция функциональных стилей, сб. «Из опыта преподавания русского языка нерусским», 5, М., 1971.

[11] См.: О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, М., 1969, стр. 455—456.

К этой трудности добавляется еще нечеткость выделения таких категорий, как «стиль речи» и «стиль языка» [12]. Нередко они разъединяются как дихотомически соотнесенные понятия; с другой стороны, некоторые несомненно языковые функциональные категории упорно и уже вполне традиционно именуются «стилем речи» («научный стиль речи»). А между тем вопрос здесь, видимо, в том, охватываются ли функциональным размежеванием по сферам общения явления языкового (системного) или речевого (узуального) плана, вовлекается ли в такое размежевание категория нормы. Очевидно, при ответе на этот вопрос нет необходимости вставать на позиции детерминированной бинарности. Отношения языковой действительности сложнее, и интересующее исследователей размежевание может одновременно охватывать названную Э. Косериу триаду (система—норма—узус). Обычно и в категории «стиль речи», и в категории «стиль языка» объединяются и системные, и узуальные моменты. Здесь следует вообще иметь в виду, что отношения системности — узуальности даже и в языке в целом всегда наличествуют о д н о в р е м е н н о .

Выделение некоторой области из состава литературного языка для обслуживания соответствующей коммуникативной сферы — процесс исторический; степень и широта его осуществления прямо пропорциональна степени коммуникативной обособленности самой этой сферы и зависит, кроме того, от ряда экстралингвистических факторов, в том числе от давности обособления данной области литературного языка. Здесь важны также особенности плана содержания коммуникативной сферы, которые обычно влекут за собой и возникновение определенных особенностей плана выражения [13]. Категории «стиль языка» и «стиль речи» не отражают этого положения полностью, поскольку существенным, дифференцирующим признаком является с т е п е н ь о б о с о б л е н и я данной области литературного языка. Думается, что разные представления о достаточности степени обособления и являются причиной столь знаменательного количественного расхождения в числе выделяемых стилей.

Именно поэтому общие признаки, формирующие понятие «функциональный стиль» (некоторый набор средств выражения плюс определенный способ их организации), хотя и не являются достаточными для содержательного отграничения этой категории от родственных («функционально-стилевое единство», «функционально-речевая сфера» и под.), тем не менее не могут быть уточнены указанием на дополнительные ограничительные признаки, общие всем «стилям». Тем самым понятие «функциональный стиль» оказывается в значительной степени условным, оно слишком широко и расплывчато и теряет обозримые очертания. Никакие попытки объемного увеличения его определения не могут сделать его более адекватным, не лишая его при этом общего характера [14].

Д л я п о с т р о е н и я м о д е л и д и ф ф е р е н ц и а ц и и л и т е р а т у р н о г о я з ы к а н е о б х о д и м о р а з р а б о т а т ь н е к о т о р у ю т и п о л о г и ю с о о т н о ш е н и я о б щ е л и т е р а т у р н ы х и с п е ц и ф и ч е с к и х с р е д с т в. Ее варьирование будет определяться реальной долей и составом общелитературных средств в данной разновидности литературного языка, характером и степенью их преобразования в ней, а также долей и составом специфических средств, возникновение и обособление которых непосредственно связано с характером и степенью преобразования общелитератур-

[12] См.: Г. А. В е й х м а н, О стилистический классификации современного английского языка, ФН, 1958, 4.

[13] M. J e l í n e k, указ. соч., стр. 76 и сл.

[14] Ср., например: М. Н. К о ж и н а, К основаниям функциональной стилистики, Пермь, 1968, стр. 110.

ных средств. Этот параметр позволяет оценить степень изолированности, самостоятельности данной функциональной разновидности в составе литературного языка.

Со специфическими функционально-стилевыми средствами положение достаточно ясное: их выявление позволяет констатировать наличие функциональной разновидности литературного языка, а само привлечение их к употреблению регулируется факторами ситуационно-тематического характера и формой речи. Сложнее обстоит дело с общелитературными языковыми средствами, которые являются цементирующей основой литературного языка. До сих пор их изучение является монопольным достоянием описательной нормативной грамматики современного русского литературного языка и нормативных толковых словарей, где применительно к этого рода языковым средствам не используются дифференцирующие пометы (а в грамматиках такого рода указания почти полностью отсутствуют). Таким образом, общелитературные языковые средства обычно предстают как нейтральная к функциональному размежеванию литературного языка категория, хотя их использование в речи, как и средств специфических, может регулироваться факторами ситуационно-тематического характера и формой речи.

А между тем общелитературные средства далеко не безразличны к функциональному размежеванию литературного языка. Сейчас, когда изучению специфических средств уже уделено много внимания, изучение отношения именно общелитературных средств к формированию и функционированию специфических является главным условием определения природы функционально-стилевых отношений и самого состава литературного языка. Выступая в качестве объединяющих средств литературного общения, в качестве основы, на фоне которой только и возможно складывание специфических средств, и находясь с последними в определенных отношениях, общелитературные средства имеют не общий, но разный коэффициент допуска в разные функциональные разновидности литературного языка. В связи с этим их роль в формировании средств выражения, употребляемых в этих сферах, оказывается не менее существенной, нежели роль специфических средств.

Необходимо при этом иметь в виду, что «специфические» средства могут быть подлинно специфическими, т. е. другим разновидностям не свойственными (таковы, например, некоторые описанные в последнее время особенности устно-разговорной литературной речи), и свойственными наряду с данной разновидностью еще и другой или другим — но не всему литературному языку в целом [15] (таковы многие явления, объединяющие научную и деловую речь, художественную и публицистическую речь). Существует и еще одна трудность—нахождение критерия для отделения специфического «неодностилевого» явления от иностилевого явления в данной разновидности литературного языка (ср. использование элементов научной речи в газетной речи или в художественной литературе [16]). «Общелитературные» средства тоже могут быть подлинно общелитературными (такова, например синтаксическая модель $N_1 + V_{зр}$) и такими, которые в одни разновидности литературного языка вовлекаются охотно, а в другие не попадают совсем (так, синтаксические модели типа *быть бычку на веревочке*, *снежно*, *светает* могут быть использованы, например, в устной научной речи, но не встретятся в письменной научной речи; между тем подобный материал в равной

[15] См.: Р. А. Будагов, Литературные языки и языковые стили, М., 1967, стр. 67—98; его же, К вопросу о языковых стилях, ВЯ, 1954, 3; Ю. С. Сорокин, К вопросу об основных понятиях стилистики, ВЯ, 1954, 2.

[16] В художественной литературе поиск такого критерия облегчается непременным наличием имитирующей или пародийной функции у иностилевого элемента.

и полной мере охватывается грамматиками литературного языка, имеющими ориентацию на описание общелитературного материала). Тем самым и это понятие оказывается в значительной степени условным. Взаимодействие разных типов общелитературных средств, а также общелитературных средств со специфическими и разных типов специфических средств друг с другом ведет к возникновению взаимных переходов одного в другое (ср. возникновение общелитературной лексики на базе специальной и, напротив, обособление некоторых общелитературных слов в качестве специальных терминов).

В реализации этих процессов существенную роль играет узус. Именно он определяет, какая часть общелитературных средств становится а к т и в н о й в данной разновидности литературного языка, а какая остается в п а с с и в е. Важно подчеркнуть, что для любой разновидности принципиальная возможность прибегнуть к этому пассиву сохраняется всегда, что и обеспечивает единство литературного языка. Именно на этой базе формируются гетерофункциональные синонимические ряды, которые могут перекрещиваться с гомофункциональными [17]: специфическое средство данной разновидности вступает в синонимические отношения со специфическим средством этой же или другой разновидности или с общелитературным средством, активно используемым в этой разновидности или же остающимся в ней в пассиве. Это создает возможность взаимозамен, осуществление которой регулируется нормой и узусом. Этот процесс имеет аналогию в истории литературного языка, где узус вел к изменению общелитературной нормы. Здесь на горизонтальной оси временных отношений происходит нечто вполне и принципиально сходное с тем, что наблюдается на вертикальной их оси: общелитературные средства минувших эпох остаются какое-то время в пассиве, требуя сейчас нормативно адекватного перевода [ср. из протокола допроса И. Пущина в 1825 г.: «...определен сверхштатно членом в С.-Петербургскую уголовную палату для узнания хода дел», что Н. Эйдельманом «переводится» как «овладение полезными навыками управления» [18]; пример этот носит принципиально иной характер, нежели тургеневское *нанимать дачу* («Первая любовь»), замененное современным *снимать дачу*, поскольку его отнесенность к пассиву не достигла степени утраты правильности речевого выражения, как это произошло с глаголом *нанимать* в названном словосочетании] [19]. Важное свойство общелитературных средств, остающихся в пассиве,— легкость рецепции без специальных предварительных знаний и тренировок, без особой «пресуппозиции».

Распределенность общелитературных средств в разновидностях литературного языка варьируется также в зависимости от принадлежности данного языкового средства к области фонетики, лексики, словообразования или грамматики. В области л е к с и к и, например, во всех функциональных разновидностях непременно имеется некий общий запас, который узуально расширяется в каждой из разновидностей за счет разных частей общелитературной лексики (например, в научных текстах математического характера слово *человек* может оказаться совсем неупотребительным, а в текстах медико-биологического характера — активным). Остальная часть общелитературной лексики остается в пассиве в функциональных разновидностях. Таким образом, вся общелитературная лексика

[17] См.: О. А. Л а п т е в а, Гомофункциональные ряды — принцип системности русского некодифицированного устно-разговорного синтаксиса, ВЯ, 1973, 5; е е ж е, О влиянии функционального расслоения литературного языка на его грамматику, сб. «Синтаксис и стилистика», М., 1976.

[18] Н. Э й д е л ь м а н, 11 января 1825 года, «Наука и жизнь», 1976, 11, стр. 73, 74.

[19] Ср. материалы фундаментального пятитомного исследования «Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в.» М., 1964.

состоит из той, которая входит во всеобщее употребление, и той, которая активизируется в одних разновидностях литературного языка, а в других остается в пассиве. Действие экстралингвистических факторов может побудить ее перейти в актив или, напротив, из актива в пассив. Эта общая схема отражает и частные случаи, и поэтому представляется нецелесообразным более дробное иерархическое построение — например, общелитературная, общенаучная, общенаучно-техническая [20], общестроительная, строительная отдельных областей [21] (при этом речь идет не о терминологии!) и т. д.: за исключением немногих слов действует более общая градация «общелитературная — научная» [22].

В области синтаксиса наибольшее значение приобретает наличие или отсутствие формирования в данной разновидности специфических средств (ср. широкую представленность таких средств в устно-разговорной разновидности и активизацию — не более того — книжных письменно-литературных средств в научной речи). В области морфологии и словообразования особое значение приобретает фактор узуальной частотности формы, который может повести к изменению категориальных свойств (ср. особый характер категорий рода и числа в научной речи, функционирование в ней категорий вида и времени глагола и т. д., активизацию отдельных словообразовательных типов) [23]. В области фонетики фактор интонации и «стиля» произношения («полный» — «неполный») может служить показателем размежевания разновидностей литературного языка (ср. нейтральное — *Вы пойдете* ↑ *в кино*? и, в сочетании с измененным словорасположением, устно-разговорное: — *Вы в кино*↓/*пойдете*↑?). При этом могут наблюдаться и вкрапления иностилевых средств: ср. неправомерный перенос типа интонирования из сферы бытовой речи в сферу речи публичной (ср.: «бытовое» интонирование объявления: *Станция* ↑ *Лобня* ↑ /*следующая* ↑ *Депо* ↑ — интонация незавершенности, перечисления вместо «деловой» типа «*Станция*↑ *Лобня* ↓ /*следующая* ↑ *Депо* ↓, что может вызвать комический эффект).

Наконец, степень и характер привлечения общелитературных средств зависит от речевой формы, в которой функционирует данная разновидность литературного языка — устной или письменной. Общая градация способов выражения по линии «книжный — нейтральный — разговорный» также зависит от речевой формы. Именно, в устных сферах (бытовая речь, публичная речь) вероятность более широкого привлечения общелитературной лексики повышается сравнительно, например, с письменно-научной и деловой речью, хотя в таких письменных сферах, как художественная и публицистическая речь, она еще больше. В устной научной речи высока степень вероятности обращения к пассивному (для научной сферы) запасу (а для устно-бытовой речи это актив), в письменно-научной речи высока роль узуальной активизации средства. Взаимодействие стихий книжности и разговорности влияет на распределение языковых средств по функциональным разновидностям. Диапазон названной стилистической триады сужается до минимума в письменно-научной и

---

[20] См.: О. Д. Митрофанова, указ. соч.; И. Ф. Надежина, Лексическая основа учебника русского языка для нерусских студентов втузов. КД, М., 1976.

[21] См.: Б. А. Абрамов, В. М. Нечаева, М. А. Харчева, Русский язык для строителей, М., 1976, стр. 3.

[22] К такому выводу может привести сравнение, например, «частотного словаря общенаучной лексики» (М., 1970) и данных «Частотного словаря русского языка» (М., 1977).

[23] См.: О. Д. Митрофанова, указ. соч.,; М. Н. Кожина, О речевой системности научного стиля...

деловой речи, доходя до максимума в публицистической и художественной [24].

Таким образом, и литературный язык в целом, и составляющие его функциональные разновидности предстают в постоянном движении и в то же время в складывании четких функциональных градаций при реализации того или иного типа соотношений общелитературных и специализированных средств. В процессе развития литературного языка происходит постоянное их взаимодействие, изменение типов соотношений по вертикали (в историческом развитии) и по горизонтали (синхронное состояние), а также взаимодействие процессов общеязыкового и «частноязыкового» (по функциональным сферам) характера. Этим достигается как консолидация литературного языка, так и его способность служить гибким средством общения при постоянно меняющихся условиях коммуникации. Поскольку устанавливающийся тип соотношений неодинаков в разных функциональных разновидностях — и он не может быть одинаков в силу внеязыковых и исторических причин, — единый для всех типов термин «функциональный стиль» не в состоянии отразить их особенности. Вот почему русисты не могут решить, стиль или не стиль устно-разговорная речь, стиль или не стиль ее письменно-литературное отражение, является ли особым стилем деловая речь или это разновидность научного стиля, стиль или не стиль публицистическая речь и речь художественной литературы (для решения последнего вопроса необходимо иметь в виду и особое назначение этой области, и способы организации речевого материала в ее пределах и его функциональную предопределенность, и общую проблематику соотношения литературного языка и языка художественной литературы), в конечном итоге — сколько же именно стилей представлено в современном русском литературном языке. Споры по этому поводу приобретают схоластический характер из-за некорректности постановки задачи — охватить разные отношения одним термином (что усугубляется стремлением выразить эти отношения уточнением — «стиль языка» или «стиль речи»). Целесообразнее было бы в данном случае ограничиться описательным, а не терминологическим словом (разновидность, область, сфера и под.).

II

Существует одна область применения русского литературного языка, которая еще не была предметом специального рассмотрения русистов. Это сфера функционирования устной речи публичного, а не бытового характера, речи, на которой ведется общение с широкой аудиторией, речи, звучащей сегодня на собраниях и конференциях, по радио и телевидению (имеется в виду не репродукция устными средствами письменной речи — например, при актерском и дикторском прочтении текста или при прочтении с трибуны текста доклада, резолюции и т. д., но подлинно устная речь, формируемая непосредственно в процессе общения). Задачи направленности этой речи в адрес широкой аудитории и факторы содержательного плана делают ее интеллектуализированной и потому в высокой мере соотносительной с соответствующим письменным текстом — научным, публицистическим, деловым, художественным. Устная же форма осуществления требует ее соотнесенности со звучащей речью бытового содержания, где в полной мере реализуются особенности спонтанного, линейно организованного во времени речевого потока. Разница между этими двумя типами речи в протяженности речевого отрезка, реализующего речевой акт (меньшая в бытовой, где наиболее распространенная форма — обмен краткими

[24] Другие факторы функционального размежевания подробно рассматриваются в стилистических исследованиях (см., например: M. J e l í n e k, указ. соч.).

диалогическими репликами, и большая в публичной монологического характера), с неизбежностью сказывается на их линейной организации (в частности, в протяженной речи труднее установить границу отдельного высказывания). Относительно публичной речи в русистике, кроме работ культурно-речевого плана, пока существует лишь общее априорное представление, согласно которому она в своих ведущих особенностях приравнивается к письменной литературной речи (КЛЯ) [25]. Разговорные элементы в ней предстают как случайные, эпизодические инкрустации [26], что связывается с «официальными» условиями ее осуществления. Между тем ее пограничное положение на пересечении сформировавшихся письменных разновидностей литературного языка (кодифицированных) и его устно-разговорной разновидности (некодифицированной), имеющих свой набор характерологических признаков, побуждает исследовать ее свойства и признаки в сопоставлении с этими двумя типами литературной речи. Поскольку огромная армия лиц, причастных к публичному говорению, весьма разнопланова, что сказывается, в частности, и в мере владения ораторским искусством, имеющим свои законы,— правомерно было бы поставить общий вопрос: наблюдается ли в этом типе речи стремление к единообразию и усредненности, к складыванию своей нормы и в конечном счете узуальных закономерностей (что является показателем формирования разновидности литературного языка) или же здесь допустимо употребление любых языковых средств письменно- и устно-литературного характера, границы гетерофункциональной синонимии практически необозримы, а соотношение общелитературных и специфических элементов случайно?

Думается, что для построения предварительной гипотезы в условиях, когда изучение этого типа речи еще практически не начато [27], целесообразно попытаться установить в общем виде представленный в ней характер соотношения общелитературных и специфических средств, принадлежащих соединяющимся в ней устно- и письменно-литературным областям, влияние на выбор языкового средства факторов ситуации (условия общения), темы сообщения (содержательный план) и формы речи (устность).

Если обратиться к сравнению в этом аспекте устной речи публичного назначения и устно-разговорной речи бытового назначения, то можно заметить следующее. Некодифицированная литературная речь, как речь устного общения, в высокой степени автоматизированна. С этим связана высокая степень ее насыщения типизированными конструкциями и клише. Значительная часть устно-разговорных высказываний осуществляется лишь в условиях определенной ситуации и обязана ей особенностями своего строения. Другая часть тесной связи с условиями протекания речи не обнаруживает, однако сохраняет автоматизированный характер. Поэтому деление всех устно-разговорных высказываний на типизированные и клишированные (последние обычно в составе типизированных), с одной стороны, и свободные, непредсказуемые, с другой, не совпадает с делением речи на ситуативно обусловленную и ситуативно не обусловленную. Роль тематического фактора сводится в общем виде к привлечению того набора средств, который позволяет наиболее адекватно выразить данное содержание. Для этой цели не только в публичной, но и в бытовой речи возможно использование иностилевых (и, естественно, общелитератур-

[25] См.: Е. А. З е м с к а я, Русская разговорная речь (Проспект), М., 1968; е е ж е, Русская разговорная речь, ВЯ, 1971, 5; «Русская разговорная речь», М., 1973.

[26] См.: Е. А. З е м с к а я, О некоторых дискуссионных вопросах теории разговорной речи, «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи», 5, Горький, 1974, стр. 51 и сл. Исключением является работа: М. [В.] З а р в а, Слово в эфире, М., 1971, где представлено отчетливое понимание различия устной и письменной литературной речи.

[27] Такого рода работа планируется в Институте русского языка им. Пушкина.

ных) средств. В то же время фактор «устности» обусловливает употребление как привычных, типизированных, так и свободных, непредсказуемых в своем устройстве средств в условиях ситуативно не обусловленной речи (клишированные средства остаются уделом ситуативно обусловленной речи). Таким образом, различие между речью, связанной с предметной ситуацией, и речью более отвлеченной и свободной состоит в увеличении в последней иностилевых и общелитературных средств и исчезновении ситуативно-клишированных (хотя там неизбежно складываются свои ситуативно-клишированные средства), но не в исчезновении типизированных и слабооформленных средств.

Называемые для различения двух типов устной литературной речи параметры официальности — неофициальности условий протекания речи, а также подготовленности — неподготовленности (спонтанности) речевого акта, несомненно, оказывают воздействие на выбор говорящим того или иного типа речевых средств. Эти параметры или касаются условий протекания речи, или облигаторно предполагаются самим понятием устно-разговорной речи [28]. Они могут быть причислены к общеситуативным факторам и действовать совместно с фактором тематической отнесенности речи. Фактор темы обусловливает обращение к определенному комплексу средств, требуемых для точной передачи нужного содержания, а фактор ситуации (в широком смысле) обусловливает возможность реального воплощения в речи этого комплекса. Совместное действие обоих факторов в области устной публичной речи проявляется в том, что ее средства в своем наборе определяются фактором темы, а в возможности своего реального использования — фактором публичной ситуации. В бытовой речи также возможно обращение к темам отвлеченным. В этом случае речь интеллектуализируется, насыщается общелитературными и даже письменно-литературными и книжными элементами, и различие ее с публичной речью ослабляется, поддерживаясь лишь корректирующим фактором ситуации (небезразлично, например, происходит ли беседа на научную тему между хорошо и близко знакомыми людьми, имеющими «общий язык», или между впервые встретившимися собеседниками; в последнем случае «непубличная» речь оказывается ближе к «публичной», чем к «бытовой» в первом случае).

Различия в составе средств публичной и непубличной речи, а также в проявлении общеситуативного фактора можно представить следующим образом:

Обиходно-бытовая речь	**Речь публичных выступлений**
(тематика бытового общения и тематика интеллектуализированного общения)	(широкая тематика интеллектуализированного общения)
Общеситуативный фактор: камерность, неофициальность, установка на диалогическое общение и монологическое сообщение	Общеситуативный фактор: публичность, официальность, установка на развернутое монологическое сообщение или диалог монологического типа
Состав средств: свои специфические средства клишированного характера, связанные с предметной ситуацией; свои специфические типизированные средства	Состав средств: свои специфические средства клишированного характера, связанные с предметной ситуацией; свои специфические типизированные средства

типизированные устно-разговорные средства
общелитературные средства
письменно-литературные средства [29].

[28] См.: Г. Г. Инфантова, Экономия сегментных средств в синтаксисе современной русской разговорной речи. АДД, Л., 1975, стр. 5, примеч. 4.

[29] Подробную характеристику этих видов средств см. в кн.: О. А. Лаптева, Русский разговорный синтаксис.

Таким образом, задача сопоставительного изучения публичной и бытовой устной речи требует конкретного выяснения, как отдельные области языковой системы — фонетика, лексика, грамматика, словообразование — откликаются на совместное действие ситуативно-тематического фактора и фактора формы речи, какой из этих факторов и в каких случаях превалирует над другим или корректирует его. В результате такого выяснения раскроется характер взаимодействия в обоих типах речи общелитературных и специфических средств, общелитературной системы и данной подсистемы, узуально-нормативный характер конкретных языковых средств, соотнесенность синонимических вариантов.

Уточнению вопроса о том, какие конструкции могут считаться синтаксическими синонимами, а какие — вариантами, какие лексемы вступают между собою в синонимические отношения, а какие — в вариативные, могло бы способствовать выяснение реальных сфер их функционирования в языке и закрепленности их за теми или иными областями речевого общения. Разные синтаксические конструкции, попадая в условия синонимических или одинаковых контекстов и выполняя в них одинаковые синтаксические функции, становятся синонимами [30]. Иногда структурные расхождения таких конструкций значительны, иногда это лишь минимальные вариативные изменения синтаксической формы, трансформации. Во всяком случае соотношение разных видов литературной речи во многом оборачивается проблемой синонимии употребляемых в них средств (хотя сами синонимы могут принадлежать и одной функциональной сфере или же быть общелитературными). В конечном счете полное описание состава средств литературного языка должно предстать как описание разных типов синонимических отношений [31].

Различие между двумя формами существования литературной речи — устной и письменной — определяется прежде всего решающей ролью физического времени в случае устной речи. Устность публичной речи обусловливает принципиальную необходимость использования в ней разного рода устно-речевых средств, в том числе и устно-разговорных типизированных синтаксических построений (ситуативный же фактор публичности влияет на характер распределенности и представленности в ней этих средств). Важность этого фактора особенно остро ставит задачу выяснения синтаксических межъязыковых универсалий — общих для разных языков (и близко-, и неблизкородственных) способов организации устного высказывания (в основном некодифицированных) [32]. Общность этих способов и принципов проявляется во многих моментах, и, в частности, в том, что средства письменно-литературные в составе устной публичной речи в значительной своей части препарируются в соответствии с требованиями устной формы. Так, в устной научной речи, даже и в таком самом «ответственном» ее жанре, как доклад, где этикетом допускается прямое прочтение текста, тем не менее не может быть использовано —

---

[30] Ср.: В. В. Виноградов, Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика, М., 1963, стр. 7.

[31] Ср. мысль Л. В. Щербы о представлении структуры литературного языка в виде ряда концентрических кругов (Л. В. Щерба, Современный русский литературный язык, в кн.: Л. В. Щерба, Избр. работы по русскому языку, М., 1957, стр. 121).

[32] См.: Ю. М. Скребнев, Общелингвистические проблемы описания синтаксиса разговорной речи. АДД, М., 1971; его же, К проблеме универсальных свойств подъязыка, «Теория и практика лингвистического описания иноязычной разговорной речи» («Уч. зап. Горьковск. пед. ин-та иностр. языков», 49), 1972; О. Б. Сиротинина, К вопросу о типологическом изучении разговорной речи (универсальные явления разговорной речи), «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи», Горький, 1968.

из-за необходимости соблюдения требования адекватности понимания и устных законов «глубины» высказывания — такое весьма характерное и распространенное средство письменно-научной речи (подвергавшееся усиленной пуристической критике, но по причине своих высоких нормативных свойств не ставшее из-за этого хоть сколько-нибудь менее употребительным), как цепочка последовательно подчиненных друг другу родительных падежей. Не могут там быть использованы и некоторые типы сложноподчиненных предложений, и некоторые типы предложений усложненного состава с включением, и некоторые типы предложно-именных сочетаний, преобразуется свойственное письменно-научной речи соотношение абстрактной и конкретной лексики, по-иному сравнительно с письменно-научной речью предстают процессы семантических сдвигов общелитературной лексики.

Необходимо остановиться на тех особенностях устной публичной речи в плане ее с о д е р ж а н и я, которые сказываются на ее языковых характеристиках. Собственно, только применительно к особенностям содержательного плана и действителен тезис о различиях подготовленной — неподготовленной устной речи (но он сохраняет полную силу относительно дихотомии письменной — устной речи) [33], поскольку в устном монологическом сообщении может подготавливаться разработка темы, плана, отдельных положений, но не речевые средства в их совокупности, которые, будучи устно произнесены, в полной мере сохраняют свою спонтанность [34]. Конечно, в публичной интеллектуализированной речи сравнительно с бытовой в большей мере проявляются элементы ораторского искусства, нацеленность на соблюдение правил культуры речи. И тем не менее это сказывается лишь на степени представленности устно-речевых средств, но отнюдь не ведет к их полному отсутствию. Напротив, требования ораторского искусства нередко провоцируют употребление таких средств с целью лучшего контакта с аудиторией (например, конструкций с именительным темы).

Важно выяснить содержательное соотношение, например, урока в учебнике и учебной лекции, статьи и доклада, заметки и устного сообщения и т. д. У каждого из этих попарно (по признаку «письменный — устный») объединяемых жанров сходного назначения свои особенности композиции, развертывания изложения, способов донесения мысли до слушателя или читателя, свое отношение к повторению одной и той же мысли. Если в письменном тексте возможна усложненность синтаксической перспективы и самой излагаемой мысли, большая иерархичность главных и второстепенных предикатов, требуется изысканность в подборе лексики, исключающая неоправданные ее повторы и лексическую бедность, не допускаются перебивы мысли и отклонения от темы, неэкономные текстовые повторы (даже и при содержательной сложности тезиса), требуется четкая связь тезисов и последовательное их раскрытие, возможны изящные полунамеки и недоговоренности,— то в соответствующем устном тексте в большей мере вступает в силу требование простоты и ясности изложения, четкости излагаемой мысли, прямого соответствия тезиса и привлекаемых иллюстраций (в письменном тексте здесь возможны более сложные соотношения). Насыщенность единицы звучания устного научного текста «битами инфор-

---

[33] Ср.: Л. П. Я к у б и н с к и й, О диалогической речи, «Русская речь», I. Пг., 1923; Л. В. Щ е р б а, Современный русский литературный язык, стр. 116 и сл.; И. Р. Г а л ь п е р и н, К проблеме дифференциации стилей речи, сб. «Проблемы современной филологии. Сборник статей к семидесятилетию акад. В. В. Виноградова», М., 1965; В.Г. К о с т о м а р о в, О разграничении терминов «устный» и «разговорный», «письменный» и «книжный», там же.

[34] Ср.: М. [В.] З а р в а, указ. соч., стр. 18, 32, 39, 136 и др.

мации», несомненно, меньше, чем соответствующей единицы сообщения письменной речи. Эти особенности устной речи ведут к допущению текстовых и лексических повторов, ассоциативных вставок, уточнений и пояснений, к употреблению предложений неусложненной структуры, видимой ясности субъектно-предикатных отношений, к возможной изолированности тезисов, к наглядности изложения, к широкому использованию разного рода тропов, образов и сравнений, к насыщенности речи вводными словами субъективно-модального и эмоционально-оценочного характера типа *конечно*, *безусловно*, *ни в коей мере*, *само собой разумеется* и под. Названные и другие возможные различия в использовании языковых средств основаны на объективных различиях зрительной и слуховой рецепции, психологии читающего и слушающего [35]. До сих пор остается неясным, какая именно степень жанрового членения устной публичной речи релевантна для варьирования используемых языковых средств, а на что речь не отзывается. Еще не выяснено, одинаковы или различны способы развертывания мысли в сообщении, выступлении в дискуссии, одинаково или по-разному вводятся средства обеспечения контакта с аудиторией, воздействия на нее в разных жанрах публичного монолога. Здесь особую силу приобретает и действие фактора индивидуальных речевых особенностей, который ослабляется в бытовой речи.

Теперь обратимся к предварительной характеристике реального состава средств, употребляемых в устной публичной речи. Письменно-литературные средства здесь привлекаются под воздействием фактора темы, однако на них отражается и действие фактора устной формы. Он корректирует вхождение их в корпус средств, допускаемых к устному произнесению. Тем самым появляется возможность говорить о преобразовании письменно-литературных (и отчасти общелитературных) средств в данной разновидности литературного языка (так же, как и в устно-разговорной разновидности в целом), которое отражается и на их системно-структурном устройстве. Выяснение механизмов действия этого процесса позволит установить наличие своих системных отношений, взаимодействие общелитературной, письменно-литературной, устно-разговорной нормы и нормы, действующей в пределах данной разновидности, а также распространенности определенного узуса.

Особенности устной формы ведут к широкой узуальной представленности в публичной речи таких явлений, которые в соответствующем типе письменной речи имеют запретительную нормативную рекомендацию. Массовая их распространенность, отсутствие сколько-нибудь заметной разницы в их распределенности в зависимости от индивидуальности оратора позволяет рассматривать эти явления не только в плане культуры речи (что может — на фоне их массовости — обернуться пуризмом), но шире — в плане констатации существующего узуса [36], который может повести к складыванию своей, «внутренней» нормы в данной функциональной разновидности национального языка и таким путем — к изменению даже и системных отношений. Разумеется, этот процесс не основывается только на факте массового распространения средства, но определяется сложным соотношением узуального и культурно-речевого аспектов.

---

[35] См. интересные наблюдения К. А. Долинина над различиями в строении речевого потока в книжной и разговорной речи (К. А. Долинин, Ролевая структура коммуникации и разговорная речь, «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи», 7, Горький, 1976).

[36] О различии этих двух аспектов описания см.: О. А. Лаптева, Способы выражения авторского «я» в русской научной речи, «Язык и стиль научной литературы», М., 1977.

Замечено, что в потоке устной речи далеко не всегда наличествуют объективные показатели однозначного членения речевого потока на предложения и словосочетания. Даже и комплексное (не только синтаксическое и лексическое, но и интонационное) синтагматическое членение может и продуцироваться, и рецептироваться по-разному [37]. Это ведет к принципиальной возможности существования в устной публичной речи, как и во всякой устной речи, неопределимых случаев членения, что ведет к неясности синтаксического состава речевых единиц. Это не означает, что граница между предложениями и словосочетаниями исчезает вообще (это повлекло бы за собой затрудненность коммуникации). Дело, видимо, в существовании некоторой типологии совместной встречаемости в речи ряда факторов, и прежде всего интонационного (движение тона + пауза) и синтаксического. В случае одновременного наличия всех факторов граница несомненна, в случае варьирования меньшего их числа или действия лишь одного фактора степень ее выраженности ослабляется. К этому добавляется возможность нечеткой выраженности интонационных типов. Ср.: *он полагал / что перед наукой / перед ее задачами как бы все равны / ученые с именем / аспиранты / начинающие преподаватели / студенты / и в этой требовательности / которая / тогда нам казалась иногда чрезмерной / иногда не очень может быть приятной / но вот сейчас / особенно когда вспоминаешь / и все такое более мелкое отошло / а осталось только самое важное / понимаешь что в этой требовательности было и глубокое уважение ко всем нам работающим с ним / в одном коллективе / уважение которое сказывалось и в том / что он всегда считал что мы могли бы больше и лучше / чем мы делаем / и наверное / если бы мы / действительно может быть / больше трудились / в свое время могли бы успеть и сделать больше чем мы / успели / сделать* (на заседании). Это — образец речи одновременно интеллектуализированной и эмоциональной, очень доходчивой и ясной. При ее восприятии у слушателей не возникает никаких затруднений, продукция вполне адекватна рецепции. Отклонений от устно-литературной нормы здесь нет.

Разная степень падения тона в произношении не соответствует прямо знакам запятой, точки с запятой или точки на письме (если в запятой в какой-то степени представлено интонационное значение, то точка с запятой — знак сугубо письменный, выражающий лишь логические и смысловые отношения и не имеющий реального интонационного кореллята). Вот почему даже при простой репродукции устными средствами письменного текста (например, диктант) бывает затруднительно (при рецепции) выбрать один из этих знаков препинания, и именно тот, который соответствовал бы тексту-оригиналу. Так, парцеллированные письменные конструкции при устном произнесении утрачивают сигнал парцелляции; ср.: «Он был покорен. Покорен окончательно, бесповоротно и на веки вечные» (С. Могилевская, Марка страны Гонделупы); «Иметь такого друга! Смелого. Умного. Пятиклассника. Отличника. С такой коллекцией марок. Да еще в придачу с коньками „гаген"» (там же); «Мы их разбиваем, а внутри — кокосовое молоко. Белое, сладкое, вроде растопленного мороженого» (там же); «И все бы были очень довольны таким оперативным решением, и поставили бы на этом деле точку или даже восклицательный знак. Если бы недавно не пришло новое письмо от тех же граждан, которые пишут, что все эти благие порывы остались на бумаге» («Вечерняя Москва», 31 I 1977); «Как-то на гастролях шестилетняя Лида подружилась со старой цирковой слонихой Настей. Приносила ей конфеты, печенье, баранки»

[37] См. об этом: Д. Слобин, Психолингвистика, в кн.: «Психолингвистика», М., 1976, стр. 61—63.

(«Неделя», 1977, № 3). А вот запись фразы на родительском собрании, при письменной передаче которой возникает затруднение в употреблении срединной точки: *Конечно, очень приятно. И хорошо бы, чтобы было побольше таких ситуаций* [38]. Как видно из примеров, широко распространенный в некоторых видах письменной речи прием парцелляции (но письменной научной речи он не свойствен), насчитывающий много структурных модификаций, основывается на возможности невыраженности, стертости пограничной интонации.

Употребление в позиции общелитературной (нейтральной) интонации понижения разговорной интонации повышения наблюдается в устной публичной речи нередко, ср.: *Вопросы по кадрам ↑ / потом я коротко скажу, в чем они будут выражаться ↑ / ну, наш филиал...*; *Насчет помещения ↑ / мы также размещаемся в старом помещении*; *ну, это о трудностях ↑ / теперь я бы хотел сказать...*; *может быть в будущем ↑ / если дипломант будет специально заниматься исследовательской работой↑* (на заседании). Такой интонационный рисунок приближает речь публичную к бытовой.

Устно-речевое смещение синтаксической перспективы также обязано своим возникновением линейности речевого потока. Это смещение может касаться порядка слов, ср.: *и может быть я не смогу и не в состоянии говорить о всех / я лишь буду говорить о нéскольких / сегодня* (на конф.); *В этом вот пéрвая ошибка возможная такая / родителей* (телевыступление);... *Выгодский / которого вспоминала на нашем заседании Валерия Андреевна / сформулировал в 24-м году гипóтезу тогда еще / которая...* (на конференции). Оно может касаться и строения всего отрезка речи, ср.: *а вот сейчáс / наш последний съемочный день был недавно / и мы...* (телеинтервью). Оно может выражаться в явственном отказе от продолжения начатой конструкции, ср.: *Когда разговаривали с ним / то это и ученый достойный...* (на заседании), и в менее ясных случаях изменения требуемой схемой предложения формы слова в угоду более близким ему синтаксическим связям, ср.: *однако многие проблемы еще не ясные к сожалению* (на конференции).

В публичной речи часто употребляются способы усиления членения речевого потока; особенно частотны разного рода вставочные слова и актуализаторы, которые могут нарушать логическое построение фразы, ср.: *приводится в о т два глагола / н б/ приводится какая-то мысль / н б / эта мысль не проверяется на всем материале* (на заседании); *Поэтический текст / это не просто словесный ряд / а т а к а я в о т* (жест) *сложная семантическая система* (на конференции); *В о т / такой же случай с газетой / в о т / хотя я предупредил что будет контрольная / в о т* (на родительском собрании); *Но в общем в о т в контрольной она сделала много ошибок напутала / в о т* (там же); *в о т з н а ч и т т а к о е общее очень соображение можно было бы снять* (на заседании); *мы относили все типы которые в о т э т о...* (на заседании); *В о т подводя итог сказанному хотелось бы отметить* (на конференции); *для актуализации существительного и осуществления его связи в о т с другими элементами конструкции* (там же); *Наше представление об этих животных связано к а к р а з в о т с этими...* (телепередача); *я просто с удовлетворением принимаю н у и все недоумения...* (на заседании); *мы должны в о т в и д и м о мы с NN уже об этом говорили оформить в первом семестре...* (там же); *...когда происходит скопление*

[38] То, что у детей при написании диктанта не возникает затруднений в постановке точки, объясняется совместным исполнением функции сигнала средствами интонации, синтаксиса и лексики в письменном кодифицированном тексте.

э т и х в о т признаков / в о т (на конференции); *мы далеко не часто встречаем в о т т а к и е в о т признаки* (жест) *когда все представлено на всех уровнях* (там же).

Естественно, нередко этот способ донесения сообщения до слушателей вступает в противоречие с культурно-речевыми установлениями (слова-актуализаторы превращаются в слова-паразиты); важно иметь в виду, однако, узуальную основу такой возможности: *заканчивается м о ж н о с к а з а т ь первый год м о ж н о с к а з а т ь десятой пятилетки* (выступление по телевидению); *Я невольно вспоминаю свои молодые годы когда я в о т и м е н н о приезжа́ла сюда* (выступление по телевидению); *Разрешите вручить знаки т а к с к а з а т ь отличия ряду т а к с к а з а т ь наших товарищей* (на заседании); *выводы показывают что несмотря т а к с к а з а т ь на сходство...* (на заседании); *Я вспомнил что сегодня в 6 часов т а к с к а з а т ь будет маленькое мероприятие* (из бытовой речи); *Кроме того з н а ч и т в о т исследуется лексико-семантическая группа...* (на заседании); *Н у д о п у с т и м я детей очень люблю и на моем опорном пункте много детей.— А у вас есть свои? — Н у д о п у с т и м у меня один сын* (телеинтервью).

В особенно резкое противоречие с требованиями культуры речи вступают многочисленные и разнообразные чрезвычайно распространенные в публичной речи с и н т а к с и ч е с к и е к о н т а м и н а ц и и, затрагивающие структуру и предложения в целом, и словосочетаний в его составе. Ср.: *Прежде всего что касается замечания избыточность свертываемости* (на заседании); *дипломант считает сложный глагол как одну единицу* (на заседании); *а вот в отношении что касается взять отдельные отрывки...* (то же); *мы сделаем все возможное в наших силах* (телеинтервью); *ничто не могло помешать чтобы не выиграть первое место* (то же); *Так как было уже объявлено тема дипломной работы...* (на заседании); *Как я уже говорила что зона с осадками...* (теленовости); *Я думаю что в заключение я должен сказать следующее что в...* (доклад на заседании); *Хочу здесь остановиться только на одном уровне именно о том что* (то же); *Да действительно что дипломное сочинение М-на имеет...* (на заседании); *наблюдение показывающее о возрастании форм...* (там же); *два коллектива отчитывались друг перед другом о том что сделано* (теленовости); *О том как устанавливается трехмерная структура объекта мы покажем на примере...* (телепередача); *что касается знаков препинания ↓/ они...* (на заседании); *о выводах / что они могут быть недостаточно полны ↓/ но как мне кажется что их...* (там же). Контаминации нередко сочетаются со смещением синтаксической перспективы высказывания (см. выше). В этих случаях нарушение общелитературной нормативности возмещается соблюдением устно-речевой нормы, допускающей такое смещение, и конструкции не воспринимаются как явно неправильные: *— Что бы Вы отметили главное в характере Марии Ивановны? — Главное в характере Марии Ивановны в его / целеустремленность / стремление все довести до конца* (телеинтервью); *возникает вопрос о том что почему собственно...* (доклад на конференции); *Я должен сказать что до создания этого словаря / и если учесть что в НИИПРЯНШ создан сектор / то наш сектор является, единственным по созданию подобных словарей* (на заседании).

Столь неограниченно представленная в публичной речи устно-речевая синтаксическая база, благоприятствующая самым разнообразным изменениям общелитературных типов синтаксических конструкций, не может не обусловить принципиальную возможность употребления в этой сфере и собственно разговорных типизированных построений. В книге «Русский разговорный синтаксис» при их описании приводился материал и из области публичных выступлений. Приведем еще некоторый материал.

Модель конструкции с именительным темы. Модиф. 1: *те гиды которые будут на семинаре они могут быть очень широко на олимпиáде использованы* (на заседании); *Понятия / к которым шла традиционная лингвистика в течение веков можно сказать они получают...* (доклад на конференции); *существующая иранская грамматическая традиция она базируется в основном на арабской традиции* (на конференции); *в целом можно сказать что такая работа она очень ценна практически* (на заседании); *подписанное щас соглашéние пятилетнее оно дает основание сказать что...* (телеинтервью); *Ну вот то что вы говорили краткосрочные они очень эффективные* (на заседании). Модиф. 4: *врожденная координация движений он быстро должен ее освáивать уметь* (телепередача). По типу модиф. 7: *так / присутствующие рецензéнты здесь я знаю Николай Николаевич здесь был / он здесь / не желает // из замечаний сделать никаких.* Модиф. 11 разн. 1: *Христиана Васильевна подарила только что вышла из печати книга для чтения..* (телефильм). Модиф. 11 разн. 2: *Я имею в виду есть такая книга* (на конференции); *а еще вот они предлагают не только взять словник степановского словаря а еще вот они издают такое совмещение степановского и сафьяновского словаря* (на консультации). Модиф. 11 разн. 3: *Она идет работать есть такой институт / а сейчас сельскохозяйственная академия* (на заседании). Построения по типу конструкций с им. темы (с местоименным или наречным коррелятом): *Кончаловский замечательный художник который положение о жизненности искусства распространил его на живопись* (телеинтервью); *остались только высокие холодные места где ему там не сохраниться* (телепередача).

Модель конструкции бессоюзного подчинения: *Иногда я прихожу они говорят по-английски / иногда по-русски / я вот захожу на уроки / я захожу и слышу...* (на родительском собрании).

Модель конструкции наложения: *ну просто для меня э т о т а в т о р / сыграл в моей жизни / очень большую роль* (телеинтервью); *вот возможности быть с е г о д н я / жить в какой-то среде* (то же); *возникает проблема уровня языка над которой бьются лингвисты в п о с л е д н е е в р е м я ↑ многие лингвисты этим занимаются* (на конференции).

Модель конструкции с дополнительной фразовой границей: *У нас в этом году группа иранцев оканчивает университет / так ↑ / и все очень хорошо проводят защиту* (на заседании); *...входят как первичный элемент / как множество / да ↑ / принадлежащее полю* (там же).

Таким образом, видимо, нет оснований для кардинального разделения «устности» и «разговорности», как это иногда предлагается, что и позволило автору настоящей статьи объединить бытовую и публичную речь в пределах устно-разговорной разновидности современного русского литературного языка. Конечно, наличие в речи типизированных синтаксических конструкций регулируется действием ситуативного фактора публичности—непубличности, но, как представляется, лишь в количественном отношении.

Устность формы обусловливает широкую представленность в публичной речи постпозитивных прилагательных разной функциональной нагрузки (в этом она практически не отличается от бытовой), а также разговорной ритмической схемы строения высказывания (и здесь также особенно заметно сближение бытовой и публичной речи) [39].

[39] Подробное описание этих явлений см. в кн. «Русский разговорный синтаксис», стр. 192, 205—240.

Отметим еще: *Такой тип ана́лиза функционального был нами применен при анализе синтаксических отношений* (на заседании); *теперь я скажу о самом больном вопросе нашем* (там же); *Успех у коммунистов есть значительный даже и на выборах муниципальных* (телекомментарий); *Ну / можно много сложных привести примеров на эту тему* (телезанятия); — *Пожалуйста Л. С. — Л. С. на совете* ↓ */ на ученом*; *под грамма́тической вариантностью наверное имеется морфологи́ческая вариантность в виду* (на заседании); *а вот в Казахста́не северном / где созрева́ние наступило хлебов раньше обычного...* (телекомментарий); *...где работают наладчики комба́йнов мастера* (то же).

Отмеченное К. А. Долининым принципиальное различие в ведущем способе организации предикативных единиц письменной и устной речи ведет к необходимости преобразования в устной публичной речи соответствующих структур: здесь, становясь более простыми структурами, исчезают цепочки последовательно управляемых падежей, предложно-именные конструкции заменяются придаточными предложениями, длинные предложения усложненного состава преобразуются в более короткие, широко используются вербальные средства скрепления предложений. Собственно говоря, почти любое явление синтаксиса имеет свои особенности в изучаемой функциональной сфере, и если эти особенности не касаются структурной схемы явления, то они неизбежно затрагивают распределенность общелитературного явления, что проявляется в большей или меньшей его частотности сравнительно с письменно-литературной сферой. Это касается и особенностей глагольного управления, и соотношения глагольных и глагольно-именных конструкций, и соотношения типов простого и сложного предложения, и особенностей прикрепления и блокирования, а также разного рода включений, и соотношения типов актуального членения, и порядка слов в отдельных синтаксических группах, и употребления причастных и деепричастных оборотов.

В области фонетики особое значение приобретает проблема достаточности акустических свойств звукового сигнала (его четкости) для идентификации той или иной словоформы. Нередко нечеткость звучания окончаний и проклитик [40] ведет к возникновению звуковой омонимии разных морфологических (и тем самым синтаксических) значений, что, однако, не ведет к нарушению общего смысла и потому обычно остается незамеченным. Смешиваются падежные и родовые окончания, особенно прилагательных, местоимений и причастий, предлоги, просто созвучные слова, могут почти не звучать связки. На этом фоне обычно незамеченными остаются и четко произнесенные неверные падежные окончания. Возникают и явственно ненормативные (во всех — и в письменном и устном — аспектах) явления, ср.: *пятидесятилетие установления спортивных отношений между Францией и Советского Союза* (телекомментарий). Необходимо обследовать общие вопросы соотношения «полного» и «неполного» стилей произношения, функционально-структурную роль темпа речи (убыстрение и замедление его может отражать синтаксические отношения), синтактико-семантические функции просодического выделения слов в потоке устной речи, представленность и особенности общелитературных типов интонационных конструкций.

В области морфологии необходимо выяснить особенности разрядов и классов слов, соотношение и функции качественных и относительных прилагательных (процессы окачествления относительных прила-

[40] См. процессы, описанные в кн. «Русская разговорная речь», М., 1973, стр. 40—128.

гательных и, обратно, развития некачественных значений у качественных), соотношение полнозначных и десемантизированных глаголов, глаголов конкретной и широкой семантики, соотношение форм падежа, числа, времени, вида, особенности формоизменения.

В области словообразования важно изучить реальную представленность основных общелитературных словообразовательных типов в устной публичной речи. Здесь могут оказаться свои особенности. В частности, общая обращенность к устно-разговорной речевой стихии допускает использование в устной научной речи уменьшительных образований, отсутствующих в письменно-научной речи (*элементик*, *частичка*).

Привлекает внимание изучение некоторых стилистических особенностей организации текста в устной публичной речи. Здесь свободно допускается употребление личных местоимений 1-го лица ед. числа и 2-го лица мн. числа и соответствующих притяжательных, а также форм *по-моему*, *по-вашему*, чего не бывает, например, в письменно-научной речи. Здесь употребляются свои средства интимизации речи, эмоционального и интеллектуального воздействия на аудиторию, установления контакта с ней. В этой роли используются и разговорные, и общелитературные элементы. Актуальным следует признать изучение различных приемов ораторского искусства.

Если говорить об узуальных стилистических особенностях, то здесь следует отметить чрезвычайно широкое распространение начального *ну* в функции приглашения к восприятию последующего сообщения. Это *ну* звучит во всех типах публичных выступлений, в том числе по радио и телевидению, хотя и противоречит требованиям письменно-литературной нормы [41]. Ср. абсолютное начало доклада на лингвистической конференции: *Ну как известно все изменения происходящие в языке начинаются в разговорной речи.* Ср. в диалоге: *Ну / я подхожу к сочинению Пушкина так как...* (телебеседа); — *Какая у Вас любимая фигура*? — *Ну / любимая фигура у меня коленчатый* (телеинтервью); — *В. И. / что построили*? — *Ну / наша организация построила 36 домиков* (телеинтервью); — *А когда Вы поняли что Ваш сын / ну/ может быть / что ли / наездником*? — *Ну / конный спорт / он в общем...* (телеинтервью).

В области лексики важно выявить степень лексического разнообразия устной публичной речи, наличие и характер образующихся синонимических рядов. Соотношение терминологической и нетерминологической лексики здесь может быть иным, чем в соответствующих письменно-литературных областях. Здесь своя реализация процессов десемантизации слова, наблюдается утрата ряда общелитературных значений и / или возникновение новых, специфических. Интересно исследовать семантику атрибутивных отношений, степень информативной необходимости атрибута[42].

Поиск разнообразных лексических средств выражения, подбор синонима затрудняется в устной публичной речи линейно-временным характером ее протекания. Именно в этой речевой сфере названная трудность наиболее ощутима, во-первых, из-за тематического многообразия излагаемого, требующего соответствующего расширения круга привлекаемой лексики (в бытовой речи здесь сильнее автоматизированный навык в употреблении слова), а во-вторых, из-за этикетного требования непрерывности речи, «неприличности» долгой паузы для поиска нужного слова (в бытовой речи такая пауза всегда возможна, как возможно и употребление

[41] В качестве разговорной приметы такое *ну* иногда проникает и в письменную речь (так, например, начинается интервью с актером А. Баталовым, помещенное в «Вечерней Москве» 23 III 1977).

[42] См. работы Н. И. Кузнецовой и Э. А. Клочковой в кн.: «Вопросы стилистики», 6 — Саратов, 1973, 7 — Саратов, 1974, 9 — Саратов, 1975.

жеста или иносказательного оборота вместо ненайденного слова). Вот почему публичная речь изобилует лексическими повторами, которые в соответствующем типе письменной речи недопустимы, а в бытовой встречаются реже. В устной речи они проходят обычно незамеченными для слушателя, что позволяет этому чрезвычайно употребительному, появляющемуся в выступлениях почти с фатальной неизбежностью средству незаметно для кодификаторского уха постепенно приобретать нормативные (в данном типе речи) свойства. Повторяться могут и самые слова, и корни, и целые словосочетания. Вот немногие иллюстрации:

Щас они п о к а ж у т свой традиционный п о к а з а т е л ь н ы й номер (телекомментарий); *Это в о з м о ж н о с т ь показать наши в о з м о ж н о с т и* (на заседании); *Работа дипломницы во вводной ч а с т и содержит хорошую реферативную ч а с т ь* (там же); *если кора находится в возбужденном с о с т о я н и и / она не в с о с т о я н и и подавить другие ассоциации* (на конференции); *лингвистические я в л е н и я я в л я ю т с я семиотическими потому что...* (там же); *надо п е р е д е л а т ь р а з д е л* (на заседании); *парадигматическим с в о й с т в а м предложения с в о й с т в е н н ы...* (на конференции); *Ваши аплодисменты / к а к г о в о р я т / сами г о в о р я т обо всем* (на заседании); *о п р е д е л я ю т с я факторы / которые о п р е д е л я ю т выбор конструкции* (на заседании); *это вытекает из задачи п о д г о т о в к и выпускника п о д г о т о в и т е л ь н о г о факультета* (на конференции); *оно д е й с т в у е т на протяжении д е й с т в и я всей системы* (там же); *оно д е й с т в у е т на краткий момент д е й с т в и я данной ситуации* (там же); *однако не следует думать что все эти варианты в ы р а ж а ю т все возможности предназначенные для в ы р а ж е н и я отрицания* (там же); *это з н а ч е н и я стилистически з н а ч и м ы е* (там же); *Я всеми своими о щ у щ е н и я м и о щ у щ а ю...* (телепередача); *с л у ч а й который с л у ч и л с я ...* (на заседании); *...насколько мы о б я з ы в а е м наших студентов о б я з а т е л ь н о прослушать некоторые спецкурсы и спецсеминары* (на заседании); *...к тому чтобы максимально б л и з к о п р и б л и з и т ь с я ...* (телевыступление актера); *Мы все б л и ж е и б л и ж е п р и б л и ж а е м с я к нашей цели* (то же); *А сейчас / ребята / я вас п о з н а к о м л ю со своей старой з н а к о м о й...* (телепередача); *мы должны свои о б я з а т е л ь с т в а о б я з а т е л ь н о выполнить* (на собрании); *начались р а б о т ы по промышленной р а з р а б о т к е* (радио, последние известия); *п о м е ч е н о п о м е т о й* «инд». (на конференции); *в выступлениях у ч а с т н и к о в совещания отмечалось активное у ч а с т и е* (радио, последние известия); *он не только не порвал связь с р о д н ы м к о л л е к т и в о м / с родным клубом / с р о д н ы м так сказать к о л л е к т и в о м / но и поддерживает связь с к о л л е к т и в о м / бывает на всех вечерах* (телерепортаж); *наше собрание которое р а с с м а т р и в а л о э т о т в о п р о с практически прошло в духе р а с с м о т р е н и я э т о г о в о п р о с а на коллегии* (на собрании). Повтор может проникнуть и в письменную речь, но это встречается редко. Ср.: «Такая *организация* позволит *организовать* лингвистический справочно-информационный фонд» («Вопросы лингвостатистического анализа русской разговорной речи», М., 1976, стр. 10; ср. еще: «Такое и еще какие-то *предложения предложил* Лева, кое-как их обосновывая» — А. Битов. Дни человека).

Как видно из примеров, повтор однокоренного слова особенно активно охватывает слова обобщенного и полузнаменательного характера, но может встречаться и при употреблении слов конкретного значения. В приведенных примерах отражены факты речевой деятельности не только малоопытных ораторов, но и высококультурных людей, профессионально

связанных со словом, в том числе поэтов, актеров, ученых-филологов. Тенденция в данном случае, видимо, пересиливает требования культуры речи, которые тем не менее в полной мере сохраняют свою обязательность, и общелитературная ненормативность словоупотребления очевидна.

Наконец, отметим еще одно высокочастотное явление из области особенностей сочетаемости слов в устной публичной речи — широкие возможности контаминирования, взаимных подстановок близких по значению слов, что сильно расширяет лексико-синтаксическую сочетаемость слова. Это расширение обычно идет от неполного овладения письменно-литературной нормой, усугубляемого отсутствием времени на подбор нужного слова, и является отклонением от общелитературной нормы. С точки зрения внутренней нормативности устной публичной речи эти контаминации также являются отклонением от нормы, поскольку они индивидуальны и окказиональны и обычно, в отличие от лексических повторов, не обнаруживают высокой повторяемости данной конкретной группы [43]. Ср.: *Самый интересный момент в изучении этих памятников имеет вопрос...* (на заседании); *Я приведу опять же очень известный момент...* (доклад на конференции); *Это впервые отечественный автомобиль такого рода* (телеинтервью); *Наша задача со спортсменом одна / несмотря на то большое упущенное время сделать все возможное...* (телеинтервью). Как видно, особенно охотно контаминируется «полупустая» лексика.

Подводя итоги, можно сказать, что на примере новой привлекаемой к исследованию области функционирования современного русского литературного языка видно значение соотношения «узус—норма — система» для установления ее специфики. Каждый из членов этого троичного соотношения существует в двух аспектах — «внутристилевом» (хотя условность термина «стиль» становится все более очевидной по мере привлечения к исследованию материала разных функциональных сфер) и «общелитературном» (это понятие тоже неоднозначно из-за реальных различий в распределенности таких явлений в разных функциональных сферах). Характером соотношения этих категорий, а также условиями и формой функционирования речи определяется состав и структура языковых и речевых средств, употребляемых в каждой отдельной сфере функционирования русского литературного языка.

Выяснение реального состава средств данной функциональной сферы, установление сложившейся практики их употребления способствует установлению их системности. В практическом отношении это должно составить основу для выработки нормативных рекомендаций. Уже первые наблюдения показывают, что, несмотря на пестроту состава тех, кому приходится говорить публично, и на неизбежное наличие индивидуальных особенностей речи, в этой сфере прослеживаются общие закономерности, являющиеся результатом, во-первых, сравнительно долгого срока существования сложившегося узуса устных выступлений, а во-вторых, того факта, что носители этого типа речи и устно-разговорной речи бытового назначения — это одни и те же носители современного русского литературного языка, чем и обеспечивается как его единство, так и единство его устно-разговорной разновидности. Последнее обстоятельство обусловливает широкое вхождение устно-речевых и, более того, устно-разговорных особенностей в сферу устных публичных выступлений.

---

[43] В работе: М. Л. Крючкова, К вопросу о вариантности в управлении (сб. «Вопросы стилистики в преподавании русского языка иностранцам», М., 1972) отмечены письменно закрепленные случаи контаминаций в области управления. См. также: К. С. Горбачевич, О норме и вариантности на синтаксическом уровне, ВЯ, 1977, 2.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1978

ЛОПАТИН В. В., УЛУХАНОВ И. С.

ТЕОРИЯ ГРАММАТИКИ И ПРАКТИКА ГРАММАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

Общеизвестно, что для современного языкознания характерно разнообразие приемов и принципов грамматического описания языка. В работах последнего времени большое внимание уделяется разным типам грамматик, прежде всего так называемым аналитической и синтетической грамматикам. Все большее распространение получает точка зрения, согласно которой грамматический строй языка может быть описан разными методами. Эта точка зрения вполне соответствует исследовательской практике.

Вместе с тем очевидно, что практическое описание грамматического строя языка возможно лишь на основе ясно сформулированных исходных теоретических принципов и четко определенных исходных понятий и единиц, используемых в процессе описания. Это дает возможность сопоставить разные методы грамматического описания, выявить их преимущества и недостатки, а также степень пригодности того или иного описания для педагогической практики.

В статье В. И. Максимова «Грамматическая теория и практика изучения языка» [1] отмечается, что разнообразие концепций ставит преподавателя, методиста в затруднительное положение в связи с необходимостью выбора того, что наиболее применимо в практике преподавания. Автор решил помочь методисту и для этого поставил «цель проанализировать и сопоставить те принципы, которые нашли отражение только в двух, наиболее значительных трудах по современному русскому литературному языку — академических „Грамматиках“ 1952—1954 гг. и 1970 г. ..., и показать степень пригодности, эффективности этих принципов при описании практической грамматики» (стр. 28—29).

Правда, обе эти грамматики принадлежат к числу так называемых «традиционных» (или аналитических) грамматик и не являются наиболее показательным материалом для демонстрации «теоретических концепций, представители которых придерживаются неодинаковых, а то и противоположных принципов описания языкового материала» (стр. 28).

Автор усмотрел в грамматиках 1970 (далее «Гр. 70») и 1952—1954 гг. (далее «Гр. 52—54») ряд «контрастирующих» принципов изложения материала и сделал вывод, что «принципы описания, декларированные (sic.— *В. Л., И. У.*) в последней,... имеют большее теоретическое и практическое значение» (стр. 38).

В данной статье мы (авторы одного из разделов «Гр. 70») не ставим своей задачей опровергать этот вывод. Мы считаем необходимым лишь показать, что как теоретические положения, так и фактический материал «Гр. 70» рассмотрены в статье В. И. Максимова искаженно и противоречиво, а это может создать у читателя неправильное представление о теоре-

[1] См.: ВЯ, 1977, 1 (далее постраничные ссылки приводятся в тексте).

тических позициях данной грамматики и об интерпретации в ней конкретных фактов.

1. В. И. Максимов утверждает, что «в „Гр. 52—54“ выдвигается задача дать возможно широкую (sic.— *В. Л., И. У.*) характеристику современного русского литературного языка» (стр. 29), а для «Гр. 70» характерен «отход от принципа полноты научного описания» (стр. 37). Сопоставим с точки зрения полноты материала описание словообразования (которым главным образом оперирует В. И. Максимов) в «Гр. 52—54» и «Гр. 70».

В «Гр. 52—54» впервые дано описание системы словообразования существительных и прилагательных (в разделах «Морфологии», посвященных этим частям речи), однако раздел «Словообразование глагола» отсутствует. Дано лишь описание значений глагольных префиксов. В «Гр. 52—54» вообще нет «Словообразования» как особого раздела, что и обусловило ряд существенных пробелов в описании материала, ликвидированных в «Гр. 70». Так, в «Гр. 52—54» отсутствует описание семантики отыменных глаголов, описание всех смешанных способов глагольного словообразования, сложных глаголов, описание так называемого безаффиксного словообразования имен (или нулевой суффиксации). Естественно, что для практики преподавания необходимо иметь возможность навести справки о том или ином словообразовательном явлении, что легче сделать в «Гр. 70», имеющей большой справочный аппарат, включающий, в частности, указатель морфов. Теоретические работы по словообразованию Г. О. Винокура, В. В. Виноградова, словообразовательные разделы «Гр. 52—54» вызвали в последующие годы небывалый ранее размах исследований по словообразованию, и это не могло не отразиться на степени полноты раздела «Словообразование» в «Гр. 70».

2. Оперируя материалом «явлений, связанных с выражением главных членов предложения и их отношений» (стр. 29), В. И. Максимов критикует стремление авторов «Гр. 70» рассматривать грамматические явления «с точки зрения лежащих в их основе абстрактных схем (образцов)» и их «регулярных реализаций (манифестаций)», принадлежащих языку. В этом усматривается такой способ описания, «при котором языковые факты либо подгоняются под заранее созданные предельно формализованные схемы („модели“), либо игнорируются как несоответствующие определенным теоретическим установкам» (стр. 37). В. И. Максимов, к сожалению, не видит разницы между описанием, которое выводит абстрактные схемы из конкретных языковых фактов с учетом разнообразия последних, и недобросовестным, антинаучным «подгоном» или «опущением» фактов, не укладывающихся в схемы, заранее составленные без учета всех доступных наблюдению фактов языка. Автор, видимо, полагает, что всякие попытки выведения абстрактных схем непременно искажают реальную картину языка.

Стремление к выведению абстрактных образцов, с нашей точки зрения, способствует не удалению из описания каких-то фактов языка, а, наоборот, более полному их описанию — если эти образцы выводятся из функционирования реальных единиц языка. Приведем лишь один пример из области словообразования. В «Гр. 52—54» отглагольные существительные с суффиксом *-тель* рассмотрены в двух местах: 1) существительные со значением лица (§ 293) и 2) существительные со значением орудия действия (§ 367). Этим, однако, не только далеко не исчерпывается их семантика, но — и это главное — такой способ описания не дает возможности отразить реальное, более общее («абстрактное») значение суффикса *-тель* — агентивность в широком смысле. В «Гр. 70» сформулировано общее значение типа с суффиксом *-тель* («лицо или предмет, производящий действие или предназначенный для осуществления действия, названного мотиви-

рующим словом») и указаны частные словообразовательные значения: 1) «лицо, производящее действие» (названия по профессии или по временному занятию): *наниматель*, *преподаватель*, *слушатель*, *писатель*, *читатель*, *проситель*; 2) «предмет (машина, орудие, приспособление), производящий действие»: *глушитель*, *предохранитель*, *разбрасыватель*, *распылитель*, *подогреватель*; 3) «предмет (приспособление, вещество, вместилище, учреждение и т. д.), предназначенный для осуществления действия»: *обтекатель*, *проявитель*, *накопитель*, *распределитель*, *вытрезвитель*. Реальность общего значения агентивности подтверждается приведенными в «Гр. 70» контекстами типа «*двигателем* технического прогресса является механизация производства», «сон — *выручатель* нервной системы» («Гр. 70», стр. 47), в которых слова с суффиксом *-тель* употребляются с собственно агентивным значением (производитель действия вообще), конкретизируемым только контекстуально. Для таких образований с суффиксом *-тель* не нашлось и не могло найтись места при том способе описания словообразовательной системы, который принят в «Гр. 52—54»,— раздельном описании агентивных образований с одним и тем же формантом, обозначающих лицо и предмет — орудие действия. В подобных случаях в «Гр. 52—54» описываются фактически не словообразовательные типы, а лексико-семантические группы мотивированных слов, а потому это описание и не дает возможности показать разнообразие значений слов с суффиксом *-тель*, очертить семантические пределы новообразований с этим суффиксом, указать на реальное употребление слов в «общем» значении агентивности. Аналогичный подход — от анализа значений языковых элементов в конкретных словах к выявлению их значения в системе языка — применен в «Гр. 70» при описании всех словообразовательных типов.

З. В. И. Максимов полагает, что в «Гр. 52—54» отражен «как бы диахронно-синхронный подход к описанию системы языка» (поскольку она «охватывает материал „от Пушкина до наших дней“») (стр. 31), и что этот подход, по сравнению со «строго синхронным» подходом (ориентация на язык современников), «способствует более полному раскрытию особенностей системы современного языка» (стр. 37). Правда, автор признает, что «синхронное описание в принципе возможно» (стр. 31), но такому описанию «должно предшествовать диахроническое исследование соответствующих явлений, причем соответствующие явления должны быть отграничены от их предшествующего состояния» (sic.— *В. Л.*, *И. У.*; стр. 31). Из сказанного естественно вытекает, что за описание, например, словообразовательной структуры слов современного русского языка следует взяться лишь после того, как будут описаны исторические процессы их образования (чего, естественно, нет ни в «Гр. 52—54», ни в «Гр. 70»). Поскольку историческое словообразование еще не написано, то не следует браться и за современное. Исследовательская практика, к счастью, не следует этому запрету.

Как известно, синхронное описание словообразования должно отразить современную словообразовательную структуру слова, которая не всегда соответствует истории его образования. Если, говоря об «отграничении явлений от их предшествующего состояния», автор имеет в виду разграничение явлений современного языка и языкового прошлого, то с ним, безусловно, следует согласиться (хотя этот тезис и не отличается оригинальностью). По мнению В. И. Максимова, «Гр. 70» этого не соблюдает, ибо в ней отмечены три слова на *-ина* (*кузина*, *курфюрстина*, *гофмейстерина*; добавим сюда *синьорина*), которые, «во-первых,... являются заимствованиями,..., во-вторых, ..давно вышли из употребления» (стр. 32). Но, во-первых, если отказаться от описания заимствованных мотивированных

слов, то из системы словообразования следует исключить не только многочисленные слова, но и целые словообразовательные типы (слова на *-ировать*, *-изировать*, *-изовать*, *-ация*, *-тор*, *-изм*, *-аж* и др.). Во-вторых, слово *кузина*,[1] например, отмечено во в с е х словарях современного русского языка; оно активно употреблялось в литературе XIX в.(в частности, у Пушкина). Неясно, как согласуется требование автора удалить это слово из современных грамматик с его вполне справедливыми утверждениями, что «значительная масса обучающихся так или иначе читает (или стремится читать) русскую классическую литературу, начиная с Пушкина» (стр. 37), и что «обучающиеся... должны быть подготовлены к чтению этой литературы в языковом плане» (sic.— *В. Л., И. У.*; стр. 37). Последнее, естественно, относится не только к классической литературе XIX в., но и к современной, в частности к детской; ср. *гофмейстерина* — название персонажа популярной сказки С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев» [2].

Упрекая авторов «Гр. 70» за то, что они приводят слова типа *кузина*, автор вместе с тем считает необходимым (см. стр. 31), чтобы в грамматике при установлении синхронных мотивационных отношений литературного языка учитывались в качестве мотивирующих такие слова, как диалектное *отталь*, которое не фиксируется н и в о д н о м из словарей современного литературного языка, и *проталь*, зафиксированное лишь в семнадцатитомном словаре с пометой «обл.».

Мы полагаем, что как в «Гр. 52—54», так и в «Гр. 70» отражен синхронный (а не «диахронно-синхронный») подход к материалу. Это грамматики с о в р е м е н н о г о русского литературного языка, но границы современного языка в них понимаются по-разному. Об этом можно и нужно дискутировать. В. И. Максимов, однако, предлагает «диахронно-синхронный» подход, под которым, как ясно из его статьи, понимается осуществление синхронного описания после диахронного.

Вместо этого теоретически неясного и нереалистического подхода авторы «Гр. 70» «в своем понимании синхронии... исходили из того тезиса, что всякая синхрония в языке существует только как условно ограниченный момент развития и соответственно должна рассматриваться как синхрония динамическая. Это значит, что в грамматическом описании обращается внимание на продуктивность или непродуктивность моделей, на явления колебаний и вариативности» («Гр. 70», стр. 4). Этот принцип авторы старались последовательно применять.

4. Синхронное описание, считает В. И. Максимов, «должно быть последовательно выдержанным» (стр. 31). Тезис бесспорный; но бесспорно и то, что последовательность описания выражается прежде всего в следовании исходным принципам описания. В. И. Максимов, видимо, полагает, что чем меньше в грамматике исходных определений, тем легче ею пользоваться, тем больше пригодна она для преподавания. В заслугу «Гр. 52—54» он ставит тот факт, что эта грамматика «ограничивается минимумом» «общих понятий, относящихся к словообразованию» (стр. 32). В то же время «Гр. 70» критикуется В. И. Максимовым за ее «сугубо теоретический

[2] Разумеется, этот суффикс, выделившийся на русской почве в заимствованных словах (ср., например, нем. *-in*), с исторической точки зрения отнюдь не тождествен общеславянскому суффиксу *-ин(а)*, истории которого в русском языке посвящена книга В. И. Максимова «Суффиксальное словообразование имен существительных в русском языке» (Л., 1975). Активность этого заимствованного суффикса *-ин(а)* как одного из специфических суффиксов названий лиц женского пола проявилась в современном русском языке в сфере собственных имен: выделившись на русской почве в собственных именах типа *Антон — Антонина*, *Александр — Александрина*, *Виктор — Викторина*, *Виталий — Виталина*, этот суффикс послужил средством образования таких новых имен советской эпохи, как *Октябрина*, *Ноябрина*, *Маина*, *Энгельсина*.

характер» (стр. 32), хотя ясно, что эта грамматика, содержащая во многих разделах (и, в частности, в разделе «Словообразование») более полное, чем в «Гр. 52—54», описание материала, никак не может быть названа лишь сугубо теоретической (впрочем само это определение не воспринимается нами как отрицательное).

В «Гр. 52—54» вообще нет теоретического раздела, посвященного словообразовательной проблематике, отсутствуют определения основных единиц словообразования. Это соответствовало уровню теоретической разработки общих проблем словообразования, характерному для 40 — начала 50-х годов. В «Гр. 70» сделана попытка, опираясь на развитие словообразовательных исследований, в том числе в период после выхода «Гр. 52—54», дать в разделах «Введение в морфемику» и «Словообразование. Основные понятия» ряд определений, используемых при описании конкретного материала. К их числу относятся, например, критерии объединения морфов в морфемы.

Не возражая в принципе против выделения морфов как разновидностей морфемы, В. И. Максимов излагает принятые в «Гр. 70» критерии алломорфии. При этом, в частности, третий критерий изложен неточно. В «Гр. 70» он сформулирован так: «Есть позиции, в которых не может выступать хотя бы один из данных морфов (при наличии в этих позициях другого морфа или морфов), причем формальное различие данных морфов обусловлено соседними морфами» («Гр. 70», стр. 33); в передаче же В. И. Максимова этот критерий выглядит как «незаменяемость в окружении одних и тех же морфем» (стр. 33 статьи), что далеко не одно и то же. Приведенное определение из «Гр. 70» показывает, что принятый в ней принцип распределения алломорфов весьма далек и от «так называемой дополнительной дистрибуции», «раскрытие» которой автор статьи (см. стр. 32) приписывает авторам грамматики.

Далее авторам грамматики приписывается «непоследовательность» в соотнесении «понятий „морфема", „морф", „алломорф", „вариант"»: по мнению В. И. Максимова, «алломорфы и варианты предстают (в „Гр. 70".— *В. Л., И. У.*) как разновидности то морфов, то морфем, а это не одно и то же» (стр. 34). С тем, что это не одно и то же, нельзя не согласиться (впрочем это одна из основных мыслей самой «Гр. 70»). Но абсурдный вывод о том, что алломорфы или варианты могут быть «разновидностями морфа», отнюдь не следует из тех положений «Гр. 70», которые В. И. Максимов приводит в доказательство усмотренной им «непоследовательности». В. И. Максимов считает, что упомянутый вывод следует из двух положений: с одной стороны, алломорфами и вариантами в «Гр. 70» признаются морфы «по отношению друг к другу», с другой — говорится о морфах (алломорфах, вариантах) «одной и той же морфемы». В. И. Максимов почему-то решил, что эти два положения противоречат друг другу. Но общеизвестно, что морфы потому и объединяются в одну (тождественную) морфему, что по отношению друг к другу они являются алломорфами. Термин же «варианты» вводится в «Гр. 70» с добавлением «морфемы»: тем самым ясно, что речь не идет о вариантах морфа.

Неверно и утверждение, что «значимые отрезки *-ива-*, *-ва-*, *-а-*» «признаются (в „Гр. 70".— *В. Л., И. У.*) то разными морфами, то одним» (стр. 34 статьи). Безусловно, это разные морфы, причем объединение их в одну морфему отвечает критериям алломорфии, изложенным в «Гр. 70». Нельзя отрицать ни тождества их значения, ни наличия в их составе общей фонемы *а*, а у морфов *-ива-* и *-ва-* — также общего сочетания *ва* (фонематическая близость, оспариваемая В. И. Максимовым в данном случае голословно), ни наличия позиций, в которых не может выступать хотя бы один из этих морфов: после согласной невозможен морф *-ва-*, а после гласной — морфы

-ива- и *-а-* (последние два, таким образом, порознь дополнительно распределены с морфом *-ва-*). Не может служить аргументом против объединения этих морфов в одну морфему и тот подчеркиваемый В. И. Максимовым факт, что выбор этих морфов в определенной степени обусловлен классом мотивирующего глагола. Никто не утверждал, что такая обусловленность исключает одновременную морфонологическую обусловленность выбора морфа. Напротив, сочетание той и другой обусловленности — явление достаточно распространенное и известное. Так, выбор суффиксальных морфов *-ениј-* и *-ниј-* (в существительных на *-ние*) тоже обусловлен в значительной степени классом мотивирующего глагола (см. «Гр. 70», стр. 66), и вместе с тем большинством исследователей они признаются морфами одной и той же морфемы [3], распределенными с морфонологической точки зрения (морф *-ниј-* выступает после гласных, морф *-ениј-* — после согласных).

В связи с изложенными в «Гр. 70» принципами установления алломорфов и вариантов морфемы В. И. Максимов выражает сомнение по поводу, казалось бы, самых бесспорных случаев. Так, для него «остается неясным, являются ли значимые отрезки типа *-охоньк(ий)*, *-ошеньк(ий)* действительными вариантами одной морфемы (*белехонький*, *белешенький*) или синонимичными суффиксами (ср. еще *беленький*), как они рассматриваются в „Гр. 70“» (стр. 34). По определению в «Гр. 70», варианты морфемы не могут быть одновременно разными (синонимичными) суффиксами. К тому же, вопреки утверждению автора, варианты *-охоньк-* и *-ошеньк-* нигде в «Гр. 70» не рассматриваются как синонимичные суффиксы ни по отношению друг к другу, ни к суффиксу *-еньк-*.

Не соглашаясь с некоторыми из предложенных в «Гр. 70» конкретных решений, связанных с вопросом об алломорфии, В. И. Максимов противопоставляет ей «Гр. 52—54», считая достоинством последней то, что в ней «вопрос о выборе и распределении суффиксов почти не затрагивался как еще слабо изученный» (стр. 33). Мы не можем сказать, что авторы «Гр. 52—54» вовсе не ставили перед собой задачи разграничения аффиксов и их разновидностей. Конечно, те сведения о варьировании морфем, которые в ней имеются, носят спорадический характер, соответствующие понятия и принципы отграничения вариантов аффикса от разных аффиксов не определены, не унифицирована подача вариантов. И все же мы узнаем из этой книги, например, следующее: «В том случае, если глагол начинается гласным звуком, употребляется вариант приставки *де-* — *дез-*, напр.: *организовать* — *дезорганизовать*» («Гр. 52—54», I, стр. 605). Сведения о характере морфонологической обусловленности вариантов аффикса находим в «Гр. 52—54» также для суффиксов *-щик* (*-чик*), *-щин-а* (*-чин-а*), *-ств-о* (*-еств-о*). Как варианты одного аффикса (но без указания правил их распределения) рассмотрены в «Гр. 52—54» глагольные приставки типа *в-*(*во-*), *вз-* (*взо-*), суффиксы существительных *-тор* (*-атор*, *-итор*), *-нность* (*-енность*), суффиксы прилагательных *-ск-* (*-еск-*), *-онек* (*-енек*) [4]; однако *-ние* и *-ение*, *-тель* и *-итель*, *-изн-а* и *-овизн-а*, *-ёхоньк-* и *-ёшеньк-*, *-н-ый* и *-енн-ый* и др. рассмотрены как разные суффиксы. Как видим, авторы «Гр. 52—54» признают вариативность морфемы, обращают на нее внимание, но отмечают ее нерегулярно, не ставя теоретических задач разграничения морфем и их вариантов. Вполне естественно, что следующим этапом грамматического

[3] В. И. Максимов также относит *-ние*/*-ение* к «бесспорным случаям варьирования суффиксов» (см. его кн. «Суффиксальное словообразование имен существительных в русском языке», стр. 54).

[4] Показательно, однако, что по принципу подачи варианты аффиксов ничем не отличаются в «Гр. 52—54» от орфографических вариантов морфов: *-ант* (*-янт*), *-ак* (*-як*), *-атин-а* (*-ятин-а*), *-ох-а* (*-ёх-а*) и т. п., а также от сочетаний аффикса с наиболее частотными фонемами мотивирующей основы: *-л-а* (*-ал-а*, *-ил-а*).

изучения и описания словообразовательной системы русского языка должно было быть теоретическое и практическое упорядочение принципов описания морфемного варьирования, и, таким образом, обращение к этой проблеме отнюдь не противоречит русской грамматической традиции, а, напротив, ее развивает.

Разумеется, в проблеме критериев алломорфии и ее описания немало еще спорных аспектов, вызывающих разногласия. Один из них отражен и в статье В. И. Максимова: по его мнению, морфонологическую позицию суффиксального морфа следует определять не по конечной фонеме мотивирующей основы в структуре мотивированного слова, а по конечной фонеме основы мотивирующего слова (та и другая фонемы при чередовании не совпадают): так, позицию морфа *-ин(а)* в слове *вершина* следует, по мнению В. И. Максимова, рассматривать не как позицию после шипящей, а как позицию после заднеязычной (верх). Нам уже приходилось высказываться по поводу сходных замечаний других рецензентов «Гр. 70» [5]. Добавим к сказанному, что выбор суффиксальных морфов *-ин(а)* и *-овин(а)* в отыменных словообразовательных типах (о котором и идет речь в рассматриваемом В. И. Максимовым месте «Гр. 70»), действительно, зависит только от предшествующей согласной в структуре мотивированного слова: после шипящих может выступать только морф *-ин(а)*, независимо от того, какая согласная находится на месте этой шипящей в мотивирующем слове — та же шипящая (*старейший — старейшина*), заднеязычная (*верх — вершина*, *всякий — всячина*, *пегий — пежина*) или согласная *ц* (*месяц — месячина*); при сохранении же предсуффиксальной заднеязычной согласной или *ц* выбирается морф *-овин(а)*: *клейкий — клейковина*, *брюхо — брюховина*, *сердце — сердцевина*. Не следует смешивать морфонологическую п о з и ц и ю м о р ф а (которая, как уже отмечалось исследователями, может для всякого морфа определяться двояко: и парадигматически, т. е. через предшествующий морфу чередовательный ряд, морфонему, и синтагматически, т. е. через предшествующую фонему в структуре мотивированного слова [6]) и п р а в и л о в ы б о р а м о р ф а, позиционного распределения морфов. Распределение это в одних случаях обуславливается парадигматической позицией (как, например, в морфах уменьшительно-ласкательного суффикса *-ок/-ик* или суффикса «превосходной степени» *-ейш-/-айш-* — см. «Гр. 70», стр. 130, 208), а в других случаях — гораздо более частых — позицией синтагматической; ко второй группе случаев относится и распределение морфов *-ин(а)/-овин(а)*.

Учет только синтагматической позиции там, где именно она релевантна для распределения морфов, вовсе не означает, что в «Гр. 70» «чаще раскрывается картина членения слов, чем их реального образования» (стр. 32 статьи В. И. Максимова). Во-первых, в «Гр. 70» при описании каждого словообразовательного типа указаны не только распределение морфов, но и все преобразования основы мотивирующего слова в структуре слова мотивированного (усечения, чередования и т. д.). Во-вторых, указываемое в «Гр. 70» для каждого типа распределение морфов касается не только «готовых» слов, но и всех вновь образуемых слов описываемых типов. В-третьих, наконец, «раскрытие картины членения слов» вовсе не являлось задачей «Гр. 70» (как, впрочем, и ни одной другой грамматики). Еще в

---

[5] См.: Н. С. А в и л о в а, С. Н. Д м и т р е н к о, В. В. Л о п а т и н, В. А. П л о т н и к о в а, И. С. У л у х а н о в, Спорные вопросы описания грамматического строя русского языка (фонология, морфемика, словообразование, морфология), ВЯ, 1973, 4, стр. 39—40.

[6] См.: Е. А. З е м с к а я, О понятии «позиция» в словообразовании, сб. «Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова», М., 1975.

проспекте «Гр. 70» говорилось, что «построение словообразовательной системы как системы типов, моделей, невозможно только с помощью методов морфемного анализа. Изучение различных морфем с точки зрения их способности участвовать в образовании новых слов возможно только на основе результатов словообразовательного анализа» [7]. В «Гр. 70» описывается не морфемная, а словообразовательная структура слова; используются результаты не морфемного, а словообразовательного анализа. В мотивированных словах выделяются не все морфемы подряд, а мотивирующая основа и формант. Это выделение осуществляется на основе синхронных связей мотивирующего и мотивированного слов. Мотивированные слова объединяются в словообразовательные типы, которые и являются образцами для «реального образования» слов. Каждый тип охарактеризован с точки зрения продуктивности [8]. Все это и способствует «раскрытию картины» того, «как делаются слова» в современном русском языке.

Следует отметить также, что, полемизируя с авторами «Гр. 70» по поводу суффикса *-ин(а)/-овин(а)*, В. И. Максимов, как и в ряде других мест статьи, неточно цитирует эту грамматику: в данном случае он приписывает авторам утверждение, что морф *-овин(а)* выступает в существительных со значением «носитель предметного признака» «только после заднеязычных» (стр. 32), и тут же возражает против этого утверждения, указывая на случай, где морф *-овин(а)* выступает после другой твердой согласной. Но в соответствующем месте «Гр. 70» (стр. 111) написано, что морф *-овин(а)* выступает «после парных твердых, в том числе заднеязычных, и [ц]». Как видим, никаких оснований для данного возражения не было.

5. Обращаясь к другим понятиям словообразования, В. И. Максимов критикует выдвинутое в «Гр. 70» понимание словообразовательного типа. Напомним, что в «Гр. 70» словообразовательный тип понимается как формально-семантическая схема построения мотивированных слов определенной части речи, характеризующихся общностью трех признаков — форманта, части речи мотивирующих слов и словообразовательного значения. В своих работах, в частности в недавно опубликованной монографии, В. И. Максимов подчеркивает отсутствие единства взглядов исследователей в понимании словообразовательного типа [9]. С этим мнением трудно согласиться: словообразовательный тип как раз является одним из наиболее устоявшихся понятий словообразования. В настоящее время исследователи словообразования (причем не только русского) пришли к несомненному единству в понимании словообразовательного типа как центральной единицы классификации словообразовательной системы. Разные исследователи (достаточно упомянуть работы И. И. Ковалика, М. Докулила, Е. А. Земской, Н. А. Янко-Триницкой, В. Н. Хохлачевой, Г. С. Зенкова) сходятся на том, что и формант, и словообразовательное значение (выявляемое путем сопоставления значений мотивированного и мотивирующего слов), и грамматическая характеристика мотивирующего слова являются конституирующими признаками типа. Имеются лишь расхождения частного характера: так, грамматическую характеристику мотивирующего

[7] «*Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка*», М., 1966, стр. 56.

[8] Отметим, кстати, что утверждению В. И. Максимова о непродуктивности суффиксального морфа *-ин(а)* в существительных — названиях мяса (стр. 32) противоречат нередко наблюдаемые окказиональные образования с этим морфом; например, «*Осьминожина*» (название стихотворения Л. Мартынова; речь идет о мясе осьминога, употребляемом в пищу); «*шашлыки из джейранины*» (М. Горчаков, Дело о розовой папке.— Пример из картотеки новых слов Словарного сектора Института русского языка АН СССР).

[9] См.: В. И. Максимов, Суффиксальное словообразование имен существительных в русском языке, стр. 44—48.

слова некоторые исследователи понимают только как принадлежность этого слова к определенной части речи, некоторые же — как совокупность лексико-грамматических свойств мотивирующих слов, но тем не менее включают сюда в качестве обязательного компонента и определенную часть речи [10].

Признание части речи мотивирующего слова одним из конституирующих признаков словообразовательного типа связано с господствующей в современном языкознании точкой зрения, что синхронные словообразовательные отношения являются отношениями мотивированного и мотивирующего слов как слов определенной части речи. Как показывает практика составления описательных грамматик русского языка, именно такое понимание словообразовательного типа является надежной основой грамматического описания словообразования, вскрывающей связи словообразования с другими уровнями грамматического строя языка.

Необходимо подчеркнуть, что этот подход к словообразовательному типу фактически уже был реализован в «Гр. 52—54» В. В. Виноградовым. Правда, определение словообразовательного типа в «Гр. 52—54» («всякий ряд слов, характеризуемый семантическим единством, а также единством способа словообразования» — «Гр. 52—54», I, стр. 44) надо признать еще недостаточно конкретным и эксплицитным. Однако уже примеры, приведенные во «Введении» в эту грамматику непосредственно после процитированного определения (отнесение отглагольных слов *жнец*, *писец* и т. п., с одной стороны, и отыменных *оборонец*, *примиренец* и т. п., с другой, к разным словообразовательным типам — см. там же, стр. 45), как и все осуществленное в «Гр. 52—54» описание словообразовательных типов существительных и прилагательных, показывают, что на практике авторы «Гр. 52—54» руководствовались принципом отнесения слов с одним и тем же формантом, различающихся частью речи производящего слова, к разным словообразовательным типам. Неполнота же, «недосказанность» определения словообразовательного типа в «Гр. 52—54» объясняется тем, что это важнейшее для словообразовательного описания понятие находилось в ту пору в стадии становления, еще только вырабатывалось [11]. В данном случае практика описания опередила теоретическое осмысление соответствующего понятия. Утверждение В. И. Максимова, что «„Гр. 52—54“ к одному словообразовательному типу относила производные... независимо от принадлежности производящего слова к той или иной части речи» (стр. 36), не соответствует действительности: с точки зрения учета этого признака типа расхождений между двумя грамматиками нет. Но естественно, что в более поздней по времени книге понятие это определено более точно.

Критикуя принятое в «Гр. 70» определение словообразовательного типа, включающее признак части речи мотивирующего слова, В. И. Максимов считает отступлением от этого определения рассмотрение некоторых отадъективных образований (например, слов типа *Полтавщина*, *Орловщина*)

[10] Заметим, что и в этом вопросе различия постепенно устраняются. Так, Е. А. Земская, определявшая прежде этот признак словообразовательного типа как «общность лексико-грамматических свойств производящей основы» («Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного», М., 1964, стр. 279), ныне определяет его как «общность части речи производящей основы» (Е. А. Земская, Современный русский язык. Словообразование, М., 1973, стр. 182).

[11] Об этом свидетельствует и тот факт, что в другой грамматике того же периода — университетской — словообразовательными типами названо то, что мы теперь называем способами словообразования (см.: «Современный русский язык. Морфология», М., изд-во МГУ, 1952, стр. 44, § 2. Основные типы морфологического словообразования). С другой стороны, и термин «способ словообразования» употреблялся в то время в разных смыслах: ср., например, употребление этого термина в вышеприведенном определении словообразовательного типа из «Гр. 52—54».

как мотивированных не только прилагательными (*полтавский*, *орловский*), но и существительными (*Полтава*, *Орел*). В действительности такое отступление имело бы место лишь в том случае, если бы в рамках одного типа рассматривались и слова, мотивированные т о л ь к о прилагательными, и слова, мотивированные т о л ь к о существительными. Лишь в этом случае можно было бы утверждать, что авторы рассматривают все производные с одним аффиксом в рамках одного типа «независимо от принадлежности мотивирующих основ этих производных к определенной части речи» (стр. 36). Но в данном случае все слова с суффиксом *-щин(а)/-чин(а)* определенного значения объединяются в один тип на основании того, что в с е они мотивированы п р и л а г а т е л ь н ы м и. Параллельная же мотивация существительными не исключает их мотивированности прилагательными. Неединственность мотивации (полимотивированность) — явление, весьма широко распространенное в русской словообразовательной системе, и, кстати, сам В. И. Максимов в другом месте своей статьи (стр. 31) указывает на одновременную мотивированность некоторых слов на *-ина* (например, *изгибина*) и глаголами, и отглагольными именами. Авторы «Гр. 70» указывали на параллельные мотивации лишь в наиболее массовых, типичных случаях; что же касается регулярного указания всех таких мотиваций, то в данной грамматике такая задача не ставилась. Поскольку во вводной главе к книге сказано, что «указание на одну из возможных мотиваций не означает обязательного отсутствия у данного слова других мотиваций» («Гр. 70», стр. 39),— отступления от исходных принципов описания нельзя усмотреть и здесь [12].

В. И. Максимов высказывает ряд критических замечаний и в связи с двумя другими конституирующими признаками словообразовательного типа — формантом и словообразовательным значением. Так, высказывается сомнение в необходимости выделения формантов. Это выделение объявляется «формализованным подходом», затушевывающим роль каждого из непосредственно составляющих производное, не учитывающим семантики значимых частей слова, их омонимии (стр. 35—36). Использование в «Гр. 70» понятия «формант» привело В. И. Максимова к выводу, что в ней дано формализованное, схематичное описание, «при котором содержательная и функциональная стороны отодвигаются на задний план, а порою и вовсе не учитываются» (стр. 31).

Все эти замечания могут вызвать только недоумение, ибо в «Гр. 70» прямо сказано, что формант является в структуре мотивированного слова «носителем словообразовательного значения» (стр. 39) и, следовательно, элементом двусторонним, обладающим как формой, так и неотделимым от нее значением (говорить о «формализованности» такого подхода можно разве только по внешнему, корневому сходству слов «форма» и «формант»)[13]. Кстати, в другом месте своей статьи В. И. Максимов отметил, что «каждый словообразовательный тип здесь (в «Гр. 70».— *В. Л., И. У.*) описывается со стороны семантики производных» (стр. 29). Далее в «Гр. 70» сказано, что формант может состоять как из одного словообразовательного средства, так и из нескольких (стр. 39), что в большинстве способов словообразования (в каких именно — указано на стр. 41—42) этими словообразовательными средствами являются морфемы или их совокупности (например, система флексий мотивированного слова), что при смешанных способах словообразования формант равен сумме формантов, присущих составляю-

[12] Одним из возможных путей более полного отражения неединственных мотиваций является введение в описание так называемых «суммарных схем мотиваций» для каждого форманта (см.: «Проспект „Русской грамматики“», М., 1972, стр. 27).

[13] Это относится не только к словообразовательному форманту. Любая грамматическая форма выражает какое-либо значение, не существует вне этого значения.

щим способам (стр. 41), а словообразовательное значение является в этих способах словообразования комплексным (так, при суффиксально-сложном способе «в словообразовательном значении сочетаются объединительное значение, присущее сложению, и категориальное значение, присущее суффиксальным типам», стр. 42). В связи с этим совершенно неясно, каким образом у В. И. Максимова мог появиться вопрос: «Как их (форманты.— *В. Л., И. У.*) отличить от морфем (морфов)?» (стр. 35).

В неменьшей степени это относится и к другому вопросу. «Может ли раскрыть специфику словообразовательного типа, по которому образованы слова *объедала*, *подлипала*, указание на то, что в них выделяется формант *-л(а)*?» — спрашивает В. И. Максимов и разъясняет: «Эти слова являются омонимами (автор хотел, видимо, сказать «омоформами». — *В. Л., И. У.*), могут восприниматься и как существительные, и как глаголы в форме прошедшего времени» (стр. 36). Однако в «Гр. 70», естественно, не просто указан формант *-л(а)*,— указано и его словообразовательное значение, а это существенно меняет картину, нарисованную автором статьи. Да и омонимии формантов, усматриваемой здесь В. И. Максимовым, по нашему мнению, нет: в существительных типа *объедала* формантом является комплекс «суффикс *-л-* + система флексий мотивированного существительного» (*-а-* — только представитель всей этой системы флексий, выступающий в исходной форме существительного), в форме же глагола мы имеем дело с комплексом *-л-а*, состоящим из словоизменительного суффикса прошедшего времени и одной глагольной флексии жен. рода ед. числа.

Вместо термина «формант» можно ввести, конечно, другой термин, но терминологически обозначить то понятие, которое в «Гр. 70» названо словообразовательным формантом, представляется совершенно необходимым, ибо в этом понятии обобщаются все те значимые средства, которые отличают мотивированные слова от их мотивирующих и, следовательно, не входят в состав мотивирующей основы. Формант является, таким образом, непосредственно составляющим того бинарного целого (мотивирующая основа + формант), которое представляет собой всякое мотивированное слово. Будучи одним из важнейших понятий словообразования, формант отражает его специфику как особого уровня языковой структуры, особого объекта изучения. Но, разумеется, введение этого общего понятия требует и различения разновидностей форманта, присущих конкретным способам словообразования, а также выделения в комплексном форманте компонентов, являющихся для него в свою очередь непосредственно составляющими (все это сделано в «Гр. 70»).

В. И. Максимов усматривает противоречие также в следующем: в «Гр. 70» указано, с одной стороны, что носителем словообразовательного значения в мотивированном слове является формант (или, соответственно, аффикс, входящий в состав форманта), а с другой, что словообразовательное значение — «это значение, присущее слову в целом... и формально выраженное внутрисловными средствами» (ср. «Гр. 70», стр. 36 и 37). «Выходит, что аффиксы, выражая словообразовательное значение, сами его не имеют» (стр. 36 статьи),— делает отсюда вывод В. И. Максимов. С нашей точки зрения, никакого противоречия в обеих формулировках нет: форманты (и, соответственно, аффиксы) не существуют сами по себе, вне мотивированных слов, вне сочетания с мотивирующей основой, в котором только и реализуется их значение. Формант, таким образом, выражает словообразовательное значение, присущее слову в целом; с другой стороны, выражая словообразовательное значение, он формирует в сочетании с мотивирующей основой лексическое значение мотивированного слова.

Не соглашаясь с тем, что «морфы имеют словообразовательное значение, но их значение является лишь составной частью словоформы (sic.— *В. Л.*,

И. У.) в целом» (стр. 36 статьи), В. И. Максимов не приводит ни каких-либо доказательств, ни своей «позитивной» программы. Он ограничивается загадочной фразой, никак не связанной с предшествующим изложением: «Во всем этом сказывается, в частности, теоретическое неразграничение значения и функции формы и слова» (стр. 36—37).

6. «Формализм» «Гр. 70» сочетается, по мнению В. И. Максимова, с «дескриптивизмом». Последний, по В. И. Максимову, проявляется в том, что в «Гр. 70» говорится о выделении значимых частей в слове, объединении морфов в морфемы, а словообразовательных типов в способы словообразования (стр. 38). Ясно, что приметами «дескриптивизма» у автора оказались такие процедуры анализа, без которых немыслимо вообще описание словообразовательной системы, независимо от принципов этого описания. Да и у дескриптивистов, словообразованием специально не занимавшихся, нет понятий словообразовательного типа и способа словообразования.

7. Вызывает серьезные сомнения сам метод полемики, содержащийся в статье В. И. Максимова. Возражая против отдельных частных решений, содержащихся в «Гр. 70» [при этом оперируя почти исключительно материалом с суффиксом *-ин(а)*], указывая на отдельные противоречия в реализации исходных положений (противоречия, как мы показали, мнимые), автор делает вывод о порочности подхода в целом, о «неадекватности» предложенного в книге описания грамматической системы современного русского литературного языка (стр. 38). В то же время, отрицательно отзываясь о содержащемся в книге подходе как о подходе «дескриптивистском», автор (и в данной статье, и в других своих трудах) признает целесообразность применения основных понятий, используемых в «Гр. 70»: понятий словообразовательного типа, морфа, распределения морфов, их формальной (фонематической) близости и т. д. Странным на этом фоне выглядит призыв к отказу от всей системы понятий, к возврату к «Гр. 52—54». Призыв этот странен тем более, что, как мы показали, во многих своих чертах система понятий, предложенная в «Гр. 70», является продолжением и развитием понятий, содержащихся в «Гр. 52—54».

8. Отмечая привлекательность «Гр. 52—54» с точки зрения практических целей изучения языка, В. И. Максимов подчеркивает, что в этой грамматике «устраняются из изложения теоретические разногласия» (стр. 32). Приходится, однако, констатировать, что на современном (середины 70-х годов) этапе развития науки такой простой «выход» невозможен, нельзя избежать в описательной грамматике спорных вопросов, предложить только такие решения, которые устраивали бы всех. Яркой иллюстрацией этого положения может служить так называемая нулевая суффиксация, трактуемая другими специалистами либо как безаффиксный способ словообразования, либо как конверсия («флективный» способ). Не останавливаясь подробнее на существующих разногласиях по этому вопросу, на аргументах полемизирующих сторон [14], подчеркнем, что в настоящее время нет такой трактовки образований типов *выход*, *синь*, *супруга* и др., которая удовлетворила бы всех специалистов. В. И. Максимов относится к числу противников концепции нулевого словообразовательного суффикса, хотя мы не можем сказать, что его возражения против этой концепции сколько-нибудь доказательны. Автор пишет, что «признание в словах типа *супруга* нулевого суффикса является большой натяжкой в угоду концепции, ибо противоречит не только историческим данным, но и современным» (стр. 34). Не разъясняя, какие именно «исторические данные» могли бы свидетельствовать в пользу признания в каких-либо образованиях современного языка

[14] См.: В. В. Лопатин, Проблемы нулевого словообразовательного аффикса, сб. «Актуальные проблемы русского словообразования», I, Ташкент, 1975.

нулевого суффикса, автор упоминает из «современных данных», будто бы противоречащих выделению нулевого суффикса в словах типа *супруга*, только продуктивность этого типа в сфере образования собственных имен (*Владлена* и т. п.). Но выделение нулевого суффикса опирается на структуру соответствующих образований, на их словообразовательное значение, а не на их продуктивность (в каждом способе словообразования есть, как известно, и продуктивные, и непродуктивные типы).

Что же касается термина, которым В. И. Максимов предлагает называть нулевую аффиксацию,— термина «суффиксально-флексийное словообразование»,— то нельзя не отметить его двусмысленность. Ведь согласно другой существующей (но, по-видимому, не разделяемой В. И. Максимовым) точке зрения, «суффиксально-флексийным словообразованием» является всякая суффиксация — не только нулевая, но и материально выраженная, ибо система флексий мотивированного слова входит с этой точки зрения в состав форманта при суффиксальном способе словообразования (см. «Гр. 70», стр. 41).

Итак, вместо требования (практически неосуществимого) устранять из изложения спорные, дискуссионные вопросы, мы предложили бы другое требование к описательным грамматикам: непротиворечивость концепции и соответствие описания принятым и ясно сформулированным теоретическим принципам, последовательность в осуществлении этих принципов. В сочетании с максимально возможной доступностью изложения это требование принесло бы гораздо бóльшую пользу для практики изучения языка, чем сглаживание «острых мест».

«Гр. 70», вышедшая в свет уже более семи лет назад, получила в лингвистической прессе весьма противоречивые оценки, при этом критика нередко велась с прямо противоположных позиций. Одних критиков «Гр. 70» не устраивает ее описательный характер («таксономичность»); с точки зрения этих критиков недостатком грамматики является отсутствие в ней абстрактных представлений языковых единиц, «глубинных» репрезентаций, лежащих, по их мнению, в основе языковых явлений. Другие критики, напротив, считают недостатком грамматики наличие в ней обобщенных схем, отвлеченных, как мы показали, от конкретных языковых фактов. Такие обобщенные схемы затрудняют для этих критиков восприятие конкретных языковых фактов, описанных в книге. Эти критики не замечают того, что в «Гр. 70» сделана попытка представить систему языка как иерархическую организацию явлений разной степени абстракции (к таким критикам относится и В. И. Максимов). Несмотря на столь различные критические высказывания, мы полагаем, что описательная грамматика должна сочетать в себе полное описание конкретных фактов с введением абстрактных образцов, основанных на этих фактах, а не построенных чисто умозрительным путем, как это нередко имеет место у крайних представителей «глубинного» подхода к языку.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1978

ПАЛМАЙТИС М. Л.

ПРАЯЗЫК — ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЛИ КОНТАКТНАЯ ОБЩНОСТЬ?

(Анализ данных словаря В. М. Иллича-Свитыча)

Появление двухтомного словаря ностратических языков [1] заставляет не только попытаться определить свое отношение к этому интересному труду и, в частности, к вопросу о том, существовал ли ностратический (в дальнейшем будет употребляться более удачный термин — бореальный) праязык, но и выяснить в свете данных упомянутого словаря возможный характер и пути развития этого праязыка.

Первый том словаря В. М. Иллича-Свитыча содержит сравнительно-фонетические таблицы [2], претендующие на первое точное описание звуковых соответствий между афразийской, картвельской, индоевропейской, уральской, дравидийской и алтайской языковыми семьями. Эти соответствия и положены в основу реконструкций общебореальных праформ. Согласно таблицам, в бореальном суперязыке представлено 49 фонем, из которых 7 — гласные. Последние заимствованы из реконструкции восточнобореальных языков (уральских, дравидийских, алтайских), где восстановлено в среднем около 27 фонем, из которых 7 — гласные. Хотя для общебореального отношение 7 гласных фонем к общему числу 49 (т. е. 14%) не является невозможным, все же типологически оно гораздо менее вероятно, чем восточнобореальное отношение 7 гласных фонем к общему числу 27, составляющее почти 27%. Из работ, где затрагивается соотношение фонем в разных языковых системах, можно назвать «Руководство по фонологии» Ч. Хоккета. На материале 60 произвольно избранных языков автор делает вывод о том, что «пределы возможных отношений гласных ко всем фонемам — наименьшие в системах с очень малым или с очень большим количеством фонем. Засвидетельствованные отношения обнаруживают тенденцию к более низким числам в системах с очень большим количеством фонем по отношению к системам с очень малым количеством фонем. Наибольшие же пределы возможных отношений характерны для систем с умеренным количеством фонем... Там, где количество согласных 8 или 10, количество гласных будет не меньшим и не большим. Там же, где согласных очень много, мы не обнаружим большого количества гласных» [3]. Надо сказать, что 42 согласных фонемы — не малое число, а 7 гласных фонем не назовешь небольшим количеством. Из приводимой Ч. Хоккетом диаграммы (стр. 139) явствует, что хотя подобное отношение в 14% при общем количестве 49 фонем и возможно (правда, засвидетельствован более низкий процент, 12%, т. е. 6 гласных фонем), оно наиболее вероятно в системах, где общее число фонем колеблется от 29 до 35. Что касается отношения в 27% при общем количестве 27 фонем в восточнобореальном ареале, то по диаграмме Хоккета оно оказывается одним из самых типичных. Итак, можно говорить

---

[1] В. М. Иллич-Свитыч, Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь, М., I — 1971, II — 1976.

[2] Там же, I, стр. 147—171.

[3] Ch. F. Hocket, A manual of phonology, Baltimore, 1955, стр. 138.

об определенной вероятностной закономерности — при очень большом количестве согласных фонем, количество гласных фонем минимально. Напротив, в языках с очень малым количеством фонем процент отношения гласных к общему числу фонем колеблется от 30% до 40%. Действительно, в финском языке из 30 фонем 16 гласных, а в языках северо-западного Кавказа, где количество согласных фонем может достигать 80, вокализм сводится к минимуму (например, в абхазском языке из 71 фонемы только 2 гласные). Следовательно, даже предполагая, что индоевропейский или картвельский моновокализм [4] и афразийский бивокализм [5] развились из систем с большим количеством гласных фонем (в соответствии с типологическими данными при богатом консонантизме и это первоначальное большее число должно было быть минимальным), остается весьма сомнительной вероятность существования в общебореальном 7 гласных фонем восточного ареала, если количество согласных фонем принять равным их количеству в западном ареале (т. е. в афразийском, картвельском и индоевропейском). Но, может быть, западнобореальная и восточнобореальная системы, а также и их члены не восходят непосредственно к некой суммарной системе бореального суперязыка? Такое предположение становится очевидным, если отказаться от попыток воспринимать дерево А. Шлейхера как некое описание развития праязыка.

Действительно, если бы каждой языковой семье соответствовал один праязык, то в случае семей, представленных разнообразным количеством диалектов и письменных памятников разных эпох (например, индоевропейской семьи), восстановление праязыка не представляло бы труда. Тем не менее, почти за полтора столетия исследований попытки реконструировать индоевропейский праязык остаются противоречивыми. Это приводит к тому, что ряд ученых само индоевропейское языковое родство считает не генетическим, а контактным. Не менее примечательно, что такую точку зрения высказал Н. Трубецкой [6]. К тому же мнению в наши дни склоняется А. Уэссон, предлагающий таким образом объяснять индо-уральские и урало-алтайские схождения [7].

Серьезность критики традиционных взглядов на генетическое родство заставляет искать новых методов для его подтверждения. Перспективным может оказаться метод установления генетико-контактного родства. Например, языковая общность A, принимаемая за исходную (оставляя в стороне вопрос о ее происхождении), распадается на диалекты B, C, D, которые считаются генетически родственными в пределах A. Затем контакт генетически родственных B и C дает новую систему E, контакт генетически родственных C и D — новую систему F, а контакт B и D — систему G. При этом, если, например, диалект D обладал бо́льшей устойчивостью, чем B и C, помимо систем G и F, возникших в результате его контактов с B и C, развивается система H, более точно соответствующая D, чем G и F. Полученные системы E, F, G, H находятся по отношению друг к другу в состоянии генетико-контактного родства, при этом четырем системам соответствуют три праязыка, а не четыре. Если принять во внимание, что в результате взаимодействия контактно-генетически родственных систем E, F, G, H должно возникнуть еще большее количество новых систем, часть которых может явиться результатом контакта и с языковыми общностями, не вос-

---

[4] Ср., например: Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани, Система сонантов и аблаут в картвельских языках, Тбилиси, 1965, стр. 369, 378 (на груз. яз.).

[5] См.: I. M. Diakonoff, Problems of root structure in Proto-Semitic, AO, 38, 1970, стр. 459, 464, 470.

[6] N. S. Trubetzkoy, Gedanken über das Indogermanenproblem, AL, 1, 1939.

[7] A. -M. Uesson, On linguistic affinity. The Indo-Uralic problem, Malmö, 1970.

ходящими к *A*, конечная картина окажется чрезвычайно сложной [8]. Есть основания полагать, что такую картину мы и наблюдаем в случае бореальной общности.

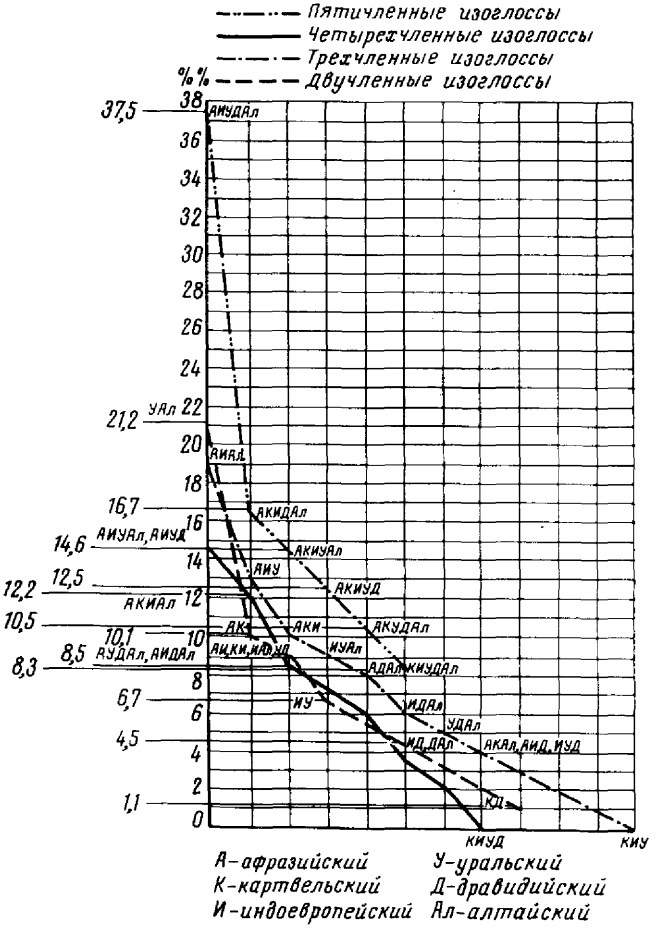
Бросается в глаза, что гипотетические праязыки шести бореальных семей не могут быть равноправными диалектами общебореального уже в силу хронологических причин. Так, если первичный распад общекартвельского на грузинско-занский и сванский, согласно подсчету по индексу М. Сводеша, относится к XIX в. до н. э. [9], то период общекартвельского оказывается совпадающим с эпохой распада общеиндоевропейского. С другой стороны, чрезвычайно большое расхождение афразийских языков заставляет предположить, что общеафразийский образуется раньше, чем общеиндоевропейский. Подобным образом, и алтайский обнаруживает больше расхождений, чем, например, уральский. Следовательно, шесть бореальных семей не восходят к равноправным шести праязыкам — диалектам общебореального. Наличие же структурных и лексических изоглосс, присущих тем или иным двум-трем семьям из шести, заставляет сомневаться в том, что каждая из шести семей вообще может восходить к некоторому «чистому» праязыку. Понятия индо-афразийского или урало-алтайского праязыка вновь приобретают более реальное содержание, но на этот раз не менее вещественное, чем индоевропейский или уральский праязык. Необходимо иметь в виду, что недостаточность имеющегося в распоряжении исследователя лексического материала некоторых языковых семей (например, картвельской) объясняется и совершенно недостаточным уровнем их этимологической разработки.

Все это подтверждается уже на основе лексического анализа обоих томов словаря В. М. Иллича-Свитыча. Проведенные подсчеты показывают, что реконструкция 353 бореальных праформ наиболее часто подкреплена индоевропейским, афразийским и алтайским материалом (соответственно 241, 237 и 231 корень), наименее представлен картвельский материал (148 корней), на долю уральского приходится 202 корня, дравидийского — 175 корней. Наибольшее количество совпадений представлено во всех шести семьях — 29, или 8% от 353, что говорит в пользу первичной генетической общности. Подсчет относительной частотности изоглосс, т. е. количества видов сочетаний по пять, четыре, три и два члена из шести семей по отношению к соответствующему общему количеству 5, 4, 3 и 2-членных совпадений показал, что наиболее распространены пятичленные изоглоссы (48 совпадений на 6 изоглосс — 48/6 = 8), затем — четырехчленные (82/13 = 6,3), затем — двучленные (89/15 = 5,9) и, наконец — трехчленные (100/20 = 5). Из пятичленных изоглосс наибольшее количество совпадений приходится на афразийско-индоевропейско-урало-дравидо-алтайские (18 от общего числа 48 совпадений в пятичленных сочетаниях, т. е. 37,5%), затем — на афразийско-картвело-индоевропейско-дравидо-алтайские (8 из 48, т. е. 16,7%). Из четырехчленных изоглосс наибольшее количество совпадений приходится на афразийско-индоевропейско-урало-алтайские и афразийско-индоевропейско-урало-дравидийские (по 12 совпадений из общего числа 82, т. е. 14,6%). Из двучленных изоглосс чрезвычайно распространены урало-алтайские (19 совпадений из общего числа 89, т. е. 21,2%). И, наконец, из трехчленных изоглосс наибольшее количество совпадений приходится на афразийско-индоевропейско-алтайские (19 из 100, т. е. 19%). Несмотря на большую относительную распространенность

[8] Это положение было высказано автором на конференции «Финно-угорские языки и Восток», посвященной 20-летию Кабинета востоковедения Тартуского Государственного университета (Тарту, декабрь 1975 г.).

[9] Согласно Г. А. Климову («О глоттохронологическом методе датировки распада праязыка», ВЯ, 1959, 2, стр. 119 и сл.).

четырехчленных изоглосс по сравнению с двучленными и трехчленными, максимальный процент в них ниже, чем максимальный процент совпадений в двучленных и трехчленных изоглоссах. Это говорит о том, что реально существовавшими древнейшими праязыковыми единствами следует признать единства, к которым могут быть возведены по пять, по две и по три из шести рассматриваемых бореальных семей. Тогда возможность существо-



вания таких древнейших единств определится границей, лежащей выше максимального количества совпадений в четырехчленных изоглоссах, т. е. выше 14,6%. Поскольку такой же процент совпадений обнаружен в пятичленных афразийско-картвело-индоевропейско-урало-алтайских изоглоссах (7 совпадений из общего числа 48), следует признать, что последние не отражают древнейшего праязыкового единства. Нами было произведено специальное сравнительное исследование процесса совпадений во всех видах сочетаний изоглосс, с одной стороны, и количества сочетаний изоглосс в каждом из видов в порядке убывания числа совпадений — с другой. Данные наших подсчетов позволили предположить частотности совпадений: современным шести семьям языков соответствуют по крайней мере четыре праязыковых единства, т. е. афразийско-индоевропейско-урало-дравидо-алтайское, урало-алтайское, афразийско-индоевропейско-алтайское и афразийско-картвело-индоевропейско-дравидо-алтайское. Абсолют-

но невозможными оказываются картвело-индоевропейско-урало-дравидийское и картвело-индоевропейско-уральское единства (ни одного совпадения).

То обстоятельство, что пятичленные изоглоссы с картвельским появляются после урало-алтайских и афразийско-индоевропейско-алтайских, вполне согласуется с высказанными ранее соображениями о более позднем происхождении картвельского в сравнении с индоевропейским и афразийским. В предисловии к книге Т. Гамкрелидзе и Г. Мачавариани Г. В. Церетели пишет: «Можно предположить, что мы имеем дело с древнейшим родством индоевропейского с общекартвельским, который „окавказился" в большей степени, чем какой-либо индоевропейский язык, например, армянский, обнаруживающий в большей мере свой индоевропейский характер, но тем не менее не свободный от целого ряда черт, свойственных кавказским языкам» [10]. Если это высказывание Г. В. Церетели перенести на язык генетико-контактного родства, можно заключить, что праязыковая комбинация с картвельским возникает в процессе «кавказизации», т. е. контакта с некоторой системой, которая также, возможно, генетически родственна бореальным системам, но В. М. Илличем-Свитычем не была учтена. Такой системой может быть хуррито-кавказская, имеющая достаточно изоглосс и с индоевропейской, и с картвельской. Помимо алтайского, *atta* «отец» находим и в хурритском, и в индоевропейском, хурритское *šala*, урартское *sə'la* «дочь» соответствуют грузинскому *asul-* «дочь», мегрельскому *osur-* «жена», сванскому *asuš-*. Хурритскому аллативному форманту *-da* соответствует такой же формант в картвельском и аблативный формант **-d* или аллативный *-de* (οἴκαδε) в индоевропейском. Наконец, в хурритском и урартском широко представлен детерминант *-ne*, который, по моему мнению, является общебореальным и отражен в индоевропейском показателе аккузатива (номинатива ср. рода) и в местоименной постпозиции, а в картвельском — в сванском инфигированном артикле *-m-* и в местоименной постпозиции *-n(a)* [11]. С другой стороны, в структурном отношении картвельский близок к хаттскому и к абхазско-адыгскому.

Принимая во внимание изложенное, можно предположить, что первоначально бореальная общность состояла из двух генетически родственных диалектов — диалекта *x* и диалекта, объединявшего в себе афра ийско-

---

[10] См.: Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани, указ. соч., стр. 045.

[11] Относительно сванского постпозиционного артикля см.: Г. Мачавариани, К генезису одного типа склонения в сванском, «Труды Тбилисск. гос. ун-та», 93, 1960. Бореальная детерминирующая постпозиция местоименного происхождения **ma* по закону исхода *-a* ‖ *-∅* (*-a* как алломорф нулевого окончания) могла выступать в виде **-ma= -mθ= -N= -nθ= -na*. Этим объяснимо чередование в семитическом мимации и нунации, в индоевропейском — показателей аккузатива *-m* и *-n* (о носовой архифонеме **-N* в индоевропейском см.: В я ч. И в а н о в, Тохарские языки и их значение для сравнительно-исторического исследования индоевропейских языков, сб. «Тохарские языки», М., 1959, стр. 24), а также местоименных формантов **-$m^{e/o}$* и **-$n^{e/o}$*, в картвельском — чередование местоименной постпозиции *-n(a)* и сванского артикля *-m-*, в уральском *m* -ового аккузатива и *n*-ового генитива [подробнее см.: Л. П а л м а й т и с, Опыт реконструкции общебореальной (ностратической) морфологии в уральско-индоевропейско-афразийском аспекте, «Lingua Posnaniensis», XXI, 1978 (в печати)]. Об *-a* ‖ *-∅* в афразийском см.: И. М. Д ь я к о н о в, Языки древней Передней Азии, М., 1967, стр. 213 и сл., 241 и сл., 244 и примеч., 122, 279 и примеч., 48, 337 и примеч. 22; I. J. G e l b, La lingua degli Amoriti, «Rendiconti della Academia Nazionale dei Lincei», ser. 8, 13, 1958; об *-a* ‖ *-∅* в картвельском см.: Л. П а л м а й т и с, Об отношении картвельского и других бореальных языков, сб. «Ностратические языки и ностратическое языкознание», М., 1977; о том, что на основе *-a* ‖ *-∅* в индоевропейском могла развиться тематизация, см. там же, а также: L. P a l m a i t i s, Dar dėl ide. fleksinės sistemos atsiradimo, «Baltistica», IX, 1, 1976. Местоименная постпозиция с носовым формантом засвидетельствована в и.-е. *me-ne*, картв. *me-na*, финно-угор. **mə-na*, самод. *ma-n*, тюрк. *mä-n*; араб-арам. *ma-n* «кто» и т. д.

индоевропейско-урало-дравидо-алтайские черты. В последующую эпоху в результате распада первоначальной афразийско-индоевропейско-урало-дравидо-алтайской общности и в результате ее контакта с *x* образовались новые праязыковые единства, находившиеся в состоянии генетико-контактного родства: урало-алтайское, афразийско-картвело-индоевропейско-дравидо-алтайское и хатто-хуррито-кавказское. На следующей ступени можно предположить распад афразийско-картвело-индоевропейско-дравидо-алтайского единства на афразийско-индоевропейско-алтайское, афразийско-картвело-индоевропейское и на протодравидийский. Последнее предполагается ввиду отсутствия достаточно статистически надежных двучленных и трехчленных изоглосс с дравидийским. Частотность, например, урало-дравидийских изоглосс (9%) не достигает частотности афразийско-картвело-индоевропейских (10%), еще меньше частотность афразийско-дравидо-алтайских изоглосс (8%). Наличие афразийско-индоевропейско-уральского состояния (13% изоглосс) отрицается ввиду очевидной большей древности урало-алтайского (21,2%) при невозможности распада афразийско-картвело-индоевропейско-дравидо-алтайского единства на афразийско-индоевропейско-алтайское, афразийско-картвело-индоевропейское и на какое-нибудь любое единство, имеющее уральские черты. В таком случае существование афразийско-индоевропейско-уральских изоглосс в словаре В. М. Иллича-Свитыча следовало бы признать ошибкой автора, возникшей в связи с тем, что он не принял во внимание параллельных корней, например, в дравидийском и алтайском. Подобной же ошибкой, видимо, следует считать афразийско-индоевропейско-урало-алтайские и афразийско-индоевропейско-урало-дравидийские изоглоссы, о которых речь шла выше. Помимо афразийско-индоевропейско-алтайского, афразийско-картвело-индоевропейского и протодравидийского состояний новой ступени, в ней, видимо, по-прежнему были представлены урало-алтайское и хатто-хуррито-кавказское состояния. В последнем, возможно, началась дифференциация между хатто-западным и хуррито-восточным кавказским типами. Все языки этой ступени как восходящие к языкам ранней ступени, находившимся в состоянии генетико-контактного родства, в свою очередь проявляют черты генетико-контактного родства, характерные и для последующей, т. е. современной ступени известных семей. При этом уральские языки скорее могут восходить не к уральскому, а к урало-алтайскому праязыку, алтайские — к урало-алтайскому и афразийско-индоевропейско-алтайскому, индоевропейские — к последнему и к афразийско-картвело-индоевропейскому, картвельские же, как и афразийские,— только к афразийско-картвело-индоевропейскому. «Чистый» праязык в традиционном понимании имеют дравидийские языки. Афразийский, картвельский, индоевропейский, уральский и алтайский на стадии общности могут представлять собой части более широких праязыковых единств. Действительно, восстанавливая, например, индоевропейский праязык, мы можем определенно говорить об общности, центром которой являлся балтийский ареал и которая географически находилась к северу от Черного моря [12]. Но эту общность скорее следовало бы назвать не индоевропейской, а (прото-европейской, соответствовавшей вторичной прародине индоевропейцев (в терминологии, традиционно предполагающей существование единых индоевропейцев с единой прародиной) [13].

---

[12] Ср.: W. P. S c h m i d, Baltisch und Indogermanisch, «Baltistica», XII, 2, 1976.

[13] См.: Т. В. Г а м к р е л и д з е, В. В. И в а н о в, Проблема определения первоначальной территории обитания и путей миграции носителей диалектов общеиндоевропейского языка, «Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков», М., 1972, стр. 19—23.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1978

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ФИЛИППОВ А. В.

К ПРОБЛЕМЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОННОТАЦИИ

За последние два десятилетия появилось немало работ, в которых при рассмотрении вопросов семантики слова уделяется большее или меньшее место дополнительным значениям («созначениям»), называемым общим термином коннотация [1]. Понятие коннотации остается пока еще недостаточно определенным теоретически, соответствующие языковые явления во многом не изучены.

Цель настоящей статьи — представить некоторые факты, касающиеся коннотации слов современного русского языка (рассматривается лишь лексическая коннотация), и попытаться внести некоторую ясность в нерешенные вопросы этой проблемы. Под коннотацией мы предлагаем понимать неденотативное и неграмматическое значение, входящее в состав семантики какой-либо языковой единицы или представляющее ее целиком. Такое значение, давая более непосредственное определение, следует назвать эмоционально-стилевым семантическим содержанием.

Известно, что слово является материальным комплексом, за которым закреплена определенная семантика. При анализе слова в изоляции за его оболочкой обнаруживается прежде всего интеллектуальное значение, отражающее какое-либо понятие человеческого мышления; затем — эмоциональное значение (в том числе «нулевая» эмоциональность), отражающее какое-либо чувство человеческого сознания. Оба они потенциально информативны, из них складывается информация речи. Интеллектуальная и эмоциональная части семантики слова сосуществуют в одной звуковой (линейно-просодической) оболочке. Одни и те же элементы материальной оболочки могут выражать сразу оба эти значения, какие-то элементы могут выражать только интеллектуальное или только эмоциональное значение; ср. уменьшительно-ласкательные и только ласкательные деминутивные суффиксы, интеллектуально-эмоциональные (*здрав-*, *зар'-*, *дрых-* и т. п.) и чисто интеллектуальные корневые морфемы и т. д.

К материальному элементу слова, как нам думается, относится его интонационная (просодическая) часть. Она почти не фиксируется в словарях и в письменных текстах, поэтому и создается иллюзия, что у слова нет словесной интонации, что последняя представляет собой отдельное и автономное явление, даже нелексикологическое. Между тем фактически любое слово мы произносим с интонацией, причем даже изолированное слово произносим не с какой угодно, а со строго определенной, «естественной» для этого слова интонацией, которая, следовательно, и является ему при-

---

[1] См., например: Е. М. Галкина-Федорук, Об экспрессивности и эмоциональности в языке, «Сборник статей по языкознанию. Профессору МГУ акад. В. В. Виноградову», М., 1958; О. С. Ахманова, О стилистической дифференциации слов, там же; К. А. Левковская, Теория слова, принципы ее построения и аспекты изучения лексического материала, М., 1962; сб. «Стилистические исследования. На материале современного русского языка», М., 1972; Д. Н. Шмелев, Проблемы семантического анализа лексики, М., 1973; Ю. М. Скребнев, Очерк теории стилистики, Горький, 1975.

сущей. В вербальной речи интонация в принципе не употребляется без линейной словесной части и наоборот.

Следует иметь в виду, что просодическое наложение в слове очень часто служит специализированным или преимущественным средством выражения эмоционального, а не интеллектуального значения слова. Ср.: *лучезарный* (в тексте или вне его типично произнесение с интонацией торжественности, и не оправдано произнесение с интонацией гнева, презрения и т. п.), *трепло* (с интонацией презрения и невозможно произнесение с интонацией благоговения, нежности и даже с нейтральной интонацией) и т. д. Такая словесная интонация по существу выполняет функцию материальной морфемы и должна рассматриваться как таковая. Конечно, интонация определенного вида может привязываться к большому количеству слов, но это говорит лишь о ее деривационной продуктивности (ср. продуктивные суффиксы, приставки), а не о ее автономном от слова статусе. Таким образом, интонация слова — распространенное средство воплощения лексической коннотации (в частности, эмоционального содержания). При этом важно, что русский язык идет не по линии накопления разнообразных эмоциональных просодических средств и их свободной агглютинации, а по линии выработки конкретных линейных единиц с узуальной, словарной коннотацией и строгом закреплении за ними определенных просодических эмоциональных наложений (т. е. развивается ингерентная, а не адгерентная коннотация).

Эмоциональное значение — независимая семантическая величина, хотя в подавляющем большинстве случаев она и прикреплена к денотации и «подается» вместе с ней (кроме эмоциональных междометий). Нельзя отрицать известного влияния денотации на эмоциональное значение, на его формирование и развитие. Однако эмоциональное остается отграниченным в словесной семантике, даже воспринимается особо, независимо от восприятия денотации (в эксперименте опрошенные правильно определили эмоционально-стилевое значение нескольких слов, хотя и не знали их денотаций).

Иногда речь как бы провоцирует принять эмоциональное значение за денотацию слова или ее часть или смешивать их до неразличения (ср. *Приходил твой, с позволения сказать, приятель*). Но такие случаи диффузионности значений иллюзорны, кажущиеся. В приведенном высказывании слово *приятель*, несмотря на соседство с оборотом *с позволения сказать*, не означает «плохой приятель» или «по существу недруг» и т. п., но: «друг (денотация) + выражение неприязни или презрения (коннотация)». Эмоциональное значение никогда и ни в коем случае не сливается с денотацией и при анализе всегда отделяется от нее. Ср. также: *орел* — «храбрый или выдающийся человек, напоминающий поведением или внешним видом птицу того же названия, (денотация) + разговорное возвышенно-одобрительное созначение».

Рассматривать денотацию и эмоциональное значение как диффузионное образование (даже в «трудных случаях»), на наш взгляд, не только непрактично (так как их легко отделить друг от друга и это важно в методических целях), но и неправомерно (получается смешение, неразличение логического и эмоционального содержания сознания). Такой подход мы находим нередко [2]. Ср. утверждение, что слово *не знаю* с адгерентной интонацией сомнения, недоверия, порицания будто бы означает «Я, конечно,

[2] См., например: В. Н. Клюева, Краткий словарь синонимов русского языка, М., 1961, стр. 6 (анализ слов *поэт* и *стихоплет*); С. Н. Лацис, Стилистические синонимы и их употребление в речи, «Р. яз. в шк.», 1974, 3, стр. 77. Ср. указанную статью Е. М. Галкиной-Федорук, в которой подробно излагается диффузионный подход к денотации и коннотации.

не знаю всех подробностей, обстоятельств дела, но не думаю, чтобы дело обстояло так, как вы говорите» [3].

Мы исходим из предположения, что в любом случае должна быть граница между интеллектуальным и эмоциональным в слове [4]. Это нередко влечет за собой критическое отношение к словарным толкованиям денотаций. Так, сравнивая семантику слов *поэт* и *стихоплет*, мы думаем, что они имеют одну денотацию («человек, пишущий стихи») и разную коннотацию (первое — нейтральную неэмоциональную, второе — разговорную презрительную). Известные словарные толкования этих слов сомнительны. *Поэт* — «автор поэтических произведений...» [5]; *стихоплет* — «плохой, бездарный сочинитель стихов (с оттенком пренебрежения)» [6]. Однако одно и то же лицо за одни и те же стихи могут называть и *поэтом*, и *стихоплетом*. Ср. также: *аспирант* и *аспирантишко* — также одна денотация, но разная эмоциональная насыщенность этих слов (могущая прилагаться и к личности, и к понятию «подготавливаемый ученый», и к тому и другому сразу). При ином подходе мы должны будем признать, что слово *профессор*, произнесенное с уважительной интонацией, будет иметь денотацию «хороший профессор», а произнесенное с презрением — денотацию «плохой профессор».

Денотативное и эмоциональное значения принципиально не могут быть ни в какой своей части эквивалентны и взаимозаменяемы, а укоренившаяся практика такого приравнивания неравного является алогизмом (ср.: часто толкуют: *аспирантишко* — «плохой аспирант», *томище* —«большой том», *миленький* — «очень милый», *мальчуган* — «приятный мальчик» и т. п.). Переделка коннотации в денотацию — дело поверхностное, при котором получается суррогат первоначального смысла, так как одно семантическое «измерение» незаконно (хотя и как бы незаметно, будто бы естественно) подменяется другим. Ср. неравнозначность высказываний *Купили кило мяса* и *Купили мяса на два рубля*, где перевод в другое измерение также заметно нарушает первоначальный смысл.

Стилевое значение слова — это закрепленная за всем линейно-просодическим комплексом часть семантики слова, отражающая социальное предписание его употребления, имеющееся в сознании носителей языка. В отличие от денотативного и эмоционального, стилевое значение не является потенциально информативным. Стилевое значение слов явствует из того, что они весьма избирательно употребляются в различных речевых образованиях по данной общей или частной известной стилевой модели, из того, что средний носитель языка не только правильно выбирает слово в стилевом отношении, но даже нередко может объяснить такое употребление. Стилевые значения и их система исторически появляются и широко развиваются позже денотативных и эмоциональных.

Мы не случайно приняли двуединый принцип выявления и установления коннотации слов: с одной стороны, учитывая их стилевую принадлежность, с другой — эмоциональный «заряд». Это правомерно и необходимо потому, что оба отмеченные значения практически органически объединяются в целостную семантическую единицу. Реально эмоциональное значение не воспринимается нами вне стилевого, последнее же подразумевает ту или иную эмоциональную окраску (в том числе «нулевую»). Слушающий

---

[3] См.: «Русская разговорная речь», М., 1973, стр. 130.

[4] Даже в словах типа *рад*, *гнев*, *стыдиться* нет понятийно-эмоциональной семантической смеси. В этих случаях выражается понятие о чувстве, но не гибрид «чувство — понятие».

[5] «Словарь современного русского литературного языка», X, М.— Л., 1960, стлб. 1765.

[6] Там же, XIV, М.— Л., 1963, стлб. 893.

воспринимает выраженное чувство не только само по себе, но и с точки зрения уместности его выражения вообще в данных условиях речи и конкретного способа его выражения в частности; соответственно действует и говорящий. Можно сказать, по аналогии с фразеологически связанными денотациями, что эмоциональное значение слов является связанным, прикреплено к какому-то стилю или его субстилю. Именно эта соединенность, относительная неразрывность (а также то, что они оба имеются как очевидные семантические части готовых, узуальных единиц языковой системы) позволяет считать оба значения единой коннотацией [7], реальным дополнительным содержанием слова.

Коннотативные (эмоционально-стилевые) значения слов столь же объективно закреплены за ними (воспринимаемы и воспроизводимы), как и понятийное содержание, и мы в наших рассуждениях основываемся на этих объективно существующих коннотативных значениях, а не на том, что примысливается отдельными людьми вопреки известному (объективному) и не на возможностях такого примысливания или соответствующего окказионального использования. Отмеченные объективные коннотации слов могут фиксироваться или не фиксироваться (также фиксироваться не полностью) перципиентом. При нефиксации или неполной фиксации слову будет приписана иная коннотация. Последнее, однако, чаще всего не является произвольно-субъективным и сводится к нескольким случаям. Объективно существующую коннотацию носитель языка может неверно воспринять и не усвоить из-за интерференции норм стиля, на котором он больше всего общается, из-за интерференции современных норм при чтении текста с архаическими элементами, из-за интерференции исконных норм («пуристическое» восприятие неизвестного иностранного слова), интерференции литературных норм (неприязненное восприятие просторечных слов, не содержащих в себе никаких подобных оттенков), интерференции речевозрастных норм и др. Сюда также относится сублимированное восприятие слов фольклора, отдельных слов классической литературы; может быть и идиосинкразия или особая любовь к отдельным словам. Но все это находится на положении отклонений, а не на положении языковых или речевых закономерностей, тем более таких широких закономерностей, которые разрушали бы общественно известное понимание окраски слов, делали бы такую окраску и ее такое понимание фикцией [8]. Ср. субъективное восприятие общественно известных денотаций слов, не перечеркивающее их.

Нам представляется, что не следует включать в определение коннотации другие признаки, кроме эмоциональности и стилевой окраски, т. е. не следует и понимать коннотацию в плане признания за ней других признаков — оценочности, экспрессивности, в частности. Два последних термина встречаются часто, при этом как оценочность, так и экспрессивность, приписываемые коннотации слова, трактуются различными авторами неодинаково [9].

---

[7] В современном русском языке лексические стилевые значения находятся в единстве именно с эмоциональными значениями: первые, как своего рода «предписания», регламентируют появление в речи вторых, но, вероятно, совсем не регламентируют появление в речи денотаций (в любой речи по необходимости может быть выражено любое понятие, но не любое чувство). Ср. слова — анимистические табу у ряда народов; в этих случаях «стилевое» предписание касается денотаций слов.

[8] По этому поводу мы разделяем убеждения Л. А. Булаховского (см. его «Введение в языкознание», ч. II, М., 1953, стр. 36—38).

[9] См., например: «Лексика современного русского литературного языка», М., 1968, стр. 139—140; Д. Н. Шмелев, указ. соч., стр. 246—258; В. К. Харченко, Разграничение оценочности, образности, экспрессии и эмоциональности в семантике слова, «Р. яз. в шк.», 1976, 3; А. Н. Кожин, Уменьшительно-ласкательные имена существительные, «Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та», т. 228, 15. Русский язык, 1969.

Интересно, что Л. А. Капанадзе, рассуждая об эмоционально-оценочной лексике, делает оговорку, которая по существу отъединяет оценочность от эмоциональности: «Эмоционально-оценочная лексика выражает субъективную эмоциональную оценку конкретного обозначаемого предмета, лица или явления — презрительное, ласковое и т. п. отношение к нему. В принципе такая оценка не основана ни на общественной значимости (положительной или отрицательной) данного типа обозначаемых реалий, ни на субъективном мнении говорящего о его достоинствах или недостатках» [10]. Прежде всего из этого можно понять, что говорящий всегда выражает эмоции только в отношении конкретных явлений (реалий), а не в отношении их классов, и это вызывает недоумение. Но главное в том, что трудно вообразить себе эмоциональную оценку вообще чего-либо, так как оценка — это прежде всего мнение, т. е. суждение, нечто интеллектуальное. Автор противопоставляет интеллектуально-оценочную и эмоционально-оценочную лексику, но приводимые в соответствующих группах иллюстрации на самом деле не противостоят друг другу. С нашей точки зрения, оценочность — определенная сторона денотации, а не коннотации. Оценочный оттенок — это прагматический вес любого понятия, не отделимый от него и не являющийся, вероятно, отдельной значимостью. Характерно, что слова без денотации (эмоциональные междометия типа *увы*, *ах*) не имеют такого оценочного оттенка.

Экспрессивность (если только подразумевать под этим прежде всего выразительность, а не понимать ее как синоним эмоциональности) представляется нам таким семантическим явлением, которое нерядополагаемо с эмоционально-стилевым значением ввиду ее незакрепленности за узуальными единицами и ввиду возникновения лишь в процессе речи. В частности, эта значимость не входит в структуру лексической семантики слова. Экспрессивное значение какой-либо формы всегда окказионально для нее, и есть основание думать, что выразительность обязательно сопряжена с какой-либо необычностью или новизной формы, с ее определенным «удачным» отклонением от какой-либо нормы — деформация слова, введение нового или редкого слова, деформация привычной модели высказывания, непривычное или малопривычное размещение или сочетание частей высказывания или длинного текста, особое выражение словом денотации (например, его двусмысленное употребление) и др. Отсюда альтернатива: или считать коннотацией слова его постоянное «дополнительное содержание», или всякое дополнительное содержание, в том числе окказиональные речевые оттенки. Признание последнего вносит неудобство из-за нерядополагаемости явлений. Кроме того, эмоционально-стилевое и экспрессивное значения далеки друг от друга и по своей направленности, «цели» присутствия в речи: если эмоциональное значение дает информацию о чувствах говорящего, а стилевая окраска определяет принадлежность продукта речи к речевому типу, то экспрессивное значение той или иной части речевого образования должно способствовать лучшему донесению логической и эмоциональной информации до перципиента, выделять, подчеркивать их в целом или в какой-то части.

Автономность коннотации слова требует ее отдельного изучения, в отвлечении, по возможности, от денотации, но с возможным привлечением терминов, представлений, выработанных при исследовании денотаций. Проведя в семантике слова условную черту между денотативным и коннотативным значением, мы прежде всего можем задать вопрос: если слово полисемантично (в обычном смысле), как и насколько касается этот полисемантизм коннотации, имеется ли раздельная денотативная и коннотативная

[10] См.: «Лексика современного русского литературного языка», стр. 139.

полисемия в рамках семантики одного слова и если они имеются, то каково соотношение между ними?

Анализ показывает, что в этом отношении часто нет параллелизма и симметричности и что упомянутый раздельный полисемантизм реален и хорошо прослеживается. В семантической микроструктуре слова денотация и коннотация часто живут каждая своей особой жизнью, и их развитие идет не в одном общем направлении и не обязательно совпадает в этапах.

Разберем семантическую структуру нескольких слов: под а) приводится денотация, под б) коннотация, под арабскими цифрами — разные денотативно-коннотативные варианты слов: *Братец* — 1. «а) особа мужского пола в ее отношении к детям тех же родителей, б) разговорное ласкательное»; 2.«а) особа мужского пола в ее отношении к детям тех же родителей, б) разговорное презрительное» (напр.: *Ее братец таков, что лучше держаться подальше*); 3. а) «ровесник (или приблизительно ровесник) мужского пола», б) разговорное ласкательное» (употребляется узко, в виде обращения; например: *Помоги, братец*); 4. «а) ровесник мужского пола, б) фамильярно-разговорное презрительное» (*Ну, братец! Как-то ты теперь будешь действовать!*). *Потолок* — 1. «а) верхнее внутреннее покрытие помещения, б) нейтральное неэмоциональное»; 2. «а) предельная высота полета летательного аппарата, б) нейтральное неэмоциональное»; 3. «а) предельное, но не столь значительное достижение для кого-нибудь (*Это для него потолок*), б)разговорное презрительное». *Дружок* — 1. «а) друг, б) общенародно-разговорное ласкательное»; 2. а) друг, б) молодежно-разговорное сочувственное» (*У меня тут один дружок живет*); 3. «а) друг, б) немолодежно-разговорное неприязненное» (*У сына завелись какие-то дружки*).

Из примеров видно, что коннотация слова может быть разветвленнее, чем денотация, что лексико-семантические варианты (с общим отдельным денотативным значением) могут «включать в себя» разные коннотации; назовем последние в этих условиях коннотативными субвариантами, они имеются в семантической структуре слова *братец* и *дружок*. В лексико-семантическом варианте (ЛСВ) к одной денотации может быть одна коннотация, которые не фигурируют в других ЛСВ (например, последний ЛСВ структуры слова *потолок*); в этих условиях назовем коннотацию коннотативной частью ЛСВ. Естественно, при разных денотациях слова нередко наблюдается и одна, общая для них коннотация (см. в семантической структуре слова *братец* пункты 1 и 3, слова *потолок* — пункты 1 и 2).

Вероятно, бывает и такое положение, когда в ЛСВ слова имеется коннотативная часть и не имеется денотативной. Ср.: *Забирай свою несчастную книгу! Нужен он мне со своей поганой квартирой!* — реально здесь не прослеживается ничего понятийного в выделенных прилагательных, они несут чисто эмоциональную информационную нагрузку.

Типы «переноса» коннотаций, перехода от одной коннотации ЛСВ к другой (и, следовательно, образование нового ЛСВ) совершенно не совпадают с типами «переноса» денотаций. Во-первых, общие закономерности — амелиорация и пейорация не соотносятся с метафорой и метонимией в развитии понятийных значений. Во-вторых, частные преобразования коннотаций слов (по моделям или единичные) могут не сопровождаться изменением денотации. Ср.: от книжного торжественного к разговорному шутливому: *шествовать, вития*; от книжно-иностранного неэмоционального к разговорному юмористическому: *компания, процедура, пассия*; от разговорного ласкательного к разговорному насмешливому: *сынок, братец* (что произошло во всех случаях с сохранением прежнего понятийного смысла этих слов). В других случаях изменения параллельны. Ср.: *собака, осел, щенок* (в денотативном плане — от обозначения животного к обозначению человека с недостатком, в коннотативном плане — от нейтрального к вуль-

гарно-разговорному гневно-презрительному). Ср. также семантические «двуизменения» в словах типа *голубка*, *щебетунья*, *соловей*, *сокол*. Однако даже при параллельных изменениях качество их различно. Установление подобных семантикообразовательных взаимосвязей, в частности, их причин — сложная задача лексикологии и семантики, если принимать во внимание многообразие типов изменений.

Изложенное в данной работе во многом имеет предположительно-дискуссионный характер. В заключение хочется отметить, что планомерное накапливание теоретических и фактических данных о лексической коннотации может (и должно) привести к выделению особого раздела лексикологии, посвященного специально ей, к созданию словарей и справочников по лексической коннотации, к особому описанию (с существенными поправками на лексическую коннотацию), словообразовательных процессов, морфемных структур, синтаксических моделей и построений, что было бы полезно для лингвистической теории в целом, для практики обучения языку, практики перевода, для пропаганды культуры речи и др.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1978

КОМЛЕВ Н. Г.

О КРИТЕРИЯХ ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

В повседневном и научном обиходе довольно часто используется понятие правильности и соответствующие ему выражения «правильный» и «правильно». Известно, что этот атрибут приложим как к неязыковым объектам и явлениям, так и к речевым феноменам (высказываниям). В большинстве случаев эта оценка носит категорический характер, т. е. решает вопрос о том, принять какое-либо речевое произведение или отвергнуть его, что в свою очередь может повлечь за собой и соответствующее отношение к продуценту или репродуценту речи. Поэтому было бы чрезвычайно интересно описать и систематизировать семантические параметры высказывания, на основании которых строятся критерии оценок его корректности. В настоящей статье мы попытаемся представить некоторые показатели такой правильности. Их число, естественно, достаточно велико. Однако наиболее важные основания правильности поддаются сведéнию их всего лишь к пяти-шести.

Проблема критериев правильности высказывания приобрела ныне особую остроту благодаря тому, что к языковедческим знаниям и фактам все чаще обращаются специалисты нелингвистических дисциплин и лингвистика стремится ко все более жесткому формулированию того, что для самого филолога иногда представляется очевидным.

Есть и более глубокие причины указанного интереса. Новые социально-экономические отношения постепенно ведут к новым коммуникативным потребностям и к изменению речевого поведения. Поскольку в языковом сообществе параллельно действуют речевые нормы различной обусловленности (социальной, региональной или функциональной), языковые средства постоянно подвергаются оценке и переоценке, что составляет известный компонент совокупного общественного сознания.

История вопроса о правильности высказываний уходит своими корнями в незапамятные времена. Собственно, и само языкознание как наука во многом обязано своим возникновением стремлению людей к тому, чтобы канонизировать и увековечить произносительные варианты культовых, литургических текстов как «единственно правильные». В древней Индии, в частности в ведической традиции, полагали, что речь должна быть правильной не только в отношении смысла, но и верной в отношении звуковой формы. В античных культурах Европы идеальной правильностью наделялись исключительно греческий и латинский языки. Все другие языки квалифицировались как варварские и не несущие высоких ценностей. Эпоха Пор-Рояля принесла с собой новый эталон правильности в виде всеобщей логической грамматики, покоящейся на принципе, что если логика для всех языков одна, то и грамматика как мера непогрешимости должна быть одна.

Значительное оживление внимания к вопросам языковой правильности вновь наступило в прошлом веке на фоне интенсивных сравнительно-исторических и младограмматических исследований. Правда, в соответствии с новыми принципами, исследователь должен был воздерживаться от какого бы то ни было высказывания оценок и попыток устанавливать нор-

мы, так как считалось, что всякие внутриязыковые изменения являются чем-то нормальным и неизбежным, а развитие языка детерминируется безусловными законами, которых не может изменить говорящий или пишущий индивидуум.

С появлением социологического подхода к языку в первой трети нашего века лингвисты начали рассматривать язык не как живой организм, а как средство взаимопонимания между людьми. Но и теперь, как и ранее, одни отстаивали жесткую языковую нормированность, другие считали это занятие не достойным лингвиста. Вот мнение Ч. Хоккета: «Значительную часть времени, какую неспециалист посвящает языку, занимает проблема „правильности". Правильнее ли сказать по-английски *it is I* или же *it's me*, *to whom* или *who to*? Что является причиной того, что *ain't* неправильно? Возможно, для читателей будет неожиданностью, если мы скажем, что эти проблемы языковеда собственно не интересуют» [1].

Если эти тенденции не станут выступать во взаимодействии, они не будут способствовать ни прогрессу языка, ни эффективности речевого общения. Здесь напрашивается параллель с давним спором о приоритете в языкознании одного из двух методов — индуктивного либо дедуктивного. Полемика, которая на эту тему велась длительно и бурно, также сводилась в конечном счете к требованию: описывать ли язык таким, каков он е с т ь, или таким, каким он д о л ж е н быть.

Проблематика правильности всегда занимала видное место и в логике. В многочисленных публикациях на эту тему преобладает следующий взгляд: «Правильность и истинность — непременные качества рассуждений, первое как соответствие его законам и правилам формальной логики, второе — как соответствие его объективной действительности» [2].

По современным лингвистическим воззрениям, речевое высказывание в целях адекватного описания должно подвергнуться анализу минимально на трех уровнях: знаковом, понятийном и денотативном. Наличие трех срезов в речевых последовательностях или, точнее, в речевом механизме общающихся индивидуумов, сейчас не подлежит сомнению и может быть продемонстрировано, в частности, на случаях патологических нарушений этого механизма [3]. В соответствии с объективно существующими ярусами целесообразно оценивать и правильность высказывания в первую очередь по данным трем уровням.

Неправильность неязыковых действий понимается как невыполнение плана или намерений, как ошибка или как поступок, не входивший первоначально в намерения деятеля. Семантическая же правильность имеет более широкий спектр и не обязательно должна измеряться только по воздействию говорения на адресата, хотя Платон понимал правильность речи как частный случай правильности действия [4].

Быть правильным в лингвистическом смысле означает быть идентичным или по крайней мере изоморфным некоторому образцу. Так, фраза (1) *Я сижу за столом*, (2) *Я сижу за столом* повторена п р а в и л ь н о.

В представлениях людей, пользующихся языком, существуют некоторые образцы-трафареты, которым должно соответствовать высказывание для того, чтобы оно было воспринято как правильное первоначально на

---

[1] Ch. F. H o c k e t t, A course in modern linguistics, New York, 1958, стр. 5.

[2] Н. И. К о н д а к о в, Логический словарь, М., 1971, стр. 410. О более комплексной языковой обусловленности логической правильности см.: В. З. П а н ф и л о в, Грамматика и логика, М.— Л., 1963.

[3] T. M i l e w s k i, Językoznawstwo, Warszawa, 1965, стр. 54. См. также: M. M a r u s z e w s k i, Mowa a mózg, Warszawa, 1970.

[4] Т. А. А м и р о в а, Б. А. О л ь х о в и к о в, Ю. В. Р о ж д е с т в е н с к и й, Очерки по истории лингвистики, М., 1975.

знаковом уровне. При предъявлении адресату оно будет одобрено как имеющее содержание даже тогда, когда на основании опыта или так называемой логики вещей его следовало бы признать бессмысленным. Возьмем такие фразы: (3) *Иван играет в футбол*, (4) *Футбол играет в Ивана*, (5) *Теория язык синий*.

Фразы (4) и (5) расцениваются читающими как не имеющие смысла или построенные неправильно. Но что делает эти предложения бессмысленными? Сразу ответить на этот вопрос, пожалуй, не сможет никто. Несмотря на это, как отмечает Т. Дрейндж, данному вопросу не посвящено специально ни одной солидной работы [5].

Фразу (3) мы квалифицируем как осмысленную, так как она отвечает требованиям некоего набора правил, называемого грамматикой, в то время как фразы (4) и (5), подобно ходячим примерам из генеративных грамматик типа «бесцветных зеленых идей», одинаково бессмысленны, хотя человек, для которого русский язык родной, обнаружит, что первое из них (4) «грамматично» (и, следовательно, правильно на знаковом уровне), другое (5) — нет. Говорящий владеет известным умением составлять слова-знаки в определенным образом построенные цепочки, а слушающий — опознавать их как правильные, как принадлежащие данному языку, независимо от того, могут ли они что-либо означать реальное или нет. Интуитивный поиск грамматики производится на основе крупных массивов языкового материала.

Если бы не было воображаемой модели-образца грамматических (и неграмматических) предложений, то нам не удалось бы понять их. Видимо, правомерно будет утверждать, что мы осознаем синтаксическую структуру предложения, прежде чем мы осознали значение изолированных слов (морфем).

Вариативность и стабильность норм, отношение между законом и свободой на разных уровнях различны. На знаковом уровне свобода существенно бóльшая, чем на других уровнях [6]. Особенно велика она в порядке слов и фразовом ударении (правда, с разными пределами в разных речевых жанрах) [7]. Обширен регистр вариантов в сфере словосочетания [8]. Даже в написании многих слов проявляется подчас поразительное разнообразие, что приходится регулировать путем введения стандартных норм [9]. Конечно, наивный человек может удивиться, узнав, что большинство ошибок допускают там, где грамматика создала больше всего правил.

Но здесь необходимо сделать строгое разграничение двух видов грамматик. Качественное разделение (4) и (5) мы проводим по чисто внешним критериям, на базе формальной грамматики, как ее по-

---

[5] Th. Drange, Type crossings. Sentential meaninglessness in the border area of linguistics and philosophy, The Hague — Paris, 1966, стр. 5.

[6] Ср.: К. С. Горбачевич, Зоны вариативности слов и нормы русского литературного языка, ВЯ, 1974, 5; Ср. также: Л. К. Граудина, В. А. Ицкович, Л. П. Катлинская, Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов, под ред. С. Г. Бархударова, И. Ф. Протченко и Л. И. Скворцова, М., 1976.

[7] Ср.: Е. Р. Лиепа, Семантическая обусловленность порядка слов и пределы его вариативности в стихотворной речи. АКД, М., 1977. Кроме того: J. Erben, Gesetz und Freiheit in der deutschen Hochsprache der Gegenwart, «Der Deutschunterricht», Stuttgart, 1960, 5.

[8] О. С. Ахманова, Ю. А. Бельчиков, В. В. Веселитский, К вопросу о «правильности» речи, ВЯ, 1960, 2.

[9] Так, *гладко вачесанный* пишется отдельно, *гладкокрашенный* вместе. Еще более разнообразны композиции с *густо*: *густонаселенный*, *густо вкрапленный*, *густо-аметистовый* (см.: Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая, Сложные слова, М., 1974).

нимают теперь в математической логике[10]. Но как отличить правильные предложения типа (3) от неправильных типа (4), названная грамматика не знает. Анализ элементов в рамках знакового среза искомых результатов не даст. Чтобы достичь этого, нам придется спуститься на один уровень ниже. Фразу (6) *Студент завтра ходил на лекцию* мы характеризуем как неправильную на основании того, что мы сопоставили содержательное качество слова *завтра* с формой следующего за ним глагола в прошедшем времени и вскрыли при этом семантическую несовместимость. Здесь мы вступили в область компетенции собственно грамматики, или семантической грамматики, которая строится на основе взаимодействия лексических понятий и экспонирующих их слов-знаков. Ясно, что лексические понятия изменяются и несколько варьируют как в историческом плане, так и в синхронном, но грамматика рассматривает их так, как если бы они были статичными.

Достаточно ли этих данных, чтобы квалифицировать фразу (1) как правильную во всех отношениях? Нет, такой набор свойств, конституируемых на двух первых уровнях, нас еще не удовлетворит. Представим себе, что это предложение произносит человек, шагающий по улице, и мы убедимся, что оно не будет корректным. Поэтому, кстати, не правы позитивисты, утверждающие, что проверка высказываний поставляет нам только данные о языке, но не о реальной действительности. Сразу же, как нам станет известно, что предложение (1) сказано человеком, сидящим за столом, а (2) несидящим лицом, мы будем полагать, что это не одна и та же фраза-дублет, а два сообщения с принципиально иным содержанием. Услышав фразу (2) от идущего человека, мы сделаем вывод, что данный индивидуум не владеет русским языком, так как не обладает умением соотносить грамматически правильные ряды с реальной действительностью (или с денотатами). В этом месте грамматическая правильность должна быть дополнена денотативной правильностью[11].

Грамматика, которую мы назвали семантической, в силу того, что она не затрагивает внеязыковой действительности, не способна иметь дело с истинностью и ложностью, хотя, вопреки мнению некоторых авторов[12], она вполне может делать высказывания осмысленными. Ряд исследователей полагает, что ложь относится к прагматической области, в то время как ошибочность, которую часто путают с ложью, принадлежит уровню семантики[13].

[10] «Грамматику мы определяем как набор правил, позволяющий конструировать правильные предложения из символов словаря, или как набор правил, позволяющих проверять правильность предложений, состоящих из установленных символов словаря... Оба эти вида действий могут выполняться *с помощью соответствующей машины*, реализующей грамматические правила... Поэтому иногда в таком случае говорят кратко, что грамматика это машина, реализующая соответствующие правила» (Z. Pawlak, Gramatyka i matematyka, Warszawa, 1965, стр. 44).

[11] N. G. Komlev, Components of the content structure of the word, The Hague — Paris, 1976, стр. 122. Ср. также: Z. Hlavsa, *Denotace objektu a jeji prostředky* v současné češtině, Praha, 1975.

[12] Например, Э. Гродзиньского: «Любое выражение, лишенное связей с действительностью, должно быть бессмысленным» (E. Grodziński, Znaczenie słowa w języku naturalnym, Warszawa, 1964, стр. 297).

[13] Г. Клаус, Сила слова, М., 1967, стр. 104. *Животное, не располагая способностями генерировать сочетания знаков (конкатенация), а тем более связывать их с денотатами, не только не может лгать, но и не в состоянии ошибаться.* Эту мысль в несколько гротескной форме выразил польский популяризатор науки М. Иловецкий: «Ложь (обман) есть явление, свойственное только человеческому роду и наверняка только ему нужное. Ложь делает животное человеком» (M. Iłowiecki, «Polityka», 30. III 1968).

Есть мнение, что все теоретические построения можно разделить на рационалистические и эмпирические. В пределах рационалистических теорий сами тексты, предложения, высказывания могут гарантировать истинность этих теорий. Но для эмпиристов окончательным критерием *являются проверяемые высказывания* верифицируемые на основе их сопоставления с действительностью, что понимается как практика.

Интерпретация высказываний как формально истинных без связи с действительностью, однако, очень затруднительна из-за того, что не четко определено само понимание действительности. В самом деле, разве мы не имеем дело с действительностью, когда оперируем понятиями? Сколь бы нереалистичными ни были понятия и как бы ни *искажали некоторые* понятия окружающий мир, сами они существуют и, следовательно, они сами суть реальность, хотя и реальность второго рода.

Проблема истинности и ложности имеет свои собственные аспекты, обсуждение которых увело бы нас далеко от намеченной темы. Остается, однако, очевидным, что для установления как истинности, так и правильности высказывания необходимо раскрытие денотативных связей. Понятие денотата как реального или воображаемого объекта, который имеет или может иметь обозначение в языке, поддается фиксации и включению в семантический аппарат лингвистического исследования. Более того, это сейчас становится неизбежностью.

Корреляция лексических понятий с денотатами (соответственно знакового и понятийного уровня с денотативным) манифестирует так называемый смысл, а также может служить основанием деления фраз на истинные и ложные. В сцеплениях содержательных элементов слова могут выступать сдвиги, отклонения и просто неверные когеренции [14]. Они способны порождать так называемые ложные понятия, о которых писал Г. Вайнрих в книге «Лингвистика лжи», где он показал, что слова-понятия могут быть ложными, даже если они взяты изолированно, поскольку за ними стоит невыраженный контекст-дефиниция. Свои постулаты он широко *иллюстрирует примерами из лексики* гитлеровской эпохи [15].

Не надо забывать об условности таких оценок слов. Ведь сами знаки никаких суждений не выражают и делать это не в состоянии. Это могут делать только люди, *пользующиеся языком*.

Ц. Тодоров в статье «Семантические аномалии» также оспаривает исключительную зависимость семантической правильности фраз от их референционной (денотативной) реализации [16]. Он отвергает и возможность использовать понятие в е р о я т н о с т и для определения корректности речевых конструкций. По обиходному мнению, утверждает Ц. Тодоров, все семантические аномалии считаются референционными аномалиями. Обычно считают, что предложение кажется странным, если событие, которое оно описывает, странно, поскольку в этом случае мы не можем сослаться на опыт прошлого. Автор статьи приводит три генерированных машиной фразы на французском языке:

(7) *Les maris renversent le chien noir*,
(8) *La lampe fortifie les familles violentes*,
(9) *Le ciments lents et les livres commencent la neige*.

---

[14] См. о типах и возможностях таких когеренций: А. О д ж а д ж у н е, Семантические корреляции речевых моделей и стереотипов поведения. АКД, М., 1975.

[15] H. W e i n r i c h, Linguistik der Lüge, Heidelberg, 1966, стр. 78. Ср. также суждение Клауса: «Определенные слова прекрасно могут служить интересам определенных классов» (Г. К л а у с, указ. соч., стр. 31).

[16] T s. T o d o r o v, Die semantischen Anomalien, в кн.: «Literaturwissenschaft und Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven», I, Frankfurt-am-Main, 1971, стр. 373.

Вероятность событий, описанных в (7), близка к нулю, а в (8) и (9) равна нулю. Это деление на «вероятность» отражает в действительности число соответствующих комбинаторных аномалий: (7) не содержит ни одной; (8) содержит единственную (субъект нарушает селекционные ограничения глагола); (9) содержит три (*lent* употребляется только при именах, которые имеют сему «движение»; *commencer* требует в качестве субъекта абстрактное понятие или одушевленное существо, а в качестве прямого объекта процесс или действие). Это объяснение через посредство структуры предложения представляется автору более продуктивным, чем через посредство вероятности. Вероятность реализации какого-либо события неизмерима, а если бы она была таковой, она не представляла бы интереса для лингвистики. Вероятность некоторого предложения бывает настолько минимальной, что она может быть приравнена к нулю. Но и эти ни разу не слышанные предложения, независимо от того, содержат они аномалию или нет, могут быть произнесены.

Семантическая теория, по Тодорову, не может пролить свет на референтные аномалии, так как она должна была бы классифицировать все наши знания о мире, знания, которые меняются каждое мгновение. Развивая свой тезис, Тодоров на примере выражения *синее солнце* пытается доказать невозможность на семантическом уровне вскрыть некорректность этого сочетания. Если семантическая теория будет квалифицировать выражение *le soleil bleu* как аномальное, то она должна будет приписать слову *soleil* семантическую категорию *jaune* (или *rouge*). «Но в этом случае перечисление свойств солнца уже нельзя более остановить, ибо они в сущности характеризуются бесконечным числом: здесь пришлось бы также допустить категории „круглый", „горячий", „блестящий" и т. д. Тем не менее мы не были бы уверены, что в этом описании мы не допустили аномалию»[17].

В приведенном рассуждении нет строгой дифференциации различных аспектов рассмотрения описываемого явления. Как было показано ранее, сопряжение семантических элементов может быть а) секвентным — по линии связи знаков друг с другом (и соответственно лексических понятий друг с другом и денотатов друг с другом) и б) синсемантическим — по линии: знак — лексическое понятие — денотат. Одна линия — последовательное соединение единиц, другая — параллельное, одна как бы горизонтальная, другая — вертикальная.

В синсемантическом ракурсе возможна довольно существенная амплитуда м е ж п е р с о н а л ь н ы х расхождений, которые для разных лексических единиц еще не обследованы и эксплицитно не описаны. Высказывание (10) *На Марсе существует жизнь* корректно на всех описанных пока уровнях (хотя, впрочем, истинность его все еще проблематична). Фактически же правильность зависит не в последнюю очередь от его межперсональной детерминированности: представления отправителя (А) должны быть адекватными представлениям получателя (В)[18].

---

[17] Там же, стр. 374. Добавим, что и свойство, которое мы приписем объекту, тоже не всегда будет однозначным. Р. В. Алимпиева, например, экспериментально установила, что даже такое семантически четкое слово, как *красный*, у разных индивидуумов способно иметь семантические ассоциации по крайней мере с 36 значениями — революционный, яркий, праздничный, торжественный, горячий, радостный, сильный, большой, красивый, раздражающий, прохладный и даже тусклый (последнее встречается в поэзии у Блока и Брюсова) (Р. В. А л и м п и е в а, Реализация компонентов семантической структуры слова *красный* в системе образно-поэтической речи, в кн.: «Вопросы семантики, Межвузовский сборник», 1, Л., 1974. Ср.: также: В. И. Г о в е р д о в с к и й, Опыт функционально-типологического описания коннотации. АКД, М., 1977).

[18] О допустимых отклонениях этой адекватности см: Н. Г. К о м л е в, Семантическое правило «равнения вниз» и коэффициент эффективности сообщения, сб. «Мате-

И это имеет силу для любого семантического элемента. *А* и *В* должны располагать одинаковыми понятиями слов *Марс*, *существовать* и *жизнь*, а также *на* (например, *на Марсе* может означать в атмосфере планеты, на ее поверхности, под поверхностным слоем и т. п.). Игнорирование интерперсонального аспекта практически делает рассмотрение проблемы правильности конкретного высказывания бесплодным. Вне этой перспективы не имеет смысла говорить и о границах точности термина или высказывания [19].

Денотативный уровень завершает комплектацию главных семантических компонентов слова и фразы. Однако известно, что есть типы высказываний, которые не проецируются прямо на реальную действительность. Так, в беллетристическом тексте, например, предметы обозначения нередко вымышленны и связь с действительностью там имеет еще более сложное психологическое опосредование. Тем не менее реципиент воспроизводит денотаты, изоморфные словам-понятиям отправителя. Причем он это делает на основании контекста, понимаемого как фразовое окружение декодируемого высказывания. Здесь мы подошли к межфразовому критерию. Как мы знаем из повседневного опыта, встретившееся позже слово нередко может пролить новый свет на то, что до этого мы, казалось бы, уже усвоили, и тем самым целиком изменить нашу прежнюю интерпретацию. Кроме того, возникающее в результате по необходимости избыточной грамматической и семантической информации контекстное окружение позволяет с довольно высокой вероятностью восстановить полезную информацию в случае ее искажения, в том числе и умышленного.

Но и это еще недостаточно. Имеют место случаи, когда говорящий производит высказывание не с целью сообщить что-либо о том, что семантически непосредственно содержится в его сообщении, а с некоторыми иными намерениями. На такую функцию языковых сообщений указывал в свое время К. Бюлер, называя ее симптоматической. Так, кто-либо, поглядев в окно, скажет: (11) *На улице пошел дождь.*

Такое высказывание в определенных ситуациях будет составлять сообщение не о характере погоды, а о настроении, об эмоциональном состоянии говорящего (= *На улице пошел дождь. Еще этого не хватало!*). Пренебречь этим моментом — значит интерпретировать высказывание как правильное (или неправильное) на ошибочных предпосылках. Словом, необходимо брать в расчет еще один критерий — интенционный [20]. Если плачущий ребенок просит пить, это может иногда просто означать, что у него, например, болит живот или он не хочет, чтобы его укладывали спать и т. п.

Под эту же рубрику следует подвести и всю большую область поэтической метафорики и аллегорий, т. е. все, что Гёте называл литературным контрапунктом «Поэзия и правда», исходя из презумпции, что поэзия

риалы семинара „Семиотика средств массовой коммуникации"», М., 1973; его же, Естественные границы точности научного термина, «Тезисы докладов и сообщений. Научный симпозиум по теме „Место терминологии в системе современных наук"», М., 1970.

[19] В интерперсональном рассмотрении приходится принимать в расчет и характер знакового экспонирования речи — говорение, письмо, чтение (передача) чужого текста и т. д. У пишущего и читающего, как правило, есть время, у говорящего и слушающего его нет. А поскольку здесь важен момент, то обычно допускается и более широкая терпимость к семантическим отклонениям и некорректностям (тем более, если они компенсируются в некоторой мере паралингвистическими средствами).

[20] Мы предпочитаем его термину «прагматический». См. критику последнего: G. F. Meier, Wirksamkeit der Sprache, «Pragmatik, I. Interdisziplinäre Beiträge zur Erforschung der sprachlichen Kommunikation», hrsg. von S. J. Schmidt, München, 1974, стр. 63—83.

это не правда или по крайней мере, что поэзия и правда это не одно и то же. Именно язык художественной литературы (а по мнению А. М. Пешковского, вообще официальный язык) более, чем просторечный повседневный язык, нуждается в толковании [21].

Поэтический язык — это область, которая особенно богата аномалиями. Между тем мы то и дело слышим такие советы: «Если вы хотите что-либо почитать на хорошем языке, то читайте крупных писателей». Но вместо того, чтобы писать на стандартизированном языке, который легче понять, поэты постоянно создают аномалии, они часто пишут вразрез с тем, что называется в обиходе правильным словоупотреблением. Объясняя обоснованность таких советов, Тодоров отмечает, что «аномалии Виктора Гюго и Бодлера сейчас воспринимаются как пример корректного и даже элегантного стиля» [22].

Следует выяснить вопрос о том, п о ч е м у поэты нарушают правила языка, и если имеет место нарушение, то какой запрет при этом не соблюдается. Когда появляется потребность преступить законы языка, то это значит, что язык или некоторые типы языковых операций выступают как нечто запретное. В поведении поэта видна интуитивная реакция на далеко идущую неспособность выразить с помощью ригористически нормированного языка собственные чувства и желания. Может показаться, что отступления от принятого, статистически усредненного, вероятностно-прогнозируемого языкового обычая есть действие, идентичное некоему насилию над языком. Но в действительности дело обстоит не так. То, что мы именуем смелыми поэтическими фигурами, обыкновенно выводится из недр самого языкового инвентаря, из его семантических потенций. Как отмечал В. В. Виноградов, «слово присутствует в сознании со всеми своими значениями, со скрытыми и возможными, готовыми по первому поводу всплыть на поверхность» [23]. Однако действие потенциальных пружин прогресса, заложенных в языковые механизмы, способен реализовать далеко не каждый, как не всякому музыканту одинаково раскрывает свои возможности одна и та же скрипка.

Было бы все же опрометчиво заявлять: «все, что не запрещено, то разрешено», или тем более: «все, что говорится,— правильно» [24] и что «errare humanum est» [25]. Предоставленная говорящему индивидууму свобода имеет собственную специфику в каждом национальном языке, специфику, которая обусловливает только ему свойственную систему фигур, тропов и семантических модификаций словоупотребления. Если немецкий автор, говоря о времени, употребит слово «зуб» (Zahn der Zeit), то его немецкий читатель увидит в этом не рискованную метафору, а довольно обыденную возможность оперирования словами. Названия цветов, деревьев, животных, многих предметов и действий в языке каждой народности имеют семантическое своеобразие, которое, правда, скорее похоже на стихию, поскольку его так трудно подвергнуть систематизации. Но эта стихия на каждом этапе языкового развития в принципе всегда поддается обнаружению носителями языка, иначе межперсональная

[21] А. М. П е ш к о в с к и й, Объективная и нормативная точки зрения на язык, сб. «Русский язык в школе», I, М., 1923.

[22] T s. T o d o r o v, указ. соч., стр. 382. Польский филолог М. Карась ставит под сомнение влияние писателя на формирование литературного языка (M. K a r a ś, O rzekomej roli pisarzy w kształtowaniu języka literackiego na prykładzie języka polskiego, JP, LXI, 1, 1976).

[23] В. В. В и н о г р а д о в, Русский язык, М., 1972, стр. 17.

[24] Ср.: A. P o p e, Essay on man, I, 289.

[25] Это латинское изречение могло относиться и к тогдашней речевой практике. Все системы античного грамматического искусства отличаются тем, что они не содержат запрещающих правил (а содержат только рекомендуемые правила).

коммуникация даже в пределах одного языкового коллектива была бы невозможна.

Норма и свобода в языке не противостоят друг другу как полярные противоположности, а сосуществуют, совместно составляя языковую действительность [26]. Следовательно, закон и свобода, норма и исключение выступают как относительные понятия. То, что сегодня представляет исключение, завтра может стать нормой. До тех пор, пока параллельно существуют две формы, в большинстве случаев не бывает, чтобы одна характеризовалась как абсолютно правильная, а другая как абсолютно неправильная.

Пока мы рассмотрели подходы к корректности речевого произведения на знаковом, понятийном и денотативном уровнях, а также в межфразовом и денотативном аспектах. Проблема правильности обусловливается еще и другими мотивами. Как известно, языки складываются из диалектов, причем какие-то диалекты по разным причинам пользуются бóльшим престижем и одному из них удается выделиться настолько, что он завоевывает себе прерогативу быть так называемым литературным, т. е. наиболее «правильным» по сравнению с другими. Высказывания, в которых обнаруживаются элементы иных говоров, в повседневной практике оценок зачастую низводятся до неправильных. Пережитки этого явления распространены и в русской языковой среде. Умно и тонко писал об этом более полувека назад русский языковед В. И. Чернышев [27].

На таких же неравных правах функционируют коллоквиализмы и окказионализмы, против которых так ревностно борются пуристы. В своей борьбе за квазиправильность они исходят из ложной посылки, что разговорные формы, особенно диалектного происхождения, неправильны и одиозны. Однако эти отступления от норм, называемых литературными, часто не являются отклонениями от глубоких коммуникативных потенций языка [28]. Неудивительно, что газета и книга, эти «верные носители литературного языка», как их называет Р. А. Будагов, вопреки упомянутым усилиям, «сами впитывают в себя арготическую и даже диалектную речь, поддерживая тем самым дифференциальные лингвистические тенденции» [29].

Блистательный пример преодоления строгости запретов являет А. С. Пушкин. В письме (ноябрь 1830 г.) к историку и драматургу Погодину по поводу написанной последним исторической драмы «Марфа-посадница» поэт писал: «Одна беда: слог и язык. Вы неправильны до бесконечности. И с языком поступаете, как Иоанн с Новым городом. Ошибок грамматических, противных духу его усечений, сокращений — тьма. Но знаете ли? и эта беда не беда. Языку нашему надобно воли дать более — (разумеется, сообразно с духом его). И мне ваша свобода более по сердцу, чем чопорная наша правильность» [30].

Общеизвестны слова из третьей главы «Евгения Онегина»:

«Как уст румяных без улыбки
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю» (строфа XXVIII).

---

[26] Ср.: М. М. Маковский., Соотношение необходимости и свободы в лексико-семантических преобразованиях, ВЯ, 1977, 3.

[27] В. И. Чернышев, Избр. труды, II, М., 1970, стр. 531 и сл.

[28] В. В. Лопатин, *Рождение слова*, М., 1973, стр. 62 и сл.

[29] Р. А. Будагов, Человек и его язык, М., 1974, стр. 53. Автор приводит мнение Б. Шоу о том, что «средний англичанин *не любит говорить правильно* по-английски: на каждую 1000 человек в Лондоне 999 говорят плохо» (там же, стр. 53).

[30] А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в десяти томах, X, М.— Л., 1949, стр. 321.

По свидетельству В. В. Виноградова, Пушкин, тщательно отбирая лексику из областных говоров, русского просторечья, профессиональных жаргонов, разработал некое представление «хорошего общества». Такое общество, по мысли великого поэта, «не пугается „живой странности" простонародного слога, восходящего главным образом к крестьянскому языку, ни нагой простоты выражения, свободного от всякого „щегольства", от мещанской чопорности и провинциального жеманства. Пушкин стремится к созданию демократического национально-литературного языка на основе синтеза книжной культуры литературного слова с живой русской речью, с формами народно-поэтического творчества»[31].

Правильность высказывания, и в частности грамматическую правильность, Ю. В. Рождественский предлагает толковать в широком контексте культуры. По его мнению, грамматическую правильность нельзя вывести из эмпирии текстов или из их системы, описываемой лингвистикой. «Естественно думать, что эта более широкая область относится, прежде всего, к культуре как к целому»[32].

На современном этапе развития социалистической культуры возникает необходимость оптимирования языковой коммуникации, которая учитывала бы как потребности взаимодействия профессиональных, производственных и социальных групп, так и личных интересов отдельного индивидуума. В молодых социалистических государствах, где в связи со становлением новых взаимоотношений между людьми вопросы языка стали особенно злободневными, поднимается и проблематика языковой нормы и речевой правильности. При кодификации литературных норм исходят из того, чтобы предписания не были чрезмерно узкими, поскольку слишком строгие рамки тормозят естественное развитие языка и чреваты опасностью, что эти нормы не будут одобрены массами. С другой стороны, слишком широкая терпимость равна в конечном счете отказу от регулирующего влияния нормирования.

Поскольку прескриптивность норм в негомогенном обществе (в политико-экономическом смысле) может рассматриваться как результат неравенства классовых слоев, приходится смотреть на языковые нормы не только с точки зрения взаимоотношения диалектных, профессиональных, возрастных и других групп, но и под углом зрения классов. Гегемония того или иного класса также меняется, хотя по другим причинам и с иным ритмом, чем примат территориальных диалектов. Остается малоисследованным вопрос языковой ситуации рабочего класса в социалистическом обществе, где этот класс выступает как ведущий и самый прогрессивный.

Особые практические последствия эта проблематика имеет для функционирования тех языков, национальные территории которых расколоты на две части с разной социально-политической структурой (немецкого, корейского, до недавнего времени и вьетнамского). Аналогичную актуальность приобретает эта проблема и для лингвистической ситуации ряда других языков (например, кубинского варианта испанского языка)[33].

Чтобы высказывание было правильным, оно, как мы попытались показать, должно соответствовать определенным требованиям в установившихся п р е д е л а х. Речь в функциональном отношении тем эффективнее, чем она ближе к этому пределу. Но превышение предела ведет к нежелательным или даже противоположным результатам. По нашим наблю-

[31] В. В. В и н о г р а д о в, Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., М., 1938, стр. 227.

[32] Ю. В. Р о ж д е с т в е н с к и й, Типология слова. ДД, М., 1969, стр. 136.

[33] См.: Г. В. С т е п а н о в, Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи, М., 1976.

дениям, факты этого превышения получили сейчас весьма значительное распространение. Хотя это явление внешне представляется достаточно тривиальным, причины его уходят глубоко в недра социальной организации общества и способы его межперсональной коммуникации.

Тяга к гипертрофированной правильности дает о себе знать на всех названных уровнях. Стремление к сверхточности при подборе слов столь же ярко изобличает недостаточную речевую виртуозность говорящего, как и стилевые контаминации (например, предпочтение официально-книжных оборотов разговорным в устной речи). При этом в языковом сообществе имеется довольно единодушное согласие относительно того, какие формы языка предпочитаются другим, даже если эти предпочтительные формы не употребляются как «слишком правильные».

Особенно самоочевидно это явление на знаковом уровне. Банальным примером является произношение орфографического *чн* как [шн] и наоборот (в словах типа *конечно, сердечные болезни* и т. п.) [34]. По наблюдению американских авторов, так называемая «нижняя часть среднего сословия» проявляет особое внимание к «правильности» речи и произношения. Тенденция к гиперкорректности отмечается у тех, кто не чувствует себя вполне стабильно в смысле своего социального положения [35].

В последнее время огромную популярность приобрели к а в ы ч к и, злоупотребление которыми приняло размеры эпидемии. Если использование кавычек в цитате или названии корабля и иных подобных объектов — дело обязательное [36], то при переносном или ироническом употреблении слова правило не имеет принудительной силы, ибо, как верно указано в соответствующих нормативах [37], кавычками выделяются только: а) слова непривычные, б) устарелые (либо еще совсем новые).

Некоторые газетные жанры закавычены сплошь. Это прежде всего относится к текстам, претендующим на научную популярность изложения: «Быстрые „руки“ машины» («Правда», 14 XI 1974) или «„Дедушка“ тепловозов» (о первом тепловозе) («Вечерняя Москва», 16 XI 1974); из репортажа об одном старинном доме: «который порой может „рассказать“ о себе гораздо больше, чем сохранившиеся документы», «веками „жил“ малоприметельный дом»; «много деревьев получили постоянную „прописку“ в недавно выросших жилых массивах» («Правда, 4 I 1975); «Смелость „города“ берет» («Вечерняя Москва», 7 VII 1975). Угрожающе велико число ненужных кавычек в спортивных заметках: «Затем „скрестили клюшки“ сборные команды СССР и Финляндии» («Правда», 15 XII 1974) и. т. п.

В лексико-фразеологическом репертуаре языка всегда достаточно средств, чтобы при желании и, разумеется, соответствующем владении этими средствами подыскать такое выражение, которое не надо будет модализировать кавычками. Когда жанр текста имеет значительную социальную весомость и к нему приходится подходить с большей ответственностью, в нем нет места кавычкам. Достаточно посмотреть на официальные коммюнике, постановления, договоры, некрологи, приказы, государственные документы. Напрасно мы будем искать кавычки в этой функции и в классической художественной литературе — у Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого. Нет их и у Горького, Маяковского, Шоло-

[34] См.: Р. И. А в а н е с о в, Русское литературное произношение, М., 1968, стр. 9.

[35] Ср.: W. L a b o v, Hypercorrection by the lower middle class as factor in linguistic change, «Sociolinguistics», ed. by W. Bright, The Hague, 1966.

[36] К. И. Б ы л и н с к и й, Н. Н. Н и к о л ь с к и й, Правила орфографии и пунктуации для работников печати, М., 1957.

[37] Хотя и тут много излишеств. Названия газет, спортивных команд, марок товаров могли бы обойтись и без кавычек (как это делается, например, в чешском языке).

хова. А вот выбранное наугад новейшее литературное произведение — в общем неплохая повесть А. Сосновского «Холодно — жарко» («Октябрь», 1976, 12). На два десятка страниц повести больше двух десятков избыточно закавыченных слов (типа «Петрович» (прозвище), на «губе», новенькое «хабе», там работает «салага», побольше было бы «гастрономов» и т. д.). Кавычки эти никак не позволяют читателю опуститься в мир солдата, потому что автор сам отгораживается ими от своего героя.

Чрезмерное пристрастие к кавычкам нужно квалифицировать не как причину ущербной манеры изложения, а скорее как следствие, либо как симптом более глубоко коренящегося дефекта. Некоторые критики считают их выражением недоверия к читателю (А. Крон), перестраховкой или «знаком гражданской робости» (Л. Успенский) [38]. Одному стилисту удалось даже вывести формулу, согласно которой число кавычек в тексте обратно пропорционально степени грамотности автора. Выдающийся польский лингвист В. Дорошевский указывал также, что «использование кавычек бывает иногда проявлением некоей стилистической позы, манерой, лишенной всякого рационального обоснования» [39].

Но это только внешняя сторона дела. В настоящее время проходят бурные процессы акселерации в образовании, технике, в социальной организации общества. В периоды так называемых спокойных состояний языка устанавливается более или менее стабильный языковой узус. В наше время — в период интенсификации словесного общения, когда неслыханно много требуется от языка,— неминуемо появляется множество людей, которые еще не вполне овладели наново вызванными к жизни языковыми средствами. И не напрасно в различных странах раздаются голоса о так называемом общем упадке речи [40].

Между тем лингвопедагогика не полностью отвечает еще повышенным требованиям лингвистической ситуации и устремляет свой интерес к второстепенным явлениям, ожесточая нормы орфографии и пунктуации, тратя несоразмерно много времени на разработку и пропаганду тем типа «Почему мы так говорим» или «Как говорить правильно», а также на не всегда оправданную поддержку популярного этимологизаторства. Критика языка,— единодушно отмечают многие исследователи,— нередко мелочна и догматична [41]. А это соответствующим образом настраивает автора, редактора, издателя.

Как мы видели, количество правильных вариантов для каждого высказывания лимитируется известным слушателю узусом и заданной говорящему социальной и культурной нормой. В идеале число этих вариантов приближается к единице, тогда как реальный их состав всегда неопределенно велик, так как сама система языка открывает огромные возможности ее реализации, а арсенал ошибок и даже их типов практически не знает никаких границ.

Мы попытались выработать некоторые, по нашему убеждению, существенные критерии правильности высказываний, а также показать возможные пути дальнейшей систематизации семантических оценок фразы. Языковая правильность, естественно, не детерминируется исключительно предложенными в статье процедурами. Она требует более подробного описания и экземплификации. Изреченные фразы статичны, а жизнь, на которую они проецируются, лабильна и переменчива.

---

[38] См.: Б. С. Шварцкопф, Внимание, кавычки!, «Русская речь», 1967, 4.

[39] W. Doroszewski, O funkcjach cudzysłowu, «Studia z filologii polskiej i słowiańskiej», 5, Warszawa, 1965, стр. 46.

[40] См.: Н. Г. Комлев, Наступление на слово, ВФ, 1971, 11, стр. 69 и сл.

[41] G. Möller, Überlegungen zur Sprachpflege und Sprachkultur, «Sprachpflege», 1973, 3, стр. 129.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1978

ПАУЛИНИ Э.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ГЛАСНЫХ СЛОВАЦКОГО ЯЗЫКА

Дифференциальные признаки гласных являются, пожалуй, самым слабым местом в теории фонологических дифференциальных противопоставлений. Основное затруднение заключается в том, что дифференциальные признаки следует понимать последовательно бинарными, причем бинарное понимание некоторых вокалических фонологически релевантных различий (например, различий типа *а — о — и*) является очень часто искусственным и схематическим. Если придерживаться первоначального понимания Р. Якобсона и М. Халле, что всякому дифференциальному фонологическому противопоставлению отвечает также соответствующий акустический и артикуляционный коррелят [1], мы наталкиваемся на затруднения, которые преодолеваются лишь с трудом. Однако взгляд на систему дифференциальных бинарных противопоставлений только как на логическую модель [2] или как на чисто классификационные элементы [3], на наш взгляд, не может являться приемлемой исходной позицией. Следует согласиться с Л. В. Бондарко и Л. Р. Зиндером [4], ссылающимися с этой связи на Г. Фанта, что в таком случае фонология являлась бы интеллектуальной игрой; она потеряла бы значение той дисциплины, которая рассматривает обозначающее (signifiant) человеческого языка как средства коммуникации.

Но, с другой стороны, следует согласиться и с критиками Р. Якобсона и М. Халле, отвергающими мнение, что фонологические свойства согласных и гласных тождественны [5]. Вообще, пожалуй, следует признать справедливым мнение, что для всех фонем характерны две пары дифференциальных признаков: (С — С°) и (V — V°) [6]. Как я уже отмечал в своей работе о фонологических свойствах словацких сонорных согласных [7], ссылаясь на литературу, эти две пары фонологически противопоставленных свойств являются комплексными. Они вытекают, в сущности, из целого ряда элементарных свойств, но все-таки опираться на них полезно, так как на их основании фонемы в языке делятся на три группы: шумные согласные, сонорные согласные и гласные (или же еще глайды;

---

[1] См.: R. Jakobson, M. Halle, Fundamentals of language, 's-Gravenhage, 1956.

[2] См.: М. И. Лекомцева, Д. М. Сегал, Т. М. Судник, С. М. Шур, Опыт построения фонологической типологии близкородственных языков, «Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов (София, 1963)», М., 1963.

[3] См.: Я. Горецкий, Фонологическая система словацкого литературного языка, ВЯ, 1972, 1; его же, Generatívny opis fonologického systému spisovnej slovenčiny, «Jazykovedný zborník», Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Safarikianae, 4, 1975.

[4] См.: Л. В. Бондарко, Л. Р. Зиндер, Исследование фонетики, в кн.: «Основы теории речевой деятельности», М., 1974, стр. 154.

[5] См.: M. Romportl, Zvukový rozbor ruštiny, Praha, 1962, стр. 185 и сл.

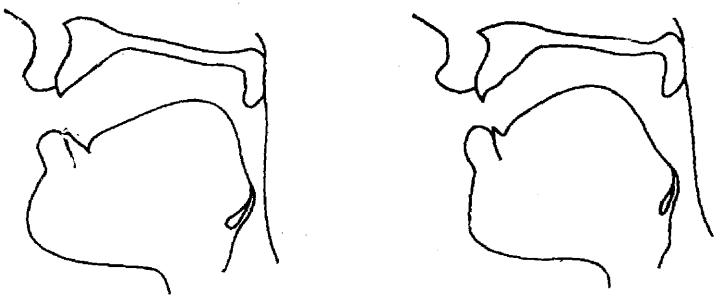
[6] (С—С°) = согласность — несогласность, (V—V°) = гласность — негласность, (Vc—Vc°) = звонкость — незвонкость, (Ср — Ср°) = компактность — диффузность, (Gr—Gr°) = тупость — острость, (Cn—Cn°) = щелевость—взрывность.

[7] См.: E. Pauliny, Die phonologischen Eigenschaften der Sonorlaute im Slowakischen, «Wiener slavistisches Jahrbuch», 21, 1975.

но с этим классом фонем мы не считаемся). Кроме этого, употребление приведенных двух пар противопоставлений нужно и потому, что противопоставления (Vc — Vc°) и (Cn — Cn°), где сила этих противопоставлений проявляется ярче всего, не имеют одинакового действия у всех фонем. Например, фонологическое противопоставление (Vc — Vc°) в словацком языке у шумных согласных может быть нейтрализовано, в то время как признак (Vc) у сонорных согласных и гласных является обязательным сопровождающим свойством, которое никогда не подвергается нейтрализации и в определенных морфологических позициях действует как нейтрализующее свойство, в других же морфологических позициях — не действует таким образом [8]. Признак (Cn — Cn°) проявляет себя у шумных согласных всегда только в одном виде — либо как (Cn), либо как (Cn°), в то время как у сонорных согласных, как я это уже отмечал [9], признак препятствия всегда налицо, но фонологически не важно, присутствует ли он как (Cn) или как (Cn°).

У гласных противопоставление (Cn — Cn°) совсем не выражено. Дело в том, что наличие признака (V) и отсутствие признака (C) полностью исключают возможность наличия признака (Cn — Cn°). Итак, поскольку у гласных нет противопоставления (Cn — Cn°), у них невозможны и противопоставления (Gr — Gr°), (Cp — Cp°), потому что на этих противопоставлениях в артикуляции выявляется локализация противопоставления (Cn — Cn°) и, следовательно, и акустические корреляты этих фонологических признаков.

Наличие тона и отсутствие шума, столь характерные с акустической точки зрения для гласных, вызваны отсутствием препятствия и наличием ротового резонатора. Различия гласных в таком случае определяются различием ротового резонатора во взаимодействии с ларингальной полостью; в этом и заключаются акустический и артикуляционный корреляты дифференциальных признаков гласных. Данные по поводу характера резонаторов русских гласных приводятся очень точно Г. Фантом [10]. Определяя дифференциальные противопоставления словацких кратких гласных, мы будем исходить из приведенных выше принципов. Мы будем пользоваться квазистационарными схемами кинорентгеновских снимков словацких гласных, заимствованными из работы Й. Двончовой, Г. Йенчи и А. Краля [11]:



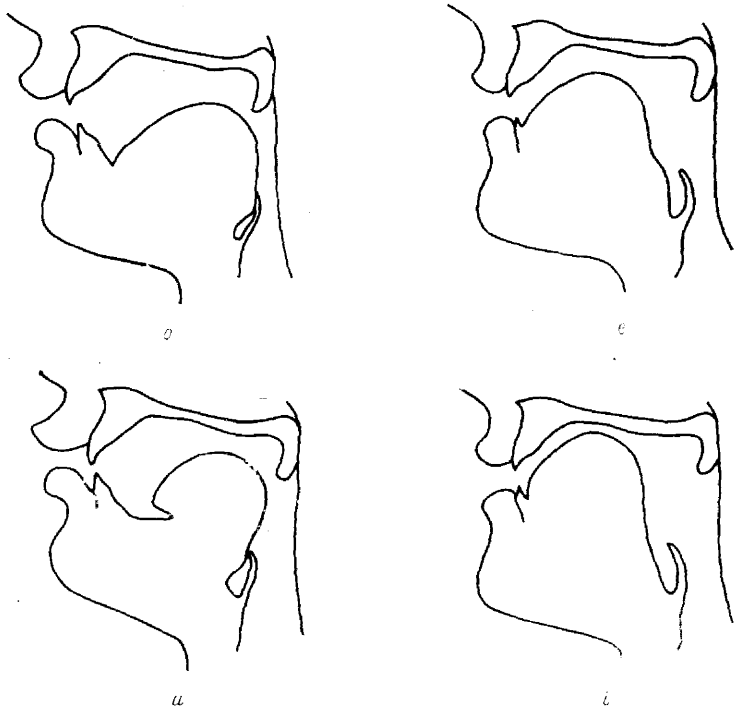
a *ä*

[8] См.: E. P a u l i n y, Protiklad znelost' — neznelost' v stavbe slova a tvaru v slovenčine, «Slovenská, reč», 40, 5, 1975, стр. 257—258.

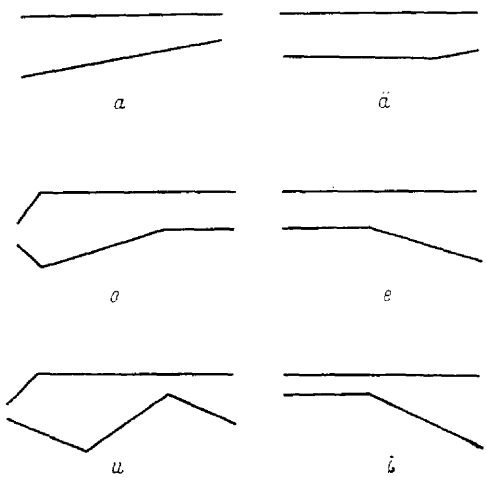
[9] См.: E. P a u l i n y, Die phonologische Eigenschaften der Sonorlaute im Slowakischen, стр. 215.

[10] Г. Ф а н т, Акустическая теория речеобразования, М., 1964, стр. 109 и сл.

[11] J. D v o n č o v á, G. J e n č a, Á. K r á ľ, Atlas slovenských hlások, Bratislava, 1969 (далее в тексте — Atlas).



Вид ротового резонатора при произношении словацких кратких гласных схематически можно изобразить следующим образом (объяснение см. при характеристике отдельных фонологических дифференциальных признаков):



Как нами было уже отмечено, основными двумя парами противопоставлений, общими для всех фонем, являются:

1. (C — C°),
2. (V — /°).

У гласных налицо признаки (V) и (C°).

Последующие признаки определяются, как мы уже отмечали выше,

в зависимости от характера ротового резонатора (во взаимодействии с ларингальной полостью). Ими являются:

3. Расширенность — нерасширенность (Ext — Ext°) (extend). Это противопоставление артикуляционно проявляется в том, что резонатор в ротовой полости расширяется с заднего отдела ротовой полости к переднему. Активной является, таким образом, задняя часть языка. С этой точки зрения можно усмотреть некоторую аналогию с консонантическим признаком (Ср — Ср°). Но с этим признаком нельзя отождествлять вокалический признак (Ext — Ext°), так как при образовании согласных основной звук возникает на месте препятствия, в то время как при образовании гласных для формирования звука определяющим является характер резонатора, причем препятствия здесь нет. Таким образом, активное участие языка имеет влияние на характер резонатора, и у гласных оно не образует препятствия. Акустически различие (Ext — Ext°) проявляется по линии «твердости — мягкости» гласных. На сонограммах этот признак проявляется в том, что у гласных с признаком (Ext) форманты F_1, F_2 находятся в непосредственной близости, а у гласных с признаком (Ext°) форманты F_1, F_2 друг от друга отдалены. Признак (Ext) свойствен гласным /a o u/, признак (Ext°) свойствен гласным /ä e i/.

4. Открытость — неоткрытость (Ор — Ор°) (open). Это противопоставление артикуляционно проявляется в том, что гласные с открытым резонатором [a ä] в передней части полости рта не имеют никакого сужения, тогда как гласные с неоткрытым резонатором в передней части рта имеют сужение. Это гласные [o u e i]. Конечно, это сужение имеет не одинаковый характер. На этом основано последующее противопоставление:

5. Темность — ясность (Fl — Fl°) (flat). Темными являются гласные [o u], при произношении которых передняя часть полости рта сужается в силу того, что губы выпячиваются и закругляются (лабиализация). Ясными являются гласные [e i], при произношении которых полость рта сужается в результате того, что поднимается передняя часть языка.

В словацком языке гласные с признаком (Ext Ор°) обладают всегда и и признаком (Fl), в то время как гласные с признаком (Ext° Ор°) имеют всегда также и признак (Fl°). Поэтому при характеристике этих гласных в словацком языке не нужно было бы специально приводить противопоставления (Fl — Fl°). Но акустически это противопоставление очень выразительно, так как гласные [o u] имеют темный тон, а гласные [e i] — отчетливо ясный тон. На сонограммах у гласных [o u] ярко отмечены низкие форманты, а у гласных [e i] ярко отмечены также и высокие форманты. Гласные [a ä] не принимают участия в противопоставлении (Fl — Fl°).

6. Узость — неузость (Na — Na°) (narrow). Это противопоставление свойственно парам /u/ — /o/ и /i/ — /e/. Артикуляционно оно проявляется в самом верхнем положении языка в передней части полости рта у гласного [i] и в задней части полости рта у гласного [u]. На сонограмме это отражается в низком положении F_1. С акустической точки зрения у этих двух гласных на осциллограмме относительно простое строение кривой (она является самой простой по сравнению с кривой всех других гласных), причем у гласного [u] она очень проста (Atlas, 1969, табл. 11), у гласного [i] — чуть сложнее (Atlas, 1969, табл. 7). Бóльшая сложность периодической кривой у [i] проявляется ярче при увеличенной проекции [12].

К обозначению дифференциальных признаков в таблице словацких кратких гласных следует добавить, что знаки (+ —) не всегда имеют значение «наличие — отсутствие» данного фонологического признака, потому что в таком случае, например, гласный /e/ не был бы охарактеризован никакими специфически вокалическими признаками и дифферен-

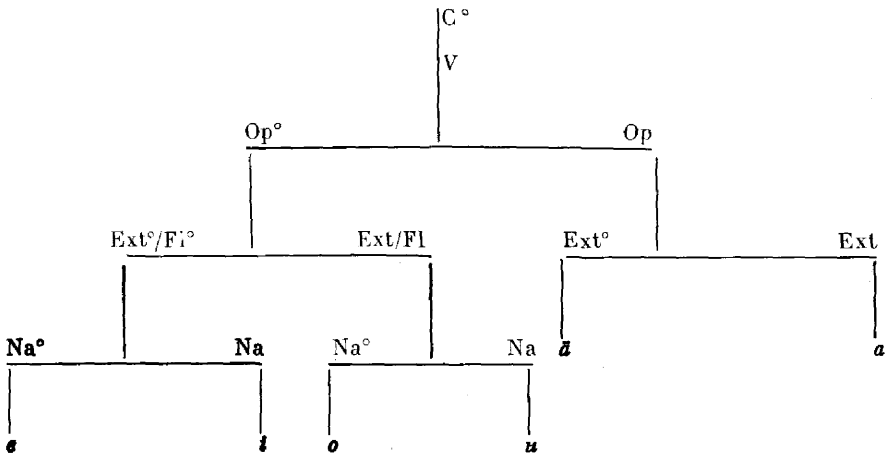
[12] W. J a s s e m, Podstawy fonetyki akustycznej, Warszawa, 1973, стр. 166.

Краткие гласные словацкого языка

	a	*ä*	*o*	*e*	*u*	*i*
C—C°	—	—	—	—	—	—
V—V°	+	+	+	+	+	+
Ext—Ext°	+	—	+	—	+	—
Op—Op°	+	+	—	—	—	—
Fl—Fl°			+	—	+	—
Na—Na°			—	—	+	+

циальный признак (V) у гласного /e/ не имел бы никакого основания. Знак (—) имеет чаще всего значение полярного контрастного признака по отношению к признаку, обозначаемому знаком (+). Например, признак (Fl°) обозначает не только отсутствие признака темности, но одновременно и наличие признака ясности; признак (Op°) обозначает не только отсутствие признака открытости, но также и наличие признака закрытости (этим термином мы не пользуемся, так как он в фонетике применяется в другом значении) и т. д.

Дерево словацких кратких гласных



О фонологических признаках словацких гласных я писал дважды: в 1961 г. и в 1968 г.[13]. В работе 1968 г. (стр. 62—64) я подверг критике свою точку зрения, высказанную в 1961 г. М. Ромпортл в своей статье указал на недостатки моей концепции 1968 г. с фонетической точки зрения[14]. Так как я и сам склонен считать необходимым, чтобы фонологические дифференциальные признаки имели свои артикуляционные и акустические корреляты в речевом сигнале, то в настоящей статье стремился избежать ошибок, свойственных моим предшествующим работам.

О признаках словацких фонем писали также Лекомцева, Сегал, Судник, Шур и Горецкий. Но, как я уже отмечал выше, они понимают систему дифференциальных признаков как логическую модель или как чисто классификационные элементы, что, следовательно, не сопоставимо с нашей исходной позицией.

---

[13] E. P a u l i n y, Fonológia spisovnej slovenčiny, Bratislawa, 1961; 2. vyd.— Bratislava, 1968.

[14] M. R o m p o r t l, Kriteria klasifikace vokálů, «Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 23—24, 1971—1972. Philologica», Bratislava, 1974, стр. 109—114.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1978

АВАНЕСОВ Р. И.

О ФОНОЛОГИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ДОЛГИХ СОГЛАСНЫХ В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

Памяти ученицы и друга — Нины Трофимовны Войтович

В статье рассматриваются долгие мягкие переднеязычные зубные согласные и твердые небно-зубные согласные /š/, /ž/, /č/, которые по своему «поведению» близки к мягким зубным, в «правой» части слова, в определенных морфологических образованиях, главным образом, именных.

Грамматики отдельных языков, как правило, пишутся без должного разграничения графико-орфографического, фонетического и фонемного уровней. Не составляют исключения и грамматики белорусского языка. Так, например, в академической грамматике белорусского языка для слов *сенажац*, *столь*, *далонь*, *гусь* указывается форма род., дат. и местн. падежей: *сенажац-і*, *стол-і*, *далон-і*, *гус-і* и форма твор. падежа *сенажацц-ю*, *столл-ю*, *далонн-ю*, *гусс-ю* [1]; там же для слов *ноч*, *рэч*, *печ*, *мыш* дается форма род., дат. и местн. падежей: *ноч-ы*, *рэч-ы*, *печ-ы*, *мыш-ы* и форма твор. падежа: *ночч-у*, *рэчч-у*, *печч-у*, *мышш-у*. То же находим и в других грамматиках белорусского языка [2]. Дело здесь не только в неразграничении графико-орфографического, фонетического и фонемного уровней (буква *ю* здесь указывает не на сочетание /j/ с последующей /u/, а /u/ с указанием на мягкость предшествующей согласной; буква *і* в одной группе слов и буква *ы* в другой обозначают одну и ту же фонему /i/). Главное заключается в том, что для твор. падежа, с одной стороны, и остальных падежей, с другой, указываются разные основы: основа на долгую согласную в твор. падеже и без долготы согласной в остальных. Если слова этого типа кончаются двумя согласными, то различие в основах разных падежей отсутствует: *косць — косц-і* и *косц-ю* (см. академическую грамматику белорусского языка, стр. 82, а также и другие грамматики). На этой же 82 странице падежные формы того же типа существительного женского рода, но с основой на губные и /r/ указаны следующие: *глыб*, *верф*, *шыр*. Здесь для род., дат. и местн. падежей указывается форма *глыб-і*, *крыв-і*, *верф-і*, а для твор. падежа *глыбj-у*, *кроў-ю*, *верфj-у*, *шырj-у*. Кстати, последние три слова записаны полуорфографически, полуфонетически. Орфографическое написание их — *глыб'ю*, *кроўю*, *веф'ю*, *шыр'ю*. Обращает внимание то, что и здесь, как и в предыдущей серии примеров, форма твор. падежа показана как отличающаяся от остальных падежей своей основой; наличием второй согласной, повторяющей первую, в первой серии примеров, и наличием после согласной фонемы /j/ во второй.

Думаю, что нет необходимости доказывать, что грамматика вообще, морфология и словообразование в частности, должна покоится не на фонетической или графико-орфографической основе, а на основе фонемной,

---

[1] См.: «Граматыка беларускай мовы», I — Марфалогія, Мінск, 1962, стр. 82.

[2] См., например: М. С. Жиркевіч, А. С. Карзон, Граматыка беларускай мовы, ч. 1, 1952, стр. 94; «Курс сучасной беларускай літаратурной мовы», Марфалогія, Мінск, 1957, стр. 47.

иначе фонематической. С этой точки зрения не вызывает сомнения, что приведенные примеры репрезентируют один и тот же тип склонения (одну и ту же парадигму) с одним и тем же набором флексий (на грамматическом уровне). Такой вывод диктует два возможных решения.

Первое. В приведенных случаях флексиями являются /i/ и /u/, но тогда мы вынуждены будем констатировать в твор. падеже грамматически иную основу сравнительно с другими падежами. Однако если для слов *глыб, кроў, верф, шыр* предположить суффикс /-j-/: /glíb-j-u/, /krov-j-u/, /vérf-j-u/, /šír-j-u/, то для остальных слов нельзя предположить разные суффиксы: /c'/ — в одном случае, /l'/ — в другом; /n'/ — в третьем, /s'/ — в четвертом, /š/ — в пятом, /č/ — в шестом. Морфологическую и словообразовательную структуру этой формы невозможно представить в трехморфемном виде — корень, суффикс, флексия: /s'énažac'-c'-u/, /stól'-l'-u/, /dolón'-n'-u/, /hús'-s'-u/, /péč-č-u/, /míš-š-u/. В одной и той же тождественной парадигме невозможно себе допустить наличие разных суффиксов, представленных целой серией согласных. Нельзя не обратить внимания на то, что после каждой согласной основы «суффикс» тождествен этой согласной, а если сказать точнее, обусловлен позиционно исходной согласной основы.

Второе. При описанных условиях можно прийти лишь ко второму единственно возможному решению: согласная, повторяющая предыдущую согласную, а также /j/ после губных и /v/ относится не к основе, а к флексии. Но тогда возникает вопрос: а возможны ли почти десять разных флексий для одной и той же формы в пределах одной парадигмы? Ответ на этот вопрос таков. Все эти примеры членятся на основу и флексию: при этом на фонетическом уровне членение таково: [c'énажац'-ц'у], [стóл'-л'у], [далóн'-н'у], [hýc'-c'у], [нóч-чу], [мыш-шу] и рядом [hлыб-jу], [крóў-jу], [вérф-jу], [шыр-jу]. Что же касается более глубокого уровня фонемного, точнее морфо-фонематического, который только и существен для грамматического уровня, то во всех этих и подобных случаях надо констатировать одну флексию — /ju/; /s'énažac'-ju/, /stól'-ju/, /hús'-ju/, /nóč-ju/, /míš-ju/, /hlíb-ju/, /króv-ju/, /vérf-ju/, /šír-ju/.

Фонема /j/ на стыке корня и начинающейся с нее флексии выступает в своем основном виде (т. е. как /j/) после губных и /v/, а после переднеязычных (кроме /r/) она позиционно замаскирована и выступает в облике согласной корня, т. е. повторяет ее. Это значит, что согласные /c'/, /s'/, /l'/, /n'/ и др. в начале «фонетической флексии» после тождественных согласных являются вариантами фонемы /j/, а если выразится образно — являются фонемой /j/, «переодетой в разные одежды», каждый раз в платье-двойник своей предшественницы или «окрашенной» в ее «цвет». Таким образом, перед нами целая сеть аллофонов, качество которых зависит от качества предшествующей согласной. Приведем некоторый материал.

Слова женского рода без окончания в им. падеже ед. числа на переднеязычную согласную — зубную или небно-зубную (кроме ⟨r⟩); *сýмесь — сýмессю, вось — вóссю, Беларусь — Беларуссю; мазь — маззю, слизь — слúззю, зáвязь — зáвяззю, бóязь — бояззю; бель — бéллю, погúбель — погúбеллю, мель — мéллю, моль — мóллю, соль — сóллю, арцéль — арцéллю, пасцéль — пасцéллю; гартáнь — гартáнню, прыстань — прыстанню, вóсень — вóсенню, дрэнь — дрэ́нню, вонь — вóнню, цéмень — цéменню, гаць — гáццю, плець — плéццю, павéць — павéццю, кóпац — кóпаццю; медзь — мéддзю, мóладзь — мóладдзю, пядзь — пя́ддзю; вош — вóшшу, мыш — мышшу, глуш — глýшшу; зáлеж — зáлежжу, вýпраж — вýпражжу; печ — пéччу, рэч — рэ́ччу, ноч — нóччу*; после губных и ⟨r⟩: *верф — вéрф'ю, глыб — глыб'ю, свякроў — свякрóўю, мóркаў — мóркаўю* (послед-

ние два примера диалектные, в литературном языке — *свекрывёю*, *мóрквaю*), *кор* — *кóр'ю*. Во всех этих случаях мы констатируем флексию /-ju-/, в которой /j/ сохраняется после одних согласных и выступает в облике предыдущей согласной после других.

Такова же морфо-фонематическая и, следовательно, грамматическая структура слов, кончающихся двумя согласными: *-сць*, *-рць*, *-ўць*, где долгота (удвоение) согласной отсутствует в произношении и не обозначается на письме: *косць* — *кóсцю*, *масць* — *мáсцю*, *зáвисць* — *зáвисцю*, *пóвесць* — *пóвесцю*, *месць* — *мéсцю*, *вóльнасць* — *вóльнасцю*, *смерць* — *смéрцю*, *скáцерць* — *скáцерцю*, *борць* — *бóрцю*, *жóўць* — *жóўцю*. Поскольку эти слова по своей структуре не отличаются от ранее разобранных, и в них надо видеть на морфо-фонематическом и грамматическом уровнях флексию /-ju/ (/más'c'-ju/, /s'm'érc'-ju/, /žóuč-ju/), после сочетания согласных /j/ выступает в своем нулевом варианте.

Здесь уместно обратить внимание на числительные, обозначающие 5—10, 20 и 30 и склоняющиеся по типу существительных жен. рода на согласную. Твор. падеж от них: *при пяццю́*, *шасцю́*, *дзевяццю́*, *дзесяццю́*, *дваццаццю́*, *трыццаццю́*, после губных отмечаем *васьмю́*, *сямю́* без /j/. Морфо-фонематическая запись этих числительных, кроме двух последних форм (без /j/), не вызывает сомнения: /p'ac'-jú/, /šes'c'-jú/, /d͡'z'ev'ac'-jú/, /dvaccac'-jú/, /triccac'-jú/. Формы *васьмю́* и *сямю́*, по-видимому, возникли в аллегровой речи, часто свойственной числительным [3]. Думается, что морфо-фонемная «идеальная» модель и для этих слов включает /j/:]vos'm-jú/, /sem-jú/.

Среди существительных среднего рода отметим прежде всего два структурных типа с суффиксом /j/: собирательные, например, *дуб'ё*, *сýчча*, и приставочные образования (с приставками *за-*, *по-*, *уз-*, *под-*), например, *залíп'е*, *надпóлле*, *зацíшша*. Те и другие употребляются и как апеллятивы и — особенно часто — как микротопонимы [4]. Приведем примеры без разграничения этих двух словообразовательных типов, группируя их по конечным согласным корня или, точнее, по конечным согласным перед суффиксом /-j-/, разделив их на две группы: а) согласные, после которых /-j-/ сохраняется; б) согласные, после которых вместо /j/ наличествует согласная, тождественная предыдущей согласной.

/b/: *Дуб'ё*, *дýб'е*, *Жáб'е*, *Паддýб'е*, *Падверб'е*, *Падызб'е*; /p/: *Лíп'е*, *Залíп'е*, *Падлíп'е*; /m/: *Процíдóм'е*, *Закурчóм'е*, *Подкрым'е*; /v/: *Мáкаў'е*, *Заканáў'е*, *Гарóваў'е*, *Нíў'е*, *Паднізоў'е*, *Белагапóўе*; *Міжрóў'е* /j/: *Загáй'е*, *Пакрáй'е*, *Падхвóй'е*; /r/: *Забóр'е*, *Падбор'е*, *Узбор'е*, *Задвóр'е*, *Узгóр'е*, *Падгóр'е*. Любопытно особо отметить случаи после /v/, в которых суффикс /-j-/ употребляется после гласных [у] и [и] неслоговых, функционирующих как согласные: [н'и́ўje], [патхвóije] = /п'ív-j-o/, /под-хвoj-jo/.

/s'/: *Залéссе*, *Чернолéссе*, *Межлéссе*, *Падлéссе*; /z'/: *Вя́ззе*, *Панíззе*, *Панавóззе*, *Падлóззе*, *Залóззе*; /l'/: *Сакóлле*, *Сухадóлле*, *Запóлле*, *Успóлле*, *Заперовалле*; /n'/: *Кóпанне*, *Камéнне*, *Лíпенне*, *Балóнне*, *Загумéнне*, *Засцéнне*, *Завыгóнне*, *Замлынне*; /c'/: *Заболóцце*, *Узбалóцце*, *Зачáцце*, *Подварóцця*; /d͡'z'/: *Хлýдзе*, *Калóдзе*, *Загарóдзе*, *Забрóдзе*; /č/: *Запéчча*, *Залясочча*, *Зарэ́чча*, *Пазарэ́чча*, *Падрэ́чча*; /ž/: *Падрубéжжа*, *Задарóжжа*, *Зарóжжа*, *Падлýжжа*, *Узберэ́жжа*, *Пабярэжжа*; /š/: *Зацíшша*, *Замóшша*, *Зашля́шша*.

Такая же морфо-фонематическая интерпретация естественна и для других имен существительных среднего рода с долгой небно-зубной согласной. Таковы случаи: *коссё*, *жыццё*, *лíццё*, *піццё*, *шыццё*, *выццё*, *мыццё*, *вясéлле*,

---

[3] Отметим, что диктуемые литературной нормой русского языка формы *восемью́*, *семью́* обычно нарушаются как в написании, так и в произношении. Ср. *вóсьмью*, *сéмью* и *восьмю́*, *семю́* [вʌс'м'ý], [с'им'ý] (без /j/!).

[4] См.: «Мікротапанімія Беларусі», Мінск, 1974.

пахмéлле, *жыллё*, *прывóлле*, *карэ́нне*, *калóдзе*, *кулаччó*, *мужыччó*, *сýчча* при *баб'ё*, *дуб'ё*, *здароў'е*: /kos'-j-ó/, /suč-j-ó/, /korén-j-o/ и т. д. при /dub-j-ó/, /otrép'-j-o/. У существительных среднего рода на морфо-фонематическом уровне суффикс /-j-/ наличествует во всех падежных формах. Ср. *пíццó*, *пíцця*, *пíццю* и *дуб'ё*, *дуб'я* и *дуб'ю* и т. д.: /pic'-j-ó/, /pic'-j-á/, /pic'-jú/, /dub'-j-ó/, /dub-j-ó/, /dub-j-ú/ и т. д. На фонетическом уровне он выступает («голым») после определенного круга согласных, «проясняя» собой те случаи, в которых он находится после другого круга согласных, где он «одевается» в «одежду» предыдущей согласной. Полагаю, что на основе всего сказанного также должны интерпретироваться отглагольные существительные на *-нне*: *шы́пенне*, *снядáнне*, *каханне*, *змагáнне*, *лячэ́нне*, *маўчáнне*, *хавáнне*, *утрымáнне* и др. (/šipén-j-o/ и т. д.).

При наличии у существительных среднего рода в конце корня сочетания согласных удвоение последней согласной сочетания с /j/ отсутствует и суффикс /-j-/ выступает в своем нулевом варианте. Ср. *шчáсце*, *лíсце*, *гвóздзе*, *жэ́рдзе*, в род. падеже *шчáсця*, *лíсця*, *гвóздзя*, *жэ́рдзя*. На морфо-фонематическом уровне подобные слова имеют структуру: /ščás'c'-j-o/, /lís'c'-j-o/, /žérd͡z'-j-o/, /ščas'c'-j-a/, /lís'c'-j-a/, /žérd͡z'-j-a/ и т. д.

Существительные на /-а/ типа *кéлля*, *маланнÿ*, *суддзÿ*, *баддзÿ*, *пападдзÿ* при *сям'ÿ* трактуются так же, как и ранее проанализированные. Фонема /j/ во флексии в них присутствует не только в им. пад., но и в других падежных формах: /sud͡z'-já/ — /sud͡z'-já/, /kél'-ja/ — /k'él'-ju/ при /s'em-já/ — /sem-jú/. Любопытно слово *свинньÿ*, которое обычно произносится без удвоения конечной согласной корня: *свинÿ*. Возможно, произношение без удвоения — архаизм, но не исключено, что оно представляет аллегровую форму, укрепившуюся в нейтральном стиле. Однако при наличии в некоторых частных системах удвоения, можно предполагать, что и здесь на морфо-фонематическом, «идеальном» уровне послекорневая часть начинается с суффикса /-j-/, выступающего в нулевом варианте фонемы /j/.

В ряде грамматических категорий, когда в русском наличествует более старая стадия с сочетанием «согласной + /j/», белорусский язык избегает этого сочетания, прибегая к вокализации древнего гласного ь в начальном слоге или преобразуя его морфологически. Так, например, русским местоименным формам *чья*, *чью*, *чьей*, *чьи*, *чьих*, *чьим*, *чьими*, *чьего*, *чьему*, *чьим*, *о чьем*, *чье* в белорусском соответствуют при *чый — чыйю*, *чыймý*, *чыíм*; *чыя́*, *чыёй*, *чыю*; *чыé*, *чыíх*, *чыíм*, *чыíмі*, *чыé*, *чыíх*, *чыíм*, *чыíми*, *чыйю*, *чыймý*, *чыё*. Русским *фасóль — фасóлью*, *кудéль — кудéлью*, *рóль — рóлью* в белорусском соответствует *фасбля*, *кудéля*, *рóля*, русскому *брóвь — брóвью* в белорусском соответствует *брывó* или *брывá*. Русским *пéчень — пéченью*, *тень — тéнью* в белорусском литературном соответствует *пéчань — пéчанню*, *цень — цéнню*, а в диалектах избегается сочетание «согласной» + /j/» путем перехода соответствующих слов в мужской род: *пéчань — пéчанем*, *цень — цéнем*.

Русским прилагательным типа *ры́бий — ры́бья*, *бáбий — бáбья*, *корóвий — корóвья*, *вдóвий — вдóвья*, *лебя́жий — лебя́жья*, *кóзий — кóзья* в белорусском соответствуют другие образования: при региональном *ры́бі — ры́бяя*, *бáбін* при региональном *бáбі — бáбяя*, *карóвін* при региональном *карóўскі — карóўская*, *удóвін* при региональном *удóві — удóвяя*, *лебядзíны*, *казíны*. По диалектам мы находим разные формы слова *козі — кóзяя* и *кóззі — кóззяя*, а также *барáнні — барáнняя*, *варóнні — варóнняя*. В последнем случае любопытно, что при наличии форм полного (членного, местоименного) прилагательного мы находим в то же время удвоение /z'/, /n'/, что указывает на сочетание /zj/, /nj/, которое было ранее у притяжательных прилагательных кратких (нечленных). Подобная контаминация

встречается и в ряде других прилагательных. Так, например, при литературных формах *саба́чы — саба́чая, пастухо́ў — пастушы́ны, казі́ны, лі́саў — лісі́ны* существуют региональные формы *саба́ччы, пасту́шшы, лі́сі — лі́сяя* и *лі́ссі — лі́ссяя* [5].

Отметим, что в начале слова, в особенности на стыке приставки и корня удвоения согласных может и не быть. Ср. литературное *з'еў* (при русском *съел*) — произносится [з'jeў]. Но рядом есть и диалектное [з'з'еў]. В свете вышеизложенного нет необходимости доказывать, что фонемный состав в обоих случаях один и тот же: /z'jeł/. Отметим литературную форму *ззя́е* (русск. *сия́ет*) с редукцией предударной гласной до нуля, которую на морфо-фонемном уровне, видимо, следует представить как /z'jáje/. Укажем как аномалию случай *лью* при *п'ю, б'ю, ўю* (русск. *вью*): произносится [л'jý], но также — по диалектам — [л'ијý] и [л'újy] (с вокализацией старого ь). На востоке Белоруссии есть и *ллю, наллю́*, как и *Илля* (ср. *Илья*), которые представляют собой /l'ju/, /nal'jú/, /il'já/. Можно указать и на украинское *ллю, лля́ти*. Вокализацию, устраняющую сочетание «согласная + /j/», мы находим также в глаголе *шы́ю*: /šíju/ (ср. русск. *шью*).

Удвоение согласных на месте «согласной + /j/», видимо, процесс неактуальный: в новых заимствованиях, во всяком случае литературного языка, сочетание с /j/ сохраняется. Ср. *белорус. атэлье́, мадэлье́р, сеньёр* и т. д. Однако некоторые белорусские говоры знают польское заимствование *булён* (ср. польское *bulion* и русск. *бульон*) с особым специфическим значением. Можно думать, что форма [бул'о́н] появилась через стадию с долгой согласной: [бул'jо́н] > [бул':о́н] > [бул'о́н]. Естественно, что слово *мильён* (ср. польск. *milion*, русск. *миллион*), отсутствующее в говорах, сохранило /j/.

Обрисованная выше картина до известной степени схематична. На самом деле современные белорусские говоры в рассмотренных словообразовательных типах знают не только двойные согласные, но также сочетания «согласной + /j/», которые исторически предшествовали двойным согласным, и согласные нормальной длительности (и без /j/), которые появились в результате следующего этапа процесса, а именно утраты долготы: *каме́нье, каме́нне, каме́не*. Вместе с тем различия эти не всегда характеризуют разные диалекты, но нередко встречаются также в одной и той же частной диалектной системе. Далее — разные согласные в разной степени способны сохранять сочетания согласных с /j/, изменять их в двойные согласные и далее утрачивать долготу [6]. В наибольшей степени удвоение согласных (а также возможное их упрощение) свойственно группе переднеязычных мягких зубных /c'/, /d͡'z'/, /s'/, /z'/, /l'/, /n'/. Особое положение занимают /č/, /š/, /ž/, твердые в белорусском языке. В одних говорах сочетание этих согласных с последующей фонемой /j/ изменяется в долгую согласную, в других сохраняется. Ср. *Зарэ́чча* и *Зарэ́ч'е, Замо́шша* и *Замош'е, Падлу́жжа* и *Падлу́ж'е*. То же, однако в меньшей степени, можно сказать и о сочетании /r/ с последующей фонемой /j/.

Наконец, сочетания губных согласных с /j/, включая фонему /v/, которая выступает в аллофоне /ŭ/, сохраняются без изменения, равно как и фонема /j/ в исходе корня с суффиксом /-j-/. Таким образом, устанавли-

---

[5] Подобное явление встречается и в части северных русских говоров, знающих удвоение согласных вместо сочетания «согласный + /j/»: наряду с [тр'е́т': у] (вин. п. ед. ч.), [тр'е́т' : их] и т. д., где удвоение закономерно (ср. русское литературное *третью, третьи*), также [тр'е́т' : ej] в им. падеже ед. числа мужского рода, где сочетание «согласная + /j/» отсутствовало.

[6] См.: «Дыялекталгічны атлас беларускай мовы», ч. 2. Уступныя артыкулы даведачная матэрыялы і каментарыі да карт, Мінск, 1963, стр. 480.

вается связь между смягчением согласной перед /j/ и образованием долгой (удвоенной) согласной.

На основе рассмотренного материала можно сделать два вывода принципиального характера.

1. Синхронный системный анализ является наилучшей формой диахронического, исторического исследования [7]. Уже внутрисистемные (внутридиалектные) отношения дают материал для внутренней реконструкции и установления относительной хронологии исследуемого явления. Разносистемные (междиалектные) отношения значительно раздвигают возможности системного синхронного, а вместе с тем и диахронного исследования. Они дают возможность, выявив одновременные разнотерриториальные языковые различия, представить их на временной оси как отражение разновременных различий, разных этапов их развития. Рассмотренное явление актуально не только для белорусского языка, но также для украинского и части диалектов русского. Монографическое сравнительное исследование его может дать новые важные в структурном плане результаты для более широкой области сравнительной фонетики славянских языков. Как известно, сочетания согласных с /j/ были известны еще в праславянском языке. Одни из них во всех славянских языках изменились одинаково, другие — по-разному в разных диалектах праславянского. С течением времени после падения редуцированных, а также вследствие появления заимствований с гласными, приравненными к слабым редуцированным, или, например, диалектного изменения праслав. *ě в /je/ появились новые сочетания согласных с /j/. Естественно, что реакция на них не была одинаковой в разных славянских языковых и диалектных группах. Однако было и общее. Как в старых, так и в новых сочетаниях с /j/, если последние не сохранялись, действовал один и тот же процесс: смягчение согласной перед /j/, ассимиляция /j/ с предшествующей согласной и образование долгой двойной согласной (разной по качеству в разные эпохи и на разных территориях) и возможная впоследствии утрата долготы. Что же касается результатов новых сочетаний согласных и /j/, то ни в одном славянском языке или диалекте они не были в полной мере идентичны праславянским изменениям тех же сочетаний. На первый взгляд, праславянский процесс изменения согласных с последующей /j/ продолжал действовать в сербохорватском и в позднейшее время. В самом деле: рядом с *mȅђа* (**medja*) мы находим *ђа̏во̄*, *ђа̏вола* — род. п., *вѝђе̄ње*, *ђȅd* (см. ст.-слав. *диаволъ*, *видѣниѥ*, *дѣдъ*); рядом со *све́ћа* (**světja*) — *жи́ће*, *цве̂ће* — собир. «цветы, букет цветов»; *бра̂ћа* — собир. (см. ст.-слав. *житиѥ*, *братиꙗ*, *цвѣтиѥ*), рядом с *здра̂вље* (**sъdorvĭje*), ср. русск. *здоровье*, *кр̏вљю* (ср. ст.-слав. *кръвиѭ*), диалектное *вљёра* из [в'jepa] (ср. ст.-слав. *вѣра*). Однако сочетания /s/ и /z/ с /j/ праславянской эпохи и эпохи после падения редуцированных в сербохорватском имели разную судьбу: первые, как и во всех других славянских языках, изменились в /š/ и /ž/, а вторые сохранились, *кла̂сје* собир. ср. русск. *колосья* (**kolsĭje*) и *ло̂зје* — собир. «виноградник, лозы» (ср. ст.-слав. *лозиѥ*). Таким образом, даже в сербохорватском праславянское изменение сочетаний согласных с /j/ продолжало действовать в позднейшую эпоху не для всех согласных. Новые сочетания с /j/ в белорусском удлинялись только при условии

[7] Судьба новых сочетаний с /j/ в историческом плане уже давно привлекает внимание исследователей. В последнее время она подробно прослежена в книге Ф. П. Филина «Происхождение русского, украинского и белорусского языков», Л., 1972. Автором рассмотрена вся основная литература по этому вопросу, сделаны интересные выводы о времени развития долготы мягких переднеязычных согласных на юго-западной и западной части восточнославянской территории (см. стр. 323—324 названной книги).

предварительного смягчения согласной перед /j/. Смягчение согласной является индикатором последующего ее удлинения путем «поглощения» /j/, а в некоторых случаях в дальнейшем и сокращения длительности. Губные в сочетаниях /pj/, /bj/, /mj/, /vj/ не смягчались, фонема /r/ в сочетании /rj/ если и смягчалась, то рано отвердела, до эпохи удлинения согласных, шипящие /š/, /ž/, /č/ несомненно смягчались, но отвердевали по говорам в разное время, что и отразилось в разных результатах сочетания шипящих с /j/, наконец переднеязычные зубные /l/, /n/, /s/, /z/, /t/, /d/ в сочетании с /j/ всегда смягчались, а затем и удлинялись [8]. Любопытно сочетание /jj/ (/pod-chvój-j-o/). Каждая из фонем этого сочетания не может смягчаться, будучи sui generis мягкой, и не может удлиняться, так как вместе взятые они уже «удлинены». Результаты изменения новых сочетаний с /j/, как мы видели, не совпадают с результатами изменения соответствующих праславянских сочетаний с /j/, хотя и имеют нечто общее в своей основе — смягчение согласной перед /j/. Таким образом, синхронный анализ рассматриваемого явления дает существенный материал для исследования его истории.

2. Грамматика (в частности морфология и словообразование) не может основываться на фонетике и писаться, исходя из фонетического уровня: в этом случае грамматические типы удвоятся, утроятся, удесятерятся. Грамматика не может составляться и на основе графико-орфографической [9]: в этом случае грамматическая структура не всегда будет ясной, так как графика и орфография представляют собой явление историческое, освященное длительной традицией, и между ними и фонемным (может быть, точнее сказать — морфо-фонемным) составом слов обычно не бывает однозначных отношений. Такой задачи графика и орфография даже и не ставят: у них свои задачи, среди них главные — обеспечить бесперебойное, незатрудненное чтение, без перевода на звуковой язык (с точки зрения читателя) и последовательное, по возможности без исключений, единое для каждой морфемы написание (с точки зрения пишущего). Подлинная грамматика языка может основываться только на собственно языковом уровне, в равной мере заложенном в сознании и пишущего, и читающего: это уровень фонемный, или морфо-фонемный, производными от которого являются как произносительная система, так и система графико-орфографическая. Именно через идеальную фонематическую систему объединяются реальные фонетический и графико-орфографический «языки», осуществляется языковое общение, как устное, так и письменное.

Остается сказать, что долгие (двойные) согласные и сочетания согласной с /j/ в «правой» части слова в белорусском всегда находятся на стыке морфем (морфемном шве) — на стыке корня + флексия, корня + суффикс /-j-/ + флексия.

---

[8] См.: Ф. П. Филин, указ. соч., стр. 323—329. Здесь я не касаюсь характера смягчения «переходного» или «непереходного» (если употребить эти малоудачные старые термины), а также фонологического статуса отношений /t/, /d/, /s/, /z/ и /c'/, /d͡z'/, /s'/, /z'/ (мягкие могут быть не только палатализованные, но и палатальные /c''/, /d͡z''/, /s''/, /z''/). См.: Л. Э. Калнынь, Категория твердых и мягких согласных в белорусском языке, «Уч. зап. ун-та славяноведения АН СССР», XVII, М., 1959.

[9] Однако при наличии специальной и осознанной цели грамматика (морфология, словообразование) может строиться на графико-орфографической основе. Ср. интересный «Опыт описания русского языка в его письменной форме» (М., 1964) З. М. Волоцкой, Т. Н. Молошной, Т. М. Николаевой.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1978

САНЖЕЕВ Г. Д.

ОБ АЛЛОФОНАХ ДОЛГИХ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ

I. В монгольских языках гласные по своей длительности делятся на сверхдолгие, долгие [1], краткие и редуцированные, или, как их часто называют, «неясные», которые фонологически выяснены уже давно. Однако такое четырехступенчатое деление монгольских гласных до сих пор еще не изучено с точки зрения определения его значения в сегментно-синтагматической системе потока речи.

Кимографическое исследование длительности калмыцких гласных успешно осуществлено Д. А. Павловым и П. Ц. Биткеевым [2]. Между тем бурятские [3] гласные такому исследованию еще не подверглись, их длительность установлена слуховым методом, и выводы, полученные этим методом, не расходятся с результатами лабораторных работ по калмыцким гласным. Заметим, что разница в длительности между краткими и редуцированными гласными бурятского языка незначительна и почти равна нулю по сравнению с тем, что находим в халхаском и особенно калмыцком языках. Что же касается сверхдолгих, долгих и кратких гласных, то их длительность примерно одинакова в халхаском, калмыцком и бурятском языках.

Важно отметить, что во всех трех названных языках конечный гласный в односложных открытых словах всегда является долгим, каковым становится и такой гласный, который исторически был кратким. В этой связи примечательны две основы личных местоимений 2-го лица (ввиду однородности показаний всех монгольских языков здесь покажем лишь халхаские формы): *чи*: (орфографически *чи*, форма им. падежа) «ты», *чин-* и *чам-* (орфографически так же, основы для соответственно род. и прочих падежей); *та*: (орфографически *та*, форма им. падежа) и *тан-* (орфографически так же, основа для косв. падежей). В монгольских языках имеется подчеркнуто-вежливая форма от *та*: в виде *та*::*нар* (орфографически *та нар*, но бурят. *таанар*), т. е. как бы удвоенная форма мн. числа со значением, которое примерно соответствует тому, что по-русски передается на письме заглавной буквой: Вы (т. е. *та*: «вы», а *та*::*нар* «Вы»). Имеется еще одна удвоенная форма мн. числа этого же местоимения от *та*:

---

[1] Д. А. Павлов их соответственно называет «долгими» и «полудолгими» (см. его «Современный калмыцкий язык. Фонетика и графика», Элиста, 1968).

[2] Д. А. Павлов, указ. соч.; П. Ц. Биткеев, Проблемы фонетики калмыцкого языка, Элиста, 1975.

[3] «Халхаским» называется диалект, на основе которого сложился современный монгольский национальный язык. Монголистика не имеет двух терминов с родовым и видовым значениями, таких, как, например, «славянский» и «русский» или «германский» и «немецкий». Поэтому термин «халхаский» часто применяется вместо «монгольский» в его видовом значении, а последний употребляется в его родовом значении. Здесь же этот термин используется нами применительно к явлениям именно халхаского диалекта, отраженных в современной монгольской орфографии. Что же касается гласных внутреннемонгольских диалектов, распространенных в Китае, то результаты их кимографического исследования пока нам не известны.

в виде *та: ну:с* (орфографически слитно *таанууc*, бурят. *таанад*) «вы» (при пренебрежительном обращении ко многим, особенно вышестоящих к нижестоящим). В этих примерах удвоенные формы мн. числа *та::нар* и *та::ну:с* образованы от формы им. падежа *та:* (но не от основы для косвенных падежей, в которых гласный [-а-] является кратким), долгий [а:], которой становится сверхдолгим, при наращении суффиксов *-нар* и *-ну:с* оказавшись в неконечном слоге [4].

Поэтому нельзя согласиться с утверждением Д. А. Павлова, что «в словах *чи* „ты" и *чи* „вишня" гласные имеют одинаковую длительность (верно! — *Г. С.*). Между тем по своему происхождению гласный [и] в слове *чи* „вишня" является долгим (следовательно, стал он кратким, что ошибочно.— *Г. С.*). Это обнаруживается, если эти слова поставить в косвенном падеже: от слова *чи* „ты" (формой род. падежа.— *Г. С.*) будет *чини* „твой". Здесь длительность коренного [и] в род. падеже в целом сохраняется без изменения (на самом деле в *чи* „ты" „коренной" [и] стал долгим, но сохранился как краткий в *чини.*— *Г. С.*). От слова *чи* „вишня" (формой того же падежа.— *Г. С.*). будет *чиһим* „вишни". Здесь гласный [и] стал долгим» (следовало сказать: долгий [и:] стал сверхдолгим, по калмыцкой орфографии соответственно [и] и [ии].— *Г. С.*) [5]. При этом Д. А. Павлов не касается того, какова же абсолютная длительность этих гласных в сигмах. Поэтому приведем его же данные по другим примерам, из которых видно, что длительность долгих гласных в среднем составляет 22,6 сигмы, например, гласный [у:] в словах *му* «плохой», *нуурт* «в озере» и *дун* «песня» имеет длительность соответственно 24,6, 17,1 и 19,7 сигмы, а гласный [о:] в слове *то* «количество» — 28,8 сигмы. Длительность же сверхдолгих гласных в среднем составляет 30,5 сигмы, например, [у::] в словах *нуурт* «в озере» — 26,6, *дуунд* «в песне» — 30,5, гласный [о::] в словах *тоосн* «пыль» — 31,5, *тоо* «в количестве» — 33,5, а гласный [а::] в слове *цаасн* «бумага» — 30,3 сигмы. Следовательно, долгие гласные по своей длительности относятся к сверхдолгим как 1 : 1,5 (в среднем).

Длительность кратких гласных первого слога (в непервых словах гласные оказываются или интерпретируются редуцированными и на письме калмыками не обозначаются) Д. А. Павловым выявлена на следующих примерах: *тосн* «масло» — 14,5, *харада* «ласточка» — 9,6, *ах* «старший брат» — 8,0, *худг* «колодец» — 9,0, *ботхн* «верблюд» — 8,0, *бичг* «письмо» — 7,5 сигмы, т. е. в среднем 9,4 сигмы.

Долгие гласные в непервых слогах, закрытых, имеют длительность в следующем виде: долгий [у:] в словах *хадур* «серп» — 11,9, *матур* «подпруга» — 12,0, *адун* «табун лошадей» — 13,2, долгий [ə:] в словах *көрəд* «замерзнув» — 12,4, *чирəд* «потащив» — 13,4 сигмы, т. е. в среднем — 12,6 сигмы [6]. Как видно из приведенных цифр, долгие гласные в непервых слогах оказываются ближе к кратким гласным (12,6 : 9,4), нежели к долгим же гласным в односложных словах (12,6 : 22,6).

Именно поэтому у Д. А. Павлова мы находим утверждение, что «... в калмыцком языке выделяется относительная зона длительности кратких гласных, зона длительности долгих гласных и промежуточная зона, куда входят гласные открытых и закрытых односложных слов, а также гласные открытых непервых слогов многосложных слов. Эти гласные открытых односложных, а также непервых слогов многосложных акустически про-

---

[4] О формах «вежливости» см.: Р. Жагварал, Монгол хэлний хүндэтгэлийн үг, Улаанбаатар, 1976.

[5] Д. А. Павлов, указ. соч., стр. 48. Долгота гласного [и:] в калмыцком тюркизме *чи* «вишня» отражает тюркский двоеслог: кирг. *чие* или казах. *шие* «вишня». Калмыцкие слова приводятся в их орфографических написаниях.

[6] Д. А. Павлов, указ. соч., стр. 44—51.

изводят впечатление полудолгих гласных. Указанные гласные, произносимые акустически как полудолгие, фонематически классифицируются как краткие... Полудолгие (т. е. долгие.— *Г. С.*) гласные... не имеют фонематического значения» [7]. Объясняется такое неожиданное заключение тем обстоятельством, что в калмыцком языке фонематическое различие между краткими и долгими («полудолгими», по терминологии Д. А. Павлова) гласными обнаруживается в составе весьма немногих слов и поэтому орфографически не отмечается (единственное исключение: *эм* «лекарство» — *ээм* «плечо»),— здесь речь идет о явлениях в односложных словах. Сказывается здесь, конечно, и то, что в определенных позициях длительности кратких гласных первого слога и долгих гласных последнего слога или односложного слова начинают как бы сближаться. Имеет решающее значение и опора на контекст, при котором различие между гласными по их длительности как бы отходит на задний план (явление психологической доминации!), например, *дулан зун* «теплое лето» — *зун* (орфографически вместо *зуун*) *кило* «сто кило». Ср. русск. при опущенных знаках ударения *ключ входит в замок* и *гость входит в замок.*

Такого рода утверждения и орфографические правила (согласно которым по-калмыцки краткие гласные обозначаются только в первом слове, а долгие гласные удвоенным написанием соответствующих букв — только в первом слоге многосложных слов, а в непервых слогах — одинарным написанием) отсутствуют в теоретических и практических пособиях по халхаскому и бурятскому языкам. Объясняется это тем, что в лексике этих языков в значительно большей мере, нежели в калмыцком, имеются такие пары слов, семантическое различие между которыми обусловлено оппозицией долгих и кратких гласных, например: халх. *аг* «сильно, крепко» — *ааг* «часть острия»; *дэл* «грива» — *дээл* «шуба, халат»; *сад* «бурно, фонтаном» — *саад* «помеха»; *сам* «гребенка» — *саам* «предлог, повод»; *ур* «желвак, нарост на дереве» — *уур* «пар»; бурят. *хэр* «каково» — *хээр* «гнедой», *бал* «мед» — *баал* «вал сена» (из русск. *вал*). Впрочем такие пары имеются в немалом количестве и в калмыцком языке [8].

Как бы ни обстояло положение вещей в монголоведных фонетических штудиях, все же отметим, что в калмыковедении имеется еще более далеко идущее заключение относительно длительности гласных. Так, например, долгие («полудолгие») и краткие гласные интерпретируются П. Ц. Биткеевым как звуки одной и той же краткой длительности, как фонематически однородные, причем те «краткие», которые в монголистике называются долгими (по Павлову — «полудолгие»), определяются как «ясные», как «восходящие исторически к долгим гласным и дифтонгам» [9]. К сожалению, осциллографические данные П. Ц. Биткеева чрезвычайно хаотичны, а потому не дают надежной опоры для определенных и точных заключений. Например, длительность долгого [а:] («ясного», по Биткееву) разные дикторы показывают различную, скажем, в слове *утан* «дым» (в переводе на сигмы): 20,2, 15,5 и 7,6 [10].

В современном калмыцком литературном языке долгие гласные, как уже выше сказано, в односложных словах и непервых слогах многосложных слов обозначаются одинарной гласной буквой так же, как и краткий гласный в первом слоге. Это привело к появлению большого количества графических омонимов, таких, как: *таг* «полка» — *таг* (*та:г*) «пусть угадает»; *тег* «как раз, прямо» — *тег* (*те:г*) «степь»; *сер* «тихий» (о ветре) —

[7] Там же, стр. 45.
[8] П. Ц. Биткеев, указ. соч., стр. 66—68 и 80.
[9] Там же, стр. 65—81.
[10] Там же, стр. 82. Данные П. Ц. Биткеева нами приводятся округленно и в переводе на сигмы для единообразия с данными Д. А. Павлова.

сер (*се:р*) «шейный позвонок», *бог* «сор» — *бог* (*бо:г*) «лопаточная часть спины» и т. д. Естественно, возникает вопрос: если различные лексические значения подобных графических омонимов могут быть понятны только в контексте, то как же обстоит дело в живой речи? Во-первых, как уже было сказано выше, различие между долгими и краткими гласными все же имеется, хотя и незначительное, а поэтому одного этого уже достаточно, чтобы в живой речи не находить акустические омонимы. Во-вторых, здесь следует отметить одно очень важное обстоятельство фонологического порядка, которое до сих пор не привлекало к себе должного внимания монголистов. Дело в том, что на слух долгий гласный воспринимается с гораздо большей отчетливостью и большей ясностью, нежели сверхдолгие, что особенно ощутительно в словах, в которых имеются и сверхдолгий и долгий гласные, например, калм. *баатртан* (*ба::тарта:н*) «своему герою». В этом слове сверхдолгий [а::] на некотором расстоянии от говорящего на слух улавливается менее отчетливо, нежели долгий [а:], как это показали эксперименты, проведенные нами в Элисте среди калмыков разных возрастов. Здесь же, в Элисте, местным русским на расстоянии произносилось прилагательное *прекра́сное* с нарочито протяжным гласным [е] первого слога, и экспериментируемые отчетливо слышали ударный [е́], а не «удлиненный» [е].

Монголисты-фонетисты не учитывают этого обстоятельства потому, что они изучают признак длительности в монгольском вокализме с точки зрения фонологического значения, а не повышения тона [11]. Между тем долгие гласные в монгольских языках не могут произноситься без повышения тона, тогда как сверхдолгие и краткие не могут произноситься, наоборот, с повышением тона. Однако отсюда еще далеко до вывода о том, что в монгольском вокализме повышение тона является доминирующим фонологическим признаком. Такой вывод был бы правомерен только в том случае, если бы в монгольском вокализме вообще исчезло фонологическое различие между сверхдолгими и долгими гласными, с одной стороны, и краткими — с другой, как это произошло, например в казахском языке с его образовавшимися омонимами типа *жақ* «щека» и *жақ* «сторона, край» (ср. кирг. *жаак* «челюсть» и *жак* «сторона»), во-первых. А во-вторых, «нужно» было бы, чтобы в монгольском слове возможен был только один долгий гласный, подобно тому как в русском слове ударным может быть только один гласный. Известно, что в монгольском слове может быть две или три долгих гласных фонемы, например, бурятск. *таараараа* (*та:: ра::ра:*) «своим половиком» и т. д.

Суть изложенного заключается в том, что сверхдолгие и долгие гласные оказываются аллофонами одних и тех же фонем, одинаково противопоставленными кратким и редуцированным аллофонам одних и тех же кратких фонем. Отсюда нетрудно видеть, что повышение тона при произношении долгих гласных обусловлено их позиционным положением, но не

[11] Правда, монголисты мельком говорят о том, что монгольские гласные отличаются друг от друга не только по своей длительности, но и по напряженности; см.: И. Д. Б у р а е в, Звуковой состав бурятского языка, Улан-Удэ, 1959, стр. 124—127; П. Ц. Б и т к е е в, указ. соч., стр. 151; Д. А. П а в л о в, указ. соч., стр. 55 (о согласных). Но в монголоведной экспериментальной фонетике еще не сделано то, что с успехом осуществлено в замечательных работах С. Куренова по туркменскому вокализму [«Долгие и краткие гласные в туркменском языке», Ашхабад, 1971 (на туркм. яз.)]. Кстати, из работ этого ученого выясняется или можно сделать вывод, как и следовало ожидать (как известно, в тюркских языках ударение падает на последний слог, а в монгольских — на первый), что в туркменском языке долгие гласные односложных слов длительнее тех же гласных первых слогов многосложных слов (*а::т* «имя», но *а:тлы* «именитый»), тогда как в монгольских — наоборот (*де : л* «шуба», но *де::ле:р* «шубой»).

фонологическим назначением сравнительно со сверхдолгими гласными. *Любопытно*, что не-монголы на слух не улавливают различие между краткими и сверхдолгими гласными, произносимыми без повышения тона, поскольку они «ищут» в любом монгольском слове гласный с повышением тона, вместо *булаг* слыша *булáк* «ключ, источник», *алтáн* вместо *алтан* «золото» и т. д.

Сверхдолгий гласный имеет длительность примерно в 30 сигм и акустически напоминает собою русский ударный гласный, произносимый с эмфатически протяжной интонацией, например, при вопросе: *Лоошадь? Разве она таам?* Длительность долгого гласного колеблется в разных позициях в слове от 21 сигмы до 10 сигм, а на слух этот звук подобен русскому ударному гласному в словах типа *тáм*, *дóм*, *дýма* и т. д. Что же касается краткого гласного, то он производит акустическое впечатление неударных гласных в предударных слогах типа *хлебо*(*рóб*), *коло*(*кóльня*), *ре*(*ка́*), *ал*(*мáз*), *ту*(*мáн*), *иг*(*ра́*) и т. д. и имеет длительность от 9 до 15 сигм. Краткий гласный односложных слов П. Ц. Биткеевым трактуется фактически так же, как долгий таких же слов и непервых слогов в многосложных словах, под общим наименованием «ясных» гласных, что, однако, осциллографическими данными, к сожалению, не подтверждается. При этом утверждается, что «односложные слова, гласные которых восходят или к долгим гласным, или к кратким гласным,... в современном их произношении воспринимаются одинаково, как краткие» [12]. Далее приводится список слов типа *чиг* «направление» — *чиг*(*чи* : *г*) «сырость» (соответственно халхаские *чиг* — *чийг*). Эти фонетические явления, несомненно, должны стать предметом психолингвистического исследования. Дело в том, что при этом имеет место, так сказать, семантическая доминация контекста над реальной фонетической и, следовательно, фонематической стороной. Возможно также, что здесь проявилось влияние орфографии современного калмыцкого литературного языка на произношение дикторов П. Ц. Биткеева, т. е. лиц молодого поколения (такие утверждения нельзя слышать от бурятоведов и халхасоведов). Кроме того, как уже сказано, это объясняется также неполнотой экспериментального исследования калмыцкого вокализма, т. е. отсутствием конкретных данных о разной степени повышения тона при произношении гласных.

Фонологически невозможно не проводить различия между краткими и долгими (по Павлову — «полудолгими», а по Биткееву — «ясными») гласными, поскольку абсолютная длительность этих звуков все же различна; хотя грани между ними иногда стираются, но не до конца. Но самое главное заключается в том, что долгие гласные односложного слова или последнего слога многосложного слова становятся сверхдолгими, в ходе словоизменения или словообразования оказавшись в непоследнем слоге многосложного слова. Это явление предусматривается в действующей ныне калмыцкой орфографии и отмечается в орфографических словарях звездочкой, например: *дун** (читай *ду:н*) «песня», но *дуунд* (*ду::нд*) «в песне»; *то** (*то:*) «количество», но *тоонд* (*то::нд*) «в количестве»; *нур** (*ну:р*) «озеро», но *нуурт* (*ну::рт*) «в озере»; *хөн** (*хө:н*) «овца», но *хөөч* (*хө::ч*) «чабан» и т. д.

Такого «удлинения» краткие гласные не знают, в чем и состоит их существенное отличие от долгих гласных.

Остается сказать несколько слов о длительности редуцированных (так называемых «неясных») гласных (калм. *тодорха биш*, халх. *балархай*), качество которых полностью зависит от качества нередуцированных гласных предыдущих слогов. По данным П. Ц. Биткеева получается,

[12] П. Ц. Биткеев, указ. соч., стр. 65.

что в последнем закрытом слоге многосложного слова длительность «неясных» гласных в среднем составляет 5,2—5,3 сигмы, а в открытом— 9,8—10,4 сигмы, а в середине многосложных слов — 6,0 сигмы (от 1,4 до 10,5) [13]. Эти различия по длительности редуцированных гласных легко объясняются разными стилями произношения, при которых, во-первых, никогда не имеет места повышение тона, что присуще лишь долгим гласным, а, во-вторых, эти гласные могут быть не короче кратких гласных первого слога. Например, халх. орфографическое *хар* «черный» может произноситься в виде *хар* (апокопа ← *хара!*) (длительность конечного [а] может выразиться в сигмах от 1,4 до 10,5), что никак не влияет на значение данного слова. Такую картину можно наблюдать в калмыцком и халхаском языках (в бурятском значительно реже) и тогда, когда конечный гласный следует после взрывных согласных, например, халх. *бат* (апокопа ← *бата* ← *бату*) и *бата* «крепкий», *бид* (← *биде*) и *бидэ* «мы», *хуц* (*хуца* ← *хуча*) и *хуца* «баран» и т. д. Изложенное не означает, однако, что для монгольских языков вообще безразлично, произносится ли согласный последнего слога с конечным гласным или без него. В словах типа халх. *гар* «рука», *гал* «огонь», *эм* «лекарство», *хэрэг* «дело» и т. д. парагогические наращения конечных гласных невозможны. Конечно, в стиле быстрой диалогической речи явления апокопы почти всегда обычны. С данными П. Ц. Биткеева не расходятся в основном заключения Д. А. Павлова: «Редуцированные гласные (в калмыцком языке.— *Г. С.*) конечной позиции слова сравнительно легко воспринимаются на слух как какой-то неопределенный неясный звук, тогда как в неконечных позициях слова эти гласные почти не воспринимаются простым ухом» [14]. Поэтому Д. А. Павлов обозначает такой звук твердым знаком [ъ]. Но поскольку, как замечено выше, качество редуцированных гласных зависит от такового предыдущих нередуцированных гласных, представляется справедливым, когда П. Ц. Биткеев в своей транскрипции отражает качественные различия таких гласных разными знаками: [ʌ̀], [ə̀] и [ì]. Однако совершенно невозможно согласиться с П. Ц. Биткеевым, когда он пишет, что «неясные гласные калмыцкого языка являются самостоятельными фонемами, противопоставленными кратким и долгим гласным своей очень слабой напряженностью» [15]. Во-первых, наш автор не обосновал это утверждение ни одним примером. Во-вторых, эти три различные редуцированные гласные никогда не могут находиться в одной и той же фонетической позиции, как это фактически показано в описании этих звуков у самого П. Ц. Биткеева. В-третьих, если бы редуцированные гласные были «самостоятельными фонемами», то в калмыцком языке можно было бы найти хотя бы одно слово, в котором его вокализм состоял бы из одних таких гласных, что совершенно невозможно (аналогично тому, как, например, в русской лексике нет ни одного слова только с одним или несколькими неударными гласными).

В калмыцком и халхаском литературных языках редуцированные гласные не обозначаются, а если в халхаском и обозначаются, то по строго определенным правилам, которые можно найти во всех пособиях по монголоведению. Поэтому в калмыцкой прессе часто появляются слова с несколькими согласными буквами, как, например, *көдлмшчнрт* (т. е. *көделмерчинерте* в стиле полного произношения) «рабочим». По-бурятски эти гласные в основном обозначаются полностью. Примеры: калм. *тергнд*, халх. *тэргэнд*, бурят. *тэргэндэ* «на телегу»; калм. *керг*, бурят. и халх.

[13] Эти цифры выведены нами по материалам П. Ц. Биткеева (см. указ. соч., стр. 127—137).

[14] Д. А. Павлов, указ. соч., стр. 55.

[15] П. Ц. Биткеев, указ. соч., стр. 126.

хэрэг «дело»; калм. *алдрт*, халх. *алдарт*, бурят. *алдарта* «славный, знаменитый»; калм. и халх. *ард*, бурят. *арада* «позади»; калм. *арзһрт*, халх. *арзгарт*, бурят. *арзагарта* «шереховатому».

Что же касается орфографической передачи нередуцированных гласных, то ее можно изложить следующим образом: 1) краткие гласные передаются одинарным написанием гласных букв (примеры см. выше); 2) долгие гласные по-бурятски и по-халхаски — удвоенным написанием, а по-калмыцки — одинарным: халх. *дуу*, бурят. *дуун*, калм. *дун* «песня»; халх. и бурят. *дулаан*, калм. *дулан* «тепло»; 3) сверхдолгие — удвоенным написанием: калм. *даарх*, халх. *даарах*, бурят. *даараха* «зябнуть»; калм. *геех*, халх. *гээх*, бурят. *гээхэ* «терять». Фонологически же второе и третье правила излагаются следующим образом: долгие гласные фонемы по-бурятски и по-халхаски изображаются во всех слогах удвоенным написанием, а по-калмыцки — только в первом слоге, а в непервых слогах — одинарным.

II. Таким образом, в монгольских языках гласные по своей длительности делятся на: 1) сверхдолгие, 2) долгие, 3) краткие и 4) редуцированные, или «неясные». Первые и вторые — аллофоны долгих гласных фонем, а третьи и четвертые — аллофоны кратких гласных же фонем. Фонематичность долгих и кратких гласных в монгольских языках настолько общеизвестна, что можно здесь ограничиться немногими примерами из бурятской лексики (халхаские и калмыцкие тут не приводятся по орфографическим обстоятельствам: необозначение в письме кратких гласных в непервых слогах); *дара-* «давить» — *даара-* «зябнуть»; *дэрэ* «изголовье» — *дээрэ* «наверху, на»; *ула* «подошва» — *улаа* «подвода» — *уула* «гора»; *тоно-* «грабить» — *тооно* «сорняк, куколь»; *харин* «однако» — *хариин* «чужого племени, чужеземный» и т. д. И с фонологической точки зрения монгольские гласные достаточно, оказывается, подразделить на две указанные группы. Но четырехступенчатое деление этих гласных имеет важное сегментное, или сегментно-синтагмическое, значение. Дело в том, что сверхдолгие, долгие, краткие и редуцированные гласные в монгольских языках строго обусловлены их позициями в слове, что очень важно в лексико-морфологическом плане.

Сверхдолгие гласные могут быть только в неконечном слоге многосложного слова, например: калм. *ду::на:*, бурят. *ду::нä:*, халх. *ду::ны:* (соответственно — *дууна*, *дуунай* и *дууны*; здесь и ниже в скобках приводятся орфографические формы примеров) «песни» (род. п.); калм. *дөрä::тä:*, бурят. *дүрө::те:* халх. *дөрө::те:* (*дөрэтэ*, *дүрөөтэй*, *дөрөөтэй*) «имеющий стремя»; калм. *темä::ндä:н*, бурят и халх. *теме::нде:* (*темэндэн*, *тэмээндээ*) «своему верблюду».

Долгие гласные могут быть только в односложных словах и конечном слоге многосложного слова, например: калм., бурят. и халх. *ху:р* (калм. *хур*, бурят. и халх. *хуур*) «смычковый музыкальный инструмент»; калм. *ке:р*, халх. *хе:р*, бурят. *хе:р* и *хеjер* (*кер*, *хээр*, *хээр* и *хэер*) «гнедой»; калм. *дола:н*, халх. *доло:*, бурят. *доло:н* (*долан*, *долоо*, *долоон*) «семь». Выше уже упоминалось, что долгие гласные становятся сверхдолгими, в ходе морфологического изменения слова оказавшись в неконечном слоге.

Краткие гласные, которые иногда называются «нормальными», встречаются только в первом слоге многосложных слов и в односложных словах и ни при каких фонетических и морфологических условиях не могут становиться долгими или тем более сверхдолгими, например: калм. *дуран*, халх. и бурят. *дура* (*дурн*, *дур*, *дура*) «воля, желание, любовь»; калм., халх. *чоно*, бурят. *шоно* (*чон*, *чоно*, *шоно*); калм. *ер*, халх. *ер* ~ *ере*, бурят. *ере* (*эр*, *эр*, *эрэ*) «мужчина»; калм., халх., бурят. *ем* (*эм*) «лекарство». Однако в стиле полного или нарочито замедленного произношения краткие глас-

ные могут быть и в непервых слогах, поскольку такими становятся в этих случаях редуцированные гласные [16].

Остается сказать несколько слов относительно дифтонгов в халхаском и бурятском языках (в калмыцком языке все дифтонги превратились в долгие монофтонги), дифтонгов, которые в количественном отношении аналогично долгим фонемам реализуются как сверхдолгие и долгие аллофоны, причем последние имеют тенденцию превратиться в долгие монофтонги. Причем такие долгие монофтонги сохраняют морфологические свойства дифтонгов: имена с такими конечными долгими гласными в форме генитива принимают аллосуффикс *-н*, например, халх. *шоро:н* от *шоро:* ← *шорое:* ← **шораи* «прах, сор», тогда как имена с собственно конечными долгими гласными — аллосуффикс генитива же *-ги:н*, например, *жоро::ги:н* от *жоро:* «иноходец». (В калмыцком языке, в котором все дифтонги превратились в долгие монофтонги, аллосуффикс генитива *-н* принимается многосложными словами, имеющими конечный долгий гласный, тогда как аллосуффикс *-ŋи:н* — односложными именами с конечным долгим гласным, например, *ноха:н* от *ноха:* ← *нохаи* «собака», но *ца::ŋи:н* от *ца:* ← *цаи* «чай», ср. соответственно халх. *нохоең* и *цаең*. Такая «перестановка» аллосуффиксов генитива в калмыцком языке произошла вследствие того, что прежде многосложных слов с конечными дифтонгами было значительно больше, чем слов с конечными долгими гласными.)

Из сказанного нетрудно видеть, что сверхдолгие дифтонги надо рассматривать наравне со сверхдолгими гласными, а долгие дифтонги и долгие монофтонги дифтонгоидного происхождения — однозначно с долгими гласными, так как долгие дифтонги становятся сверхдолгими, оказавшись в неконечном слоге, например, халх. *шоро:* ← *шорое:* «прах, сор», но *шорое::ги* (вин. п.) [17].

Подытоживая все вышеизложенное, можно отметить следующие явления в сегментно-синтагматической системе монгольских языков:

1. В односложных словах не могут быть сверхдолгие и редуцированные гласные, так же как вокализм многосложных слов не может состоять из одних сверхдолгих, из одних долгих или одних редуцированных гласных.

2. В смежных слогах двух слов, т. е. в конечном слоге предыдущего слова и начальном последующего слова, совершенно невозможны последовательности двух сверхдолгих или двух же редуцированных гласных.

3. Наличие в таких смежных слогах двух кратких гласных возможно в случае, когда предыдущее слово оказывается односложным, например: халх. *мал услах* «поить скот», бурят. *гол зорилго* «основная задача», калм. *гер хаша* «строения» (буквально «юрта и двор»).

---

[16] Так как гласные фонемы «нормальной» длительности в неконечных словах обычно редуцируются, знак редукции, или сверхкраткости, в транскрипции оказывается излишним.

[17] Описания этих дифтонгов, определенных слуховым методом, имеются во всей монголоведной литературе (здесь мы укажем лишь последние работы). См., например: Ш. Л у в с а н в а н д а н, Орчин цагийн монгол хэлний зүй. Авианы бүтэц [«Современный монгольский язык. Звуковой строй»], Улаанбаатар, 1967. Методами лабораторного исследования халхаские и бурятские дифтонги определены недавно, см.: С у р е н г и й н М о о м о о, Система фонем современного монгольского языка. КД, Л.,'1970; Ж. Ц о л о о, Баруун халхын аман аялгуу [«Западно-халхаский говор»], «Халхын аялгуу» [«Халхаский диалект»], Улаанбаатар, 1970, стр. 135—221; И. Д. Б у р а е в, Т. П. Б а ж е е в а, Е. С. П а в л о в а, Атлас звуков бурятского языка, Улан-Удэ, 1975. К сожалению, в этих трудах нет точных данных о долготе гласных.

Только что нами получена серьезная работа монгольского ученого Ж. Ц о л о о «Орчин цагийн монгол хэлний авиа зүй» («Фонетика современного монгольского языка»), Улаанбаатар, 1976, основные выводы которой совпадают с выводами калмыцких фонетистов.

4. Наличие двух долгих гласных в таких же смежных слогах возможно только тогда, когда второе слово является односложным, а предыдущее — односложным или многосложным с долгим гласным в своем конечном слоге, например: калм. *мана*: *те:г* (*мана тег*) «наша степь»; халх. *хи:бу*: (*хий буу* в сочетании с глаголом *тавих* «стрелять холостым зарядом»); бурят. *жоро*: *хе:р* (*жороо хээр*) «гнедой иноходец», *мала*: *ту*: (*малаа туу*) «гони свой скот».

Таким образом, в монгольских языках границы между словами фонетически могут быть определены без каких бы то ни было затруднений. Это возможно и в случаях лексических или морфологических «сращений», что отражается в частичном разнобое в орфографии современных монгольских языков.

Например, в этих языках издавна бытует словосочетание *ду:гар-* «говорить, издавать звуки, подавать голос, откликаться, раздаваться» (о звуке). Компоненты этого словосочетания пишут то слитно в виде *дуугар-* [18], то раздельно в виде *дуу гар-* [19]. Раздельное написание компонентов данного словосочетания оправдано с фонетической точки зрения: в случае полного фонетического сращения этих компонентов гласный первого компонента *дуу* должен был бы стать сверхдолгим [у::]. Ср. составные собственные имена типа халх. *Лувсандэндэв*, *Дамдинсүрэн* и *Гармажав* (соответственно *Лувсан-Дэндэв*, *Дамдин-Сүрэн* и *Гарма-Жав*), которые, однако, пишутся слитно. В первом слоге вторых компонентов подобных составных имен гласные (здесь соответственно [э], [у] и [а]) являются «нормальными», т. е. краткими, а не редуцированными, тем самым свидетельствуя, что эти компоненты являются фонетически самостоятельными лексемами.

Равным образом халхаское написание лично-притяжательных частиц раздельно от соответствующих имен (особенно имеющих в конечном слог долгие гласные) в большей мере отражает фонетическую реальность, нежели в бурятском или калмыцком написаниях, например:

Халх.	Бурят.	Калм.
зээ минь	*зээмни*	*зэм* «мой внук» (от дочери)
зээ чинь	*зээшни*	*зэчн* «твой внук»
зээ нь	*зээнь*	*зенъ* «его, их внук»
зээ маань	*зээмнай*	*земдн* «наш внук»
зээ тань	*зээтнай*	*зетн* «ваш внук».

В этих примерах гласный [е:] (орфографически *ээ* и *е*) не становится сверхдолгим [е::], а потому халхаское раздельное написание лично-притяжательных частиц с фонетической точки зрения представляется более правильным, нежели бурятское и калмыцкое написания. Отметим, что в бурятском и калмыцком языках долгий [е:] в этом слове не становится сверхдолгим, несмотря на то, что приведенные частицы акустически сливаются с этим словом как бы в одно целое. Подобные разнобои в орфографии монгольских языков не единичны, ср. халх. *аж байдал* «жизнь, образ жизни», *аж ахуй* «хозяйство», *аж үйлдвэр* «промышленность» и т. п., которым соответствуют бурятские, фонетически такие же, но орфографически отличающиеся: *ажабайдал*, *ажахы*, *ажаүйлэдбэри*. Слитное написание словосочетаний в монгольских языках ничего общего не имеет со слитным

[18] К. Далхжав, Ц. Цэрэнчимэд, *Зөв бичих зүйн толь бичиг* [«Орфографический словарь»], Улаанбаатар, 1974, стр. 119; «Русско-бурятский словарь» под ред. Ц. Б. Цыдендамбаева, М., 1954, стр. 105.

[19] «Монгольско-русский словарь» под общей ред. А. Лувсандэндэва, М., 1957, стр. 160; Ц. Дамдинсурэн, А. Лувсандэндэв, Русско-монгольский словарь, Улан-Батор, 1967, стр. 305.

написанием русских сложных слов типа *хлебозаготовка*, *паровоз* и т. д. (иногда встречается калькирование на письме типа бурят. *таряабэлэдхэл* вместо *таряа бэлэдхэл* «хлебозаготовка», хотя по орфографическим нормам это не допускается).

В бурятском и халхаском языках имеются по существу два слова, восходящие к одному и тому же общемонгольскому *үгеи*: халх. и бурят. *гүй* «без, не имеющий» и халх. *үгүй*, бурят. *үгы* «нет, отсутствие». Первое из этих слов, которое можно уже считать частицей, пишется слитно с предшествующим словом: халх. *ажилгүй*, бурят. *ажалгүй* «безработный, не имеющий работу»; халх. и бурят. *ухаангүй* (*уха:н гүй*) «безумный». Второе же слово пишется раздельно: халх. *ажил үгүй*, бурят. ажал *үгы* «работы нет» (это возможно и тогда, когда нет и безработных); халх. *ухаан үгүй*, бурят. *ухаан үгы* «ума нет» (здесь также *уха:н*, иными словами, при *-гүй* долгий [а:] не становится сверхдолгим [а::]). Еще один пример: халх. *жороо үгүй* (здесь) «иноходца нет» и *жороогүй* «не имеющий иноходца» (здесь долгий [о:] не становится сверхдолгим; в первом случае подразумевается, что отсутствует вообще имеющийся иноходец).

Одним словом, если лексическое происхождение компонентов словосочетания, которые могут фонетически частично сращиваться, оказывается вполне зримым, то долгие гласные, оказавшись в неконечном слоге, сверхдолгими не становятся, каким бы фонетическим изменениям ни подвергался вокализм следующих слогов. Иначе говоря, долгие гласные становятся сверхдолгими лишь перед суффиксами словоизменения и словообразования. Именно поэтому долгие гласные не становятся сверхдолгими перед вопросительными и модальными частицами, которые не являются неотъемлемыми морфемами, или частями, слова, как бы они ни произносились слитно с последним (отсюда слитное написание этих частиц со словами в калмыцком письме и раздельное в бурятском и монгольском). Ср. калм. *хаша:j* — *и*?, бурят. *хаша:гу:*, халх. *хаша:у:* (соответственно орфографически *хашай*, *хашаа гу*, *хашааүү*? «не двор ли?»); калм. *хаша:л*, бурят. *хаша:ла*, халх. *хаша:л* (*хашал*, *хашаал* ~ *хашаа лэ*, *хашаа л*) «(ведь это) двор». Но если, например, лично-притяжательные частицы, как известно, зримо восходят к личным местоимениям в форме род. падежа (а потому конечные долгие гласные имен с этими частицами сверхдолгими не становятся, см. примеры выше *зээ минь* и т. д.), то совершенно невозможно сказать, к чему восходят частицы безличного, или возвратного, притяжания *-а:* (*-е:*,*-о:*, *-ө:*) или суффиксы мн. числа *-нар* (*-нер*, *-нор -нөр*), а потому в соответствующих именах долгие гласные перед этими морфемами становятся сверхдолгими. Например (в скобках — орфографические формы):

Калм.	Бурят.
зе: (зе)	*зе : (зээ)* «внук» (от дочери)
зе: : ӈä:н (зееһэдн)	*зе : : ге : (зээгээ)* «своего внука»
зе: :нер (зеенр)	*зе : : нер (зээнэр)* «внуки»
то: (то)	*то : (тоо)* «число»
то: : ӈа:н (тооһан)	*то : : го : (тоогоо)* «свое число».

Однако халх. *нар* считается «послелогом» для образования мн. числа и пишется раздельно, а после собственных имен людей имеет значение «и другие», например: *лам нар* «ламы, монахи»; *Баяр*, *Галсан нар* «Баяр, Галсан и другие». Но и в этом случае долгий гласный конечного слога перед этим «послелогом» становится сверхдолгим, например, *Дулма:* (*Дулмаа*) имя собственное женское *Дулма*, но *Дулма::нар* (*Дулмаа нар*) «Дулма и другие». Следовательно, эту морфему можно считать «послелогом» лишь применительно к ее употреблению в книжном стиле.

В потоке обычной диалогической речи все слова, конечно, произносятся как бы совершенно слитно, чего, разумеется, не бывает при нарочито замедленном темпе речи. И если такую диалогическую речь (или, например, публичное выступление оратора) записать в точной транскрипции или расшифровать ее магнитофонную запись, то представится возможность определить границу между морфемами (суффиксами), составляющими неотделимые части слова, с одной стороны, и частицами, не составляющими части слова (или не составляющими в прошлом, например, лично-предикативные частицы, восходящие к личным местоимениям и называемые иногда «аффиксами сказуемости») — с другой. В приводимых ниже примерах показывается, какое значение имеет, в плане излагаемого, необходимость различения сверхдолгих и долгих гласных (в скобках — орфографические формы): 1) халх. *хара:сан* (*хараа сан*), бурят. *хара:һан* (*хараа һан*) «видел», здесь *хара:* является причастием настоящего времени от глагольной основы *хара-* «видеть», а *сан* и *һан* — причастие прошедшего времени от омертвелой основы вспомогательного глагола **а-* «быть», сохранившееся в усеченной форме от **агсан* (*-гсан* — суффикс данного причастия); 2) халх. *хара::сан* (*хараасан*), бурят. *хара::һан* (*хараа һан*) «обругавший», здесь причастие прошедшего времени от глагольной основы *хара:-* «обругать»; 3) бурят. *хата:- ха* (*хатаа ха*) «видимо, высохло»: *хата:* —причастие настоящего времени совершенного действия от *хата-* «сохнуть», *ха* — причастие настояще-будущего времени (от указанной выше омертвелой основы **а-*) ← *аха* ← *аку*. Любопытно, что в бурятских вспомогательных глаголах *һан* и *аха* остались лишь причастные суффиксы, тогда как сами глагольные основы выпали (как если бы от русских *был* и *быть* остались только *л* и *ть*!); 4) *хата::ха* (*хатааха* «имеющий сушить» — форма того же причастия от *хата:-* «сушить»; 5) бурят. диалектн. *жоро:ји* (*жороо гу*)? «не иноходец ли?»; 6) *жоро::ји* (*жорооо*) «иноходца» (вин. п.); 7) бурят. *хара:да:* (*хараа даа*) «бесспорно, видел», здесь причастие настоящего времени совершенного действия от хара- «видеть с утвердительной частицей *да:* «ведь, бесспорно»; 8) *хара::да:* (*хараадаа*) «предусмотрел» — здесь форма того же причастия от *хара::да-* «предусмотреть».

Если эти примеры транскрибировать без различения сверхдолгих гласных от долгих, то было бы невозможно понять, чем по значениям нечетные примеры отличаются от четных (примерно как в русских *мука́* и *му́ка* или *замо́к* и *за́мок*, если не проставлять знак ударения).

Однако собеседники в подобных случаях на слух улавливают разницу между сверхдолгими и долгими гласными не по их длительности, которая у этих аллофонов долгих гласных фонем все же различна, а по наличию (у долгих гласных) или отсутствию (у сверхдолгих) заметного повышения тона. Однако отсюда не следует, что в монгольском вокализме, вопреки общепринятой точке зрения, долгота — краткость фонологически является сопутствующим признаком, а повышение тона (ударяемость — неударяемость) — существенным. Сверхдолгие и долгие гласные, будучи аллофонами долгих фонем, никогда не встречаются в одной и той же фонетической позиции (об этом, как и о том, что по этим аллофонам определяются границы между словами, говорилось выше). И если бы дело обстояло иначе, т. е. если бы сверхдолгие и долгие гласные были самостоятельными фонемами наряду с краткими и три степени длительности гласных имели фонематическое значение, то в монгольских языках мы могли бы найти такие три разных слова, которые по значению отличались бы друг от друга именно по этим фонетическим признакам. Например, при наличии *ула* «подошва» и *уда:* «подвода» (орфографически соответственно *ула* и *улаа*) в халхаском и бурятском языках нет (и не может быть) еще третьего слова со сверхдолгим [а::] в виде *ула::*, которое в таком случае

пришлось бы на письме передавать в виде *улааа* (с тройным написанием сверхдолгого [а::]). Равным образом при халх. *сур* «ремень» и *су:р* (суур) «корень оленьих рогов» отсутствует третье слово со сверхдолгим [у::], т. е. какое-нибудь *су::р*.

Долгота монгольских гласных фонематически лишь внешне идентична ударности гласных, например, в русском языке, хотя в монгольских русизмах русские ударные гласные отражаются как долгие или сверхдолгие: халх: *ба::за* «ба́за», бурят. *һоломо::мо* «соло́ма», *то:м* «то́м» (орфографически *бааза*, *һолоомо*, *том*; новейшие русизмы сохраняют свою русскую орфографию). Поясним излагаемое примерами из монгольских языков с соответствующими сопоставлениями из русского языка. Во-первых, если в монгольских языках имеются такие пары односложных слов, которые отличаются друг от друга разной длительностью своих гласных, например, халх. *бог* «сор» и *бо:г* «пусть обвяжет», то в русском языке нет ни одной такой пары односложных слов (или омоформ) с ударным гласным в одном из них и неударном — в другом, например, при наличии слова *до́м* нет другого *дом* с неударным [-о-] [20]. Ведь в русском односложном слове не может быть неударного гласного так же, как в таком же монгольском слове не может быть ни сверхдолгого, ни редуцированного гласного (в русском языке могут быть лишь «варианты» с неударными гласными типа, например, *так как ты сказал*? наряду с *та́к, как ты сказал*). Во-вторых, в русском языке не может быть такого многосложного слова, в котором было бы более одного ударного гласного, имеющего лексико-семантическое значение (здесь исключаются побочные ударные гласные в длинных, чаще всего составных, словах и явления в поэтической метрике). А между тем в монгольских многосложных словах гласные фонемы могут быть либо все долгими, либо все краткими, либо теми и другими, например, бурят. *дере* «изголовье», *дере*: «свое изголовье», *де:ре* «наверху», *де::ре*: «у себя наверху», *гаргаба* «вынес», халх. *а::ру:л* «творог» (особого приготовления), *а::ру::ла:р* «творогом», *а::ру::ла::ра*: «своим творогом», *бо::цо*: «заклад, пари», *бо::цо::го:р* «закладом», *бо::цо::го::ро*: «своим закладом» (соответственно орфографически *дэрэ*, *дэрээ*, *дээрээ*, *ааруул*, *ааруулаар*, *ааруулаараа*, *бооцоо*, *бооцоогоор*, *бооцоогоороо*). В-третьих, в монгольских словах долгота гласных неподвижна и постоянна в каких бы то ни было словоформах и словообразованиях (лишь долгий аллофон долгой фонемы позиционно становится сверхдолгим), тогда как русское ударение в словоформах и словообразованиях подвижно: *до́ма*, *дома́*, *домово́й*, *го́ры*, *горы́*, *горноу́дный*, *го́рно-леси́стый*.

Таким образом, в монгольских языках при определении правил слитного и раздельного написания каких-либо суффиксов и частиц, произносимых в потоке речи слитно с основами, можно руководствоваться лишь фонетическими признаками, не опираясь при этом на смысл, как, скажем, в русском языке (*неплохо́й* и *не плохо́й*, *а хороший*, *зате́м и за те́м*, *потому́* и *по тому́*, но *и́здали* и *из да́ли*). Однако мы выше показали, что такая возможность не всегда и неодинаково используется в правилах орфографии современных монгольских письменных языков.

[20] Отсутствие в русском языке таких лексически контрастных пар знаменательных слов говорит, по-видимому, в пользу того мнения, что в этом языке нет фонологической оппозиции ударных и неударных гласных. Правда, можно встретить такие русские контрастные пары односложных слов с ударными и неударными гласными, в которых, однако, нетрудно видеть единицы разных уровней: служебные слова (союзы, предлоги, частицы и междометия), с одной стороны, а с другой — знаменательные слова (почти всегда — иноязычные), но не пары из двух знаменательных слов. Например, по-русски допустимо сказать: (*Не доктор*) *ли Ли́*, (*катаясь на лодке*) *по По́*, (*вспоминал стихи на языках байхуа*) *и и́*. Книжные субстантивации типа (*Его*) «но» (*нас смущает*) — явления особого рода.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1978

ЦЫВИН А. М.

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ РУССКИХ СЛОВАРЕЙ

Объекты какой-либо области знаний невозможно систематизировать, сопоставить и охарактеризовать без построения универсальной, глубинной и перспективной классификационной системы. При этом под универсальностью понимается способность охватывать все объекты данной области; под глубинностью — многоуровневость классификаций; под перспективностью — способность гибко реагировать на появление принципиально новых объектов. Классификации лингвистических словарей разработаны весьма слабо. Такие классификации строятся обычно на основе гетерогенных признаков, причем каждый словарь обычно характеризуется одним единственным признаком. С помощью подобных классификаций невозможно достаточно полно описать конкретный словарь, наметить тенденции развития лексикографии. В рамках этой классификации также возникает бесконечное количество вопросов, практически неразрешимых. Например, к какому классу отнести обратные исторические словари — к классу обратных или к классу исторических словарей, куда отнести словарь собственных имен и т. п.

Первая теоретическая классификация в русской лексикографии принадлежит Л. В. Щербе [1]. Он построил ее на шести антиномиях и предназначил для описания толковых и отчасти переводных словарей. Однако все остальные типы словарей остались вне рамок классификации Щербы, и это обстоятельство особенно заметно в наше время, когда не только поразительно растет разнообразие лексикографического реестра, но и регулярно появляются принципиально новые типы глоссариев.

Ниже сделана попытка на основе общих принципов Л. В. Щербы построить одну возможную систему классификации словарей.

1. Предлагаемая классификационная система состоит из восьми классификационных схем [2]. Следовательно, каждый объект классификации (словарь) определяется восемью признаками.

2. В каждой классификационной схеме вся область объектов — класс словарей — дифференцируется на основании одного дифференциального признака (ДП) на подклассы 1-го яруса. Подклассы 1-го яруса на основании одного из вариантов того же ДП делятся на подклассы 2-го яруса и т. д.

3. Набор восьми ДП отвечает требованиям полноты, независимости, непротиворечивости, т. е. основным требованиям, предъявляемым аксиоматическим дедуктивным системам.

4. Каждым двум узлам яруса n должен предшествовать один и только один узел яруса $n-1$ (принцип дихотомии) [3].

5. Два подкласса яруса n, получившиеся путем дробления одного подкласса яруса $n-1$, должны быть контрадикторны. Объем двух чле-

[1] Л. В. Щерба, Опыт общей теории лексикографии. Этюд I — Основные типы словарей, ИАН ОЛЯ, 1940, 3.

[2] Эта цифра определяется исключительно практическими соображениями.

[3] Методологически принцип дихотомии оправдывается максимальной простотой.

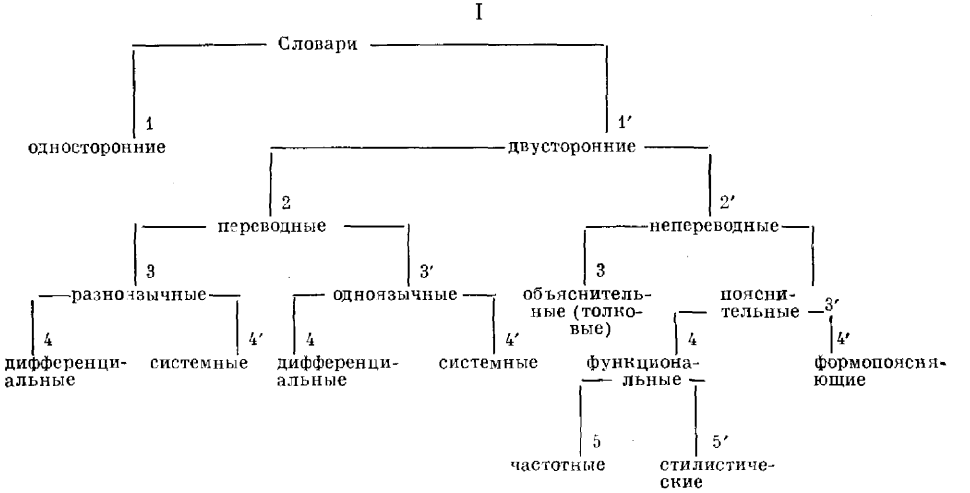
нов деления должен равняться объему делимого подкласса (принцип соразмерности).

6. По объему подклассы могут быть конечными, сингулярными (единичными) и пустыми (заполняемыми в перспективе).

7. Деление должно быть непрерывным (члены деления должны быть непосредственно низшими по отношению к родовому понятию) [4].

8. В качестве необъясняемых элементарных единиц, на основе которых строятся все восемь ДП, вводим следующие: заглавный словарный блок (ЗСБ) [5]; разработка заглавного словарного блока (РАЗ); словарная статья (ЗСБ + РАЗ). Для простоты далее систему ЗСБ определенного словаря будем называть л е в о й с т о р о н о й с л о в а р я, а систему РАЗ — п р а в о й с т о р о н о й.

Первая классификационная схема
(ДП — соотношение правой и левой сторон словаря)



П р и м е ч а н и я к п е р в о й с х е м е. Односторонние словари (1.1) имеют только левую сторону (Орф. слов.; Обрат. сл.). Двусторонние словари (1.1′) имеют левую и правую стороны. В двусторонних переводных словарях (1.1′.2) левая и правая сторона выполнена на разных языках. В двусторонних переводных одноязычных или, в традиционной терминологии, толково-переводных словарях (1.1′.2.3′) левая и правая часть выполнена на одном и том же языке, но разных модификаций, т. е. разных синхронных срезов или разной географической характеристики, причем две эти модификации достаточно резко отличаются друг от друга [6] (Филин; Сл. др. р. я. XI—XIV. Введение).

В двусторонних переводных разноязычных словарях (1.1′.2.3) левая и правая часть выполнены на разных языках. Один и тот же ЗСБ может быть в левой части представлен на одном языке, а в правой разработан

[4] Н. И. К о н д а к о в, Логический словарь, М., 1971, стр. 403.

[5] Обычный термин — заглавное слово — весьма неудобен для общей теории, поскольку в заголовке словарной статьи может быть морфема, словосочетание, предложение. Термин — «заголовочная словарная единица» также не вполне удобен, поскольку в заголовке могут быть изолированные е д и н и ц ы (антонимы, синонимы, омонимы). Термин же «заглавный словарный блок» более универсален.

[6] Обоснование такого взгляда применительно к историческому словарю см. в Сл. др. р. я. XI—XIV. Введение (стр. 17—20), а к областному словарю — в словаре Филина (вып. 1, стр. 12).

на другом, может быть в левой части представлен на нескольких языках, а в правой части разработан на одном языке.

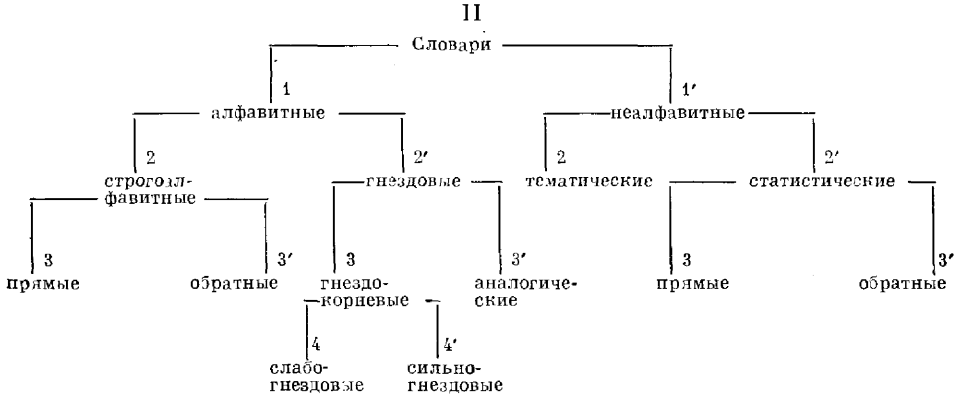
Дифференциальные переводные словари нами понимаются вполне традиционно. Им в качестве контрадикторного класса противостоят системные словари.

Двусторонние непереводные словари (I.1′.2′) или объясняют значение слова, или поясняют его форму и функцию, причем левая и правая стороны этих словарей выполнены на одном языке. Двусторонние непереводные объяснительные (толковые) словари (I.1′.2′.3) понимаются вполне традиционно (Ушаков, Молотков). Двусторонние непереводные пояснительные функциональные словари (I.1′.2′.3′.4 и 4′) раскрывают функциональные характеристики слова —частотность слова (Штейнфельдт) или стилистическую функцию (Грамматич. правильность..., Трудности...).

Двусторонние формопоясняющие словари (I.1′.2′.3′.4′) должны давать полную грамматическую характеристику слова или объяснять его форму, орфографическую и произносительную (Зализняк). Чисто объяснительных (толковых) словарей не существует. Наиболее близок к этому типу словарь Даля. Обычно же толковый словарь снабжен достаточно подробными сведениями о произношении, стилистическом употреблении, грамматических характеристиках ЗСБ.

Словари языка писателя обычно представляют собой, с точки зрения соотношения правой и левой сторон, очень сложное явление — здесь имеются функционально-частотные, функционально-стилистические и толковые элементы.

Вторая классификационная схема
(ДП — способ расположения ЗСБ)



Примечания ко второй схеме. Обычно в лексикографии алфавитному способу расположения слова противопоставляют гнездовое. Однако в гнездовых словарях ЗСБ также располагаются в алфавитном порядке. Поэтому правильнее, как это сделано в предисловии к первому тому БАСа, гнездовой способ противопоставить строго алфавитному. Существуют два вида гнездового способа подачи слов. В одном случае гнездо составляет группа однокоренных слов, в другом — группа семантически родственных слов (безразлично — однокоренных или разнокоренных, но обозначающих близкие понятия и предметы), объединенных в классы эквивалентности. Первый вид гнездового способа будем называть гнездокорневым (II.1.2′.3), второй обычно называют аналогическим (II.1.2′.3′). В словарях, построенных по аналогическому методу, гнездо, обычно содержит синонимы, вышестоящие, нижестоящие и ассоциирован-

ные дескрипторы. Наиболее важным классом аналогических словарей следует считать словари дескрипторов отдельных научных и технических дисциплин, которые представляют собой «нормативные словари ключевых слов» по данной тематике.

По объему корневое гнездование может быть слабым или частичным (Ожегов) и сильным (Даль). Вероятно, эти виды могут относиться и к аналогическому гнездованию, но проблема эта еще не изучена.

От аналогического способа расположения слов следует отличать тематический. Тематический способ расположения — это расположение слов по понятийным группам, в каждую из которых входят слова, обозначающие те или иные фрагменты лингвистической картины мира (космос, недра, флора, фауна и т. п.). От аналогического способа тематический отличается полным или почти полным отсутствием алфавитного порядка в расположении слов, большей наглядностью в отражении иерархии понятий.

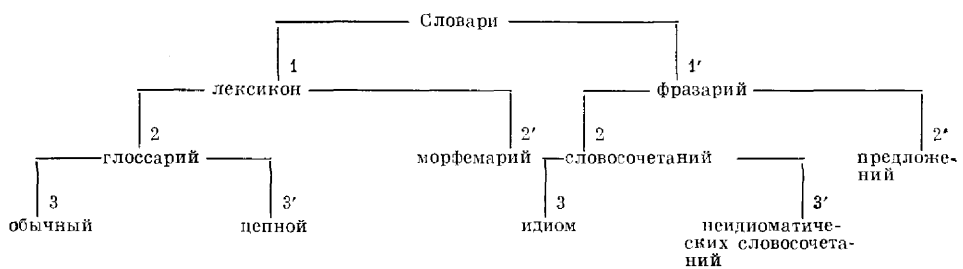
Следует различать частотный словарь и статистический способ расположения слов в словаре. Частотный словарь содержит алфавитный список слов с указанием их частоты (алфавитный способ расположения ЗСБ) и список слов, расположенных по убывающей или возрастающей частоте (статистический способ расположения ЗСБ). Расположение слов по убывающей частоте можно назвать прямым порядком, а по возрастающей частоте — обратным.

Примеры различных, с точки зрения расположения ЗСБ, словарей: II.1.2.3 — Ушаков, Филин; II.1.2.3′ — Обратн. сл.; II.1.2′.3.4 — Ожегов; II.1.2′.3.4′ — Даль; II.1.2′.3′ — Дескрипторные словари; II.1′.2 — Даль. Пословицы; Тихонов; II.1′.2′.3 и 3′ — Штейнфельдт.

Третья классификационная схема

(ДП — состав ЗСБ)

III



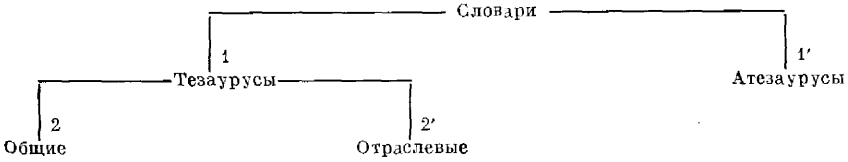
Примечания к третьей схеме. В лексиконе ЗСБ равен слову или части слова. В связи с этим лексиконы дифференцируются на глоссарии (ЗСБ = слову) и морфемарии (ЗСБ = морфеме). В глоссарии могут быть представлены отдельные слова (обычные глоссарии) и синонимические, антонимические, омонимические, паронимические и т. п. цепочки слов (цепные глоссарии). Цепными могут быть морфемарии и фразарии, но эта возможность еще по-настоящему не реализована.

Во фразарии ЗСБ равен словосочетанию (фразарий словосочетаний) или предложению (фразарий предложений). Фразарии словосочетаний дифференцируются на фразарии идиом и неидиоматических словосочетаний.

Примеры различных, с точки зрения состава ЗСБ, словарей: III.1.2.3 — Ушаков; III.1.2.3′ — Введенская, Александрова; III.1.2′ — Потиха; III.1′.2.3 — Молотков; Тагиев; III.1′.2.3′ — Словарь глаг.- им. словосоч.; III.1′.2′. — Даль. Пословицы.

Четвертая классификационная схема
(ДП — характер отбора ЗСБ)

IV

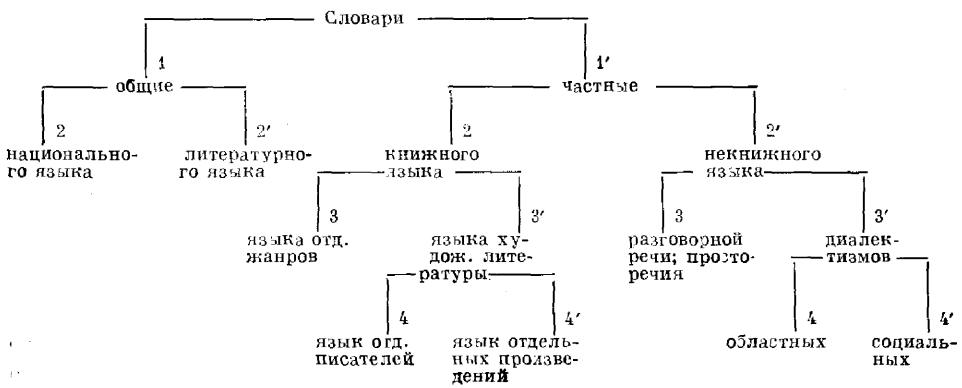


Примечания к четвертой схеме. Под тезаурусами мы, несколько расширяя этот термин (но зато и примиряя его классическое значение с современным), понимаем словарь, отражающий лексику определенного объекта без всякого отбора. Общие тезаурусы регистрируют вообще все слова данного языка, отраслевые тезаурусы регистрируют без отбора слова данного языка, составляющие определенную объективно существующую систему (отдельный диалект, систему всех диалектных слов данного национального языка, терминологическую систему отдельной науки или отрасли производства, всю терминологическую систему литературного языка и т. п.). Атезаурусы — словари, основанные на определенной последовательной системе отбора. Строго говоря, класс IV.1.2 — пустой класс. Из русских словарей к нему с большими оговорками можно отнести словари Даля и Шахматова.

Примеры отраслевых тезаурусов и атезаурусов: IV.1.2′ — Филин; Самойлов; Дескрипторные словари; Словарь Пушкина; IV.1′ — Ожегов; Штейнфельдт.

Пятая классификационная схема
(ДП — объект отображения)

V

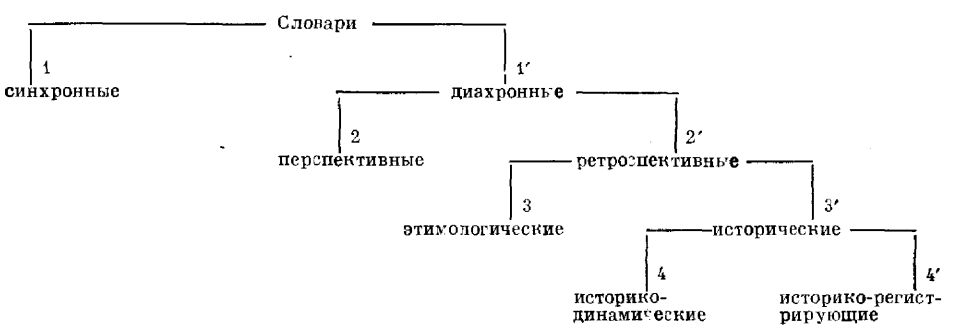


Примечания к пятой схеме. Термины «словарь национального языка» и «словарь литературного языка» — не нуждаются в особом объяснении [7]. Заметим лишь, что в истории русской лексикографии нет четко разграниченных словарей этого типа. Словарь Ушакова мог бы быть почти идеальным примером V.1.2′, словарь Даля и словарь Шахматова приближаются к типу V.1.2. Впрочем вопрос о соотношении литературного и национального языка до такой степени слабо разработан, что деление V.1 на V.1.2 и V.1.2′ очень условно.

[7] «Национальный язык — метасистема всех языковых разновидностей эпохи нации, в которой ведущее место занимает литературный язык...» (Ф. П. Филин, О свойствах и границах литературного языка, ВЯ, 1975, 6, стр. 4).

Примеры частных словарей: V.1′.2.3 — Словарь глаг.-им. словосоч.; Частотн. сл. яз. газеты; V.1′.2.3′.4 — Словарь Пушкина; V.1′.2.3′.4′ — Словарь «Слова»; V.1′.2′.3 — пустой класс; V.1′.2′.3′.4 — Филин; V.1′.2′.3′.4′ — Жаргон преступников.

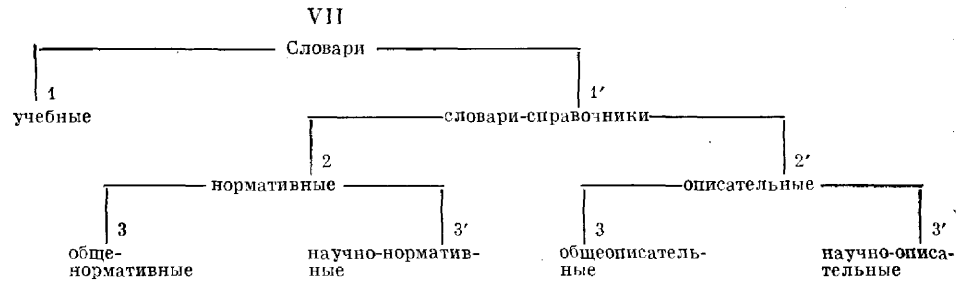
Шестая классификационная схема
(ДП — отражение исторических процессов)



Примечания к шестой схеме. В синхронных словарях (VI.1) лексика определенных отрезков времени рассматривается вне временной координаты, вне движения словарного состава. Первая фиксация слова, история его возникновения в данном языке, этапы изменения семантической структуры, формы, функциональных характеристик таким словарем не отмечаются, во всяком случае последовательно (Даль; Филин; Ушаков; Тагиев). Диахронный словарь (VI.1′) отражает динамику лексики определенного временного среза, рассматривая полностью или частично вопросы развития семантической структуры слов, появление и отмирание новых слов и значений, изменение формы и функции слова. Диахронный словарь, отмечающий новые слова и значения, назовем перспективным (Новые слова...). Ретроспективный историко-регистрирующий словарь (VI.1′.2′.3′.4′) статически регистрирует все слова памятников большого временного среза, выявляет все зарегистрированные в памятниках выбранной эпохи значения этих слов: Сл. др.р.я XI—XIV; Сл. р. яз. XI—XVII. Ретроспективный историко-динамический словарь (VI.1′.2′.3′.4) — это тот «исторический в полном смысле» словарь, о котором писал Л. В. Щерба и который пока является пустым классом. Таким словарем должен стать «Словарь русского языка XVIII века».

Ретроспективный этимологический словарь (VI.1′.2′.3) понимается нами в традиционном смысле: Фасмер, Трубачев.

Седьмая классификационная схема
(ДП — цель и назначение)



Примечания к седьмой схеме. Обычно академический (нормативный) словарь противопоставляют словарю-справочнику. Мы

будем считать словарь-справочник таким типом словаря, где читатель может найти справку о любых словах, значение или употребление которых ему неясно. Словари-справочники дифференцируются на нормативные и описательные словари. Нормативные словари (VII.1′.2) дают семантическую, грамматическую, акцентологическую, экспрессивно-стилистическую и валентностную характеристику слов в соответствии с действующей нормой, определяющей образцовое употребление языковых средств и упорядочивающих речевую деятельность носителей данного языка. Характерная особенность нормативного словаря — развитая система предписывающих помет и отбор слов на основании строгого критерия.

Описательные словари должны по-возможности полно описать существующее словоупотребление всего языка или его фрагмента.

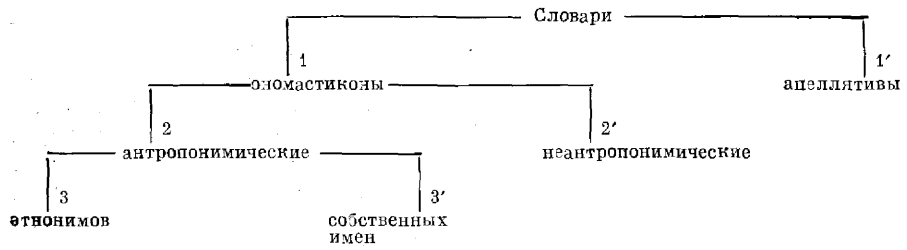
Словарь может быть оснащен научным аппаратом (Шахматов; БАС; Филин; Словарь Пушкина) и не оснащен таковым (Ожегов; Орф. сл.; Даль).

Учебные словари — одноязычные и многоязычные — предназначены для лиц, изучающих данный язык. Такие словари характеризуются очень жестким отбором лексики и наличием (при каждом слове) минимально-необходимой лексикографической информации. Примеры: Словарь глаг.-им. словосоч.; Уст. словосоч. р. я.

Переводные двуязычные словари могут быть и описательными и нормативными. Обычно это зависит от того, на основании какого неперводного одноязычного словаря создан данный переводной словарь. Чаще всего переводные двуязычные словари — нормативного типа, так как они устанавливают норму эквивалентов единиц двух литературных языков. Пример переводных описательных словарей: Дворецкий. Примеры переводных нормативных словарей: Бернштейн; Тагиев.

Восьмая классификационная схема
(ДП — проприативность/нарицательность ЗСБ)

VIII



Примечание к восьмой схеме. Ономастиконы нами понимаются вполне традиционно. Контрадикторный класс — апеллятивы. Примеры ономастиконов: VIII.1.2.3 — Сл. названий жителей; VIII.1.2′ — Кратк. топоним. сл.; VIII.2.3′ — Сл. русск. имен.

Предлагаемая лексикографическая классификация, относя словарь к какому-либо типу, призвана очертить его общие контуры, выявить все типологические и дифференциальные признаки. Она необходима и достаточна для дифференциации любых неидентичных словарей [8], и в то же время не обладает избыточностью (не имеет избыточных для дифференцирования признаков). Достаточно элиминировать хотя бы одну

[8] Классификации не поддаются лишь словари, не основанные на лингвистически объективных принципах, которые регистрируют внутренне неоднородные классы единиц. Таких словарей немного, и они выполняют узкопрагматические задачи («Словарь неправильных слов», «Словарь сокращений»).

классификационную схему и в координатах предлагаемой системы нельзя будет дифференцировать целую группу словарей.

Для регистрации принципиально новых типов словарей, которые будут появляться в будущем, в системе каждой классификационной схемы нетрудно построить новый класс без изменения каких-либо других элементов схемы. Например, если аналогические словари резко дифференцируются на словари с частичным и сильным гнездованием, достаточно расщепить класс II.1.2′.3′ на два контрадикторных подкласса, чтобы зарегистрировать этот процесс. Более того, предлагаемые схемы могут использоваться в качестве вспомогательного материала для прогнозирования развития лексикографии.

В системе данной классификации практически все русские словари могут быть охарактеризованы однотипными ДП и, следовательно, типологически сопоставлены. Общую характеристику любого словаря можно записать символически, что небесполезно при создании ИПС. Так, словарь Ушакова может быть охарактеризован как объяснительный прямой строго алфавитный обычный глоссарий — атезаурус литературного языка синхронного типа и научно-нормативный словарь-справочник (апеллятив). Символически это можно записать так: I.1′.2′.3 II.1.2.3. III.1.2.3. IV.1′. V.1.2′. VI.1. VII.1′.2.3′. VIII.1′.

Некоторые словари по одной или двум классификационным схемам описываются двумя контрадикторными признаками. Так, «Немецко-русский фразеологический словарь» Л. Э. Биновича и Н. Н. Гришина может быть охарактеризован и как словарь словосочетаний (идиом) и как словарь предложений. Такое «поведение» реальных объектов классификации закономерно и не отрицает само ее существо.

ЛИТЕРАТУРА

Александрова — Э. Е. Александрова, *Словарь синонимов русского языка*, М., 1968; БАС —«Словарь современного русского литературного языка». 1—17, М., 1950—1965; Бернштейн — С. Б. Бернштейн, Болгарско-русский словарь, М., 1966; Введенская — Л. А. Введенская, Словарь антонимов русского языка, Ростов-на-Дону, 1971; Грамматич. правильность — А. К. Граудина, В. А. Ицкович, Л. П. Катлинская, Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов, М., 1976; Дворецкий — И. Х. Дворецкий, Латинско-русский словарь, М., 1976; Даль. Пословицы — «Пословицы русского народа. Сборник... В. Даля», М., 1862; Даль —«Толковый словарь живого великорусского языка», 1—4, СПб., 1863—1866; Дескрипторные словари —«Словарь дескрипторов по химии и химической промышленности», М., 1966; Жаргон преступников —«Жаргон преступников. Пособие для оперативных и следственных работников милиции», М., 1952; Зализняк — А. А. Зализняк, Грамматический словарь, М., 1977; Кратк. топоним. сл.— В. А. Никонов. Краткий топонимический словарь, М., 1966; Молотков — «Фразеологический словарь русского языка», под ред. А. И. Молоткова, М., 1967; Новые слова...—«Новые слова и значения», под ред. Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина, Л., 1971; Обратн. сл.—«Обратный словарь русского языка», М., 1974; Ожегов — «Словарь русского языка», сост. С. И. Ожегов, 2-е изд., М., 1952; Орф. сл.—«Орфографический словарь русского языка», под ред. С. Г. Бархударова, С. И. Ожегова и А. Б. Шапиро, М., 1965; Потиха — З. А. Потиха, Как сделаны слова в русском языке. Справочник служебных морфем, Л., 1974; Самойлов — К. И. Самойлов, *Морской словарь*, 1—2, М.—Л., 1939—1941; Сл. др. р. я. XI — XIV —«Словарь древнерусского языка XI—XIV вв.» Введение, инструкция, список источников, пробные статьи, под ред. Р. И. Аванесова, М., 1961; Сл. названий жителей —«Словарь названий жителей РСФСР», под ред. А. М. Бабкина, Л., 1964; «Словарь названий жителей СССР», под ред. А. М. Бабкина и Е. А. Левашова, Л., 1975; Словарь Пушкина —«Словарь языка Пушкина», отв. ред. В. В. Виноградов, 1—4, М., 1956—1961; Сл. р. я. XI — XVII —«Словарь русского языка XI — XVII вв». под ред. С. Г. Бархударова, 1—4, М., 1975—1977 (продолж.); Сл. русск. имен — Н. А. Петровский, «Словарь русских личных имен», М., 1966; Словарь «Слова» — «Словарь-справочник „Слова о полку Игореве“», сост.

В. Л. Виноградова, 1—4, Л., 1965—1973; Словарь глаг.-им. словосоч.— «Словарь глагольно-именных словосочетаний общенаучной речи», М., 1973; Словарь неправильных ...слов — И. П. Огиенко, Словарь неправильных и сомнительных слов и выражений в русской речи, Киев, 1914; Тагиев — М. Т. Тагиев, Русско-азербайджанский фразеологический словарь, Баку, 1974; Тихонов — А. Н. Тихонов и др., Русско-узбекский тематический словарь, Ташкент, 1975; Трубачев — «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд», под ред. О. Н. Трубачева, 1—4, М., 1974—1977 (продолж.); Трудности — «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка. Словарь-справочник», под ред. Е. С. Горбачевича, Л., 1973; Уст. словосоч. р. я.— К. В. Регинина, Г. П. Тюрина, Л. И. Широкова, Устойчивые словосочетания русского языка, М., 1976; Ушаков —«Толковый словарь русского языка», под ред. Д. Н. Ушакова, 1—4, М., 1935—1940; Фасмер — «Этимологический словарь русского языка», 1—4, М., 1964—1973; Филин — «Словарь русских народных говоров», под ред. Ф. П. Филина, I — II, Л., 1965—1976 (продолж.); Частотн. сл. яз. газеты — Г. Я. Полякова, Г. Я. Солганик, Частотный словарь языка газеты, М., 1971; Шахматов — «Словарь русского языка, сост. Вторым отд. Академии. наук», 2, 1897—1907 (9 вып., выходивших под ред. А. А. Шахматова); Шанский Эт. сл.— Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская, Краткий этимологический словарь русского языка. Пособие для учителей, под ред. С. Г. Бархударова, М., 1961; Штейнфельдт — Э. А. Штейнфельдт, Частотный словарь современного русского литературного языка, Таллин, 1963.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1978

ПАРТЕНАДЗЕ М. Х.

О ПРИРОДЕ СЛОВ С ПОМЕТОЙ «ОБЛАСТНОЕ»

В языке художественных произведений, кроме слов так называемой нейтральной лексики, представлены, как известно, и лексемы ограниченного употребления, среди которых особое место занимают единицы, имеющие локальное распространение. Они встречаются главным образом в речи персонажей. Особенно часто использование подобных лексем можно наблюдать у писателей, описывающих жизнь в типических сельских условиях. Не приходится удивляться, что подобные лексемы встречаются также в речи писателей, которые стремятся, хотят жить жизнью своих героев или никак не могут освободиться от приобретенных еще в детстве речевых навыков, обусловленных струей диалектной речи. У одних мастеров слова таких локальных лексем много, у других они встречаются спорадически. Наконец, в истории художественной литературы известны и такие писатели, которые вообще не прибегали к употреблению местных слов. Эти словарные единицы в лингвистической (шире, филологической) литературе квалифицируются по-разному: «диалектные слова», «областные слова», «диалектизмы», «регионализмы», «локализмы», «провинциализмы» и др. Наиболее часто употребляемыми среди них терминами являются «диалектное слово», «областное слово» и «диалектизм». Если эти слова попадают в словари литературных языков, то, как правило, получают помету «областное».

Термины, в отличие от слов (словосочетаний)-нетерминов, обычно однозначны и требуют к себе строгого подхода. Поэтому желательно, чтобы и интересующие нас термины и передаваемые ими понятия, нередко употребляющиеся в общей и специальной литературе недифференцированно, имели бы адекватное и однозначное применение.

Задача данной статьи — рассмотреть понятия диалектного слова, областного слова и диалектизма, разобраться в их природе, попытаться провести между ними разграничительные признаки и предложить для них хотя бы рабочие определения.

Прежде чем говорить об интересующих нас терминах и стоящих за ними понятиях, скажем несколько слов о практике соответствующего словоупотребления в литературе по теории вопроса.

А. И. Попов пишет: «Народная речь, представленная в романе россыпью ярких, выразительных диалектизмов, присутствует не только в устах действующих лиц, но и в авторской речи. В ней нормированный литературный язык тонко переплетается с элементами народной речи, словами диалектными, которые способствуют созданию индивидуального авторского стиля» [1]. «Широк тематический диапазон встречающихся в авторской речи областных слов,— говорит далее на той же странице исследователь,— так как они связаны с описанием разных сторон де-

[1] И. А. Попов, Областная лексика и ее функционально-стилистическая роль в романе Ф. Абрамова «Братья и сестры», сб. «Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти академика Виктора Владимировича Виноградова», Л., 1971, стр. 365.

ревенской жизни» [2]. Нам кажется, что варьирование в приведенных цитатах терминов «диалектизм», «диалектное слово» и «областное слово» обусловлено чисто стилистическими соображениями и что за каждым из них стоит одно и то же понятие диалектного слова, основным признаком которого является наличие изоглоссы в пределах территории, занимаемой русским национальным языком [3].

Н. М. Шанский один и тот же смысл вкладывает в термины «диалектная лексика» и «диалектизмы». «Под диалектной лексикой,— пишет он,— подразумеваются такие слова, которые не входят в общенародную лексическую систему, а являются принадлежностью одного или нескольких диалектов русского общенационального языка. Диалектная лексика является лексикой внелитературной, лексикой устной разговорно-бытовой речи какой-либо части русского народа, объединенного территориальной общностью. Диалектизмы, будучи употребленными в художественной литературе, осознаются как чужие и сторонние литературному языку, своеобразные языковые инкрустации, употребляемые обычно в определенных стилистических художественно-выразительных целях» [4]. Вместе с тем следует отметить, что Н. М. Шанский все же предпочтение отдает термину «диалектизм». «Слова диалектного характера принято называть диалектизмами,— говорит автор,— однако для их обозначения употребляются и другие термины: провинциализмы, областные слова и т. д. Лучше всего пользоваться наиболее распространенным термином „диалектизмы“, но с уточнением — лексические» [5].

Из терминов «диалектизм», «областное слово» и «диалектное слово» особое внимание ученых привлек термин «диалектизм». «Диалектизм,— пишет А. В. Калинин,— это слово, или оборот речи, или звуковая особенность, или грамматическая черта, характерная для говора и воспринимаемая нами как нелитературная. Понятие «диалектизм» возникает тогда, когда мы, слушая чью-то в целом литературную речь или читая художественное произведение, замечаем инородные слова, обороты и другие особенности языка, которые нарушают литературную норму и которые мы объясняем влиянием диалекта» [6].

Над дальнейшим уточнением содержания понятия диалектизма немало работал И. А. Оссовецкий. По его мнению, «слово, обладающее хотя бы одним диалектным дифференциальным признаком и включенное в состав литературного произведения именно как диалектное, можно определить термином „диалектизм“» [7]. Процесс превращения диалектного слова (в традиционном применении этого понятия) в диалектизм ему представляется следующим образом: «В процессе заимствования в язык художественного произведения диалектное слово изымается из лексики говора и его связи с этой лексикой частично разрываются. Включаясь в язык художественного произведения, диалектное слово вступает в новые парадигматические и синтагматические отношения уже со словами литературного языка, причем эти новые связи формируются под влиянием частично сохранившихся его прежних связей. В результате получается

[2] Там же.

[3] Более подробно о недифференцированном употреблении этих терминов см. нашу статью: «К вопросу о терминах „диалектизм“, „диалектное слово“ и „областное слово„», ИАН ОЛЯ, 1975, 1, стр. 73.

[4] Н. М. Шанский, Лексикология современного русского языка, М., 1972, стр. 117—118.

[5] Там же, стр. 118.

[6] А. В. Калинин, Лексика русского языка, М., 1966. стр. 124.

[7] И. А. Оссовецкий, Диалектная лексика в произведениях советской художественной литературы 50—60-х годов, в кн.: «Вопросы языка современной русской литературы», М., 1971, стр. 320.

совсем новая и своеобразная лексико-стилистическая категория — диалектизм» [8]. По мнению И. А. Оссовецкого, диалектизмами являются не только диалектные слова в составе художественного произведения, но и литературные слова, попавшие в диалект и получившие особый диалектный признак. «Диалектизмами со специфическими качественными характеристиками,— пишет он,— следует считать и такие слова, которые заимствованы говорами из литературного языка. Однако такая их квалификация возможна лишь тогда, когда то или иное заимствованное из литературного языка слово в процессе своего бытования в говоре приобрело диалектные дифференциальные признаки (изменило звуковую оболочку, или грамматическую характеристику, или семантическую структуру и т. п.) и прочно вошло в лексическую систему говора» [9].

Таким образом, диалектизмы, согласно И. А. Оссовецкому,— это диалектные слова в составе художественного произведения и литературные слова в системе того или иного диалекта, получившие особую диалектную примету (следует, на наш взгляд, только добавить — нерегулярного характера). Например, формы типа [н'асу́], [в'оду́] не будут диалектизмами, потому что в подобных случаях различия между литературным языком и диалектом носят регулярный характер, а слова типа [ч'ич'ác], [ту́тос'], [та́мотка], [тулу́н] и т. п. окажутся диалектизмами.

Несколько в ином плане подобную же мысль формулирует Ф. П. Филин. «Многие теперь литературные слова,— пишет он,— когда-то были локальными и, наоборот, современные диалектизмы имели общерусское распространение» [10]. Такое широкое понимание диалектизмов, насколько нам известно, является новым и, быть может, оправдано тем, что областные слова, попавшие в художественные произведения и через них в литературный язык, являются диалектизмами (в традиционном их понимании) с точки зрения их прошлого, а литературные слова, сузившие свои значения или переставшие функционировать как общеязыковые единицы, можно квалифицировать как диалектизмы только с точки зрения их настоящего.

Процесс превращения диалектного слова в диалектизм — это процесс перехода языковой единицы из одной системы в другую. Относительно подобных переходов Ф. Л. Скитова справедливо пишет: «По природе своей наблюдаемые изменения есть неизбежный результат перехода единицы из одной лексической системы в другую» [11].

Нам представляется, что диалектизмы, диалектные слова и областные слова суть качественно различные языковые единицы, относящиеся к разным микросистемам в составе единой макросистемы — общенационального языка, и, если они связаны между собой, то это результат того, что языковые подсистемы существуют не изолированно друг от друга, они объединяются в одну общую систему. Но прежде чем говорить о переходе занимающих нас слов из одной подсистемы в другую, необходимо разобраться в вопросе о том, что собою представляет общенародный язык в этом аспекте.

Р. И. Аванесов относительно современного русского языка пишет: «...современный русский язык как целое, несмотря на все его многооб-

[8] Там же, стр. 340.

[9] Там же, стр. 321.

[10] Ф. П. Филин, Проблема локализации древнерусской лексики и историческая лексикография, сб. «Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы конференции. Октябрь 1975 г., Москва», 3 — Теория и практика исторической лексикографии, М., 1975, стр. 9.

[11] Ф. Л. Скитова, Природа и закономерности семантических изменений при переходе областных слов в лексику литературного языка, сб. «Проблемы лексикологии», Минск, 1973, стр. 160.

разие, есть определенное исторически сложившееся структурное единство, в которое органически вписываются его частные разновидности, будь то отдельные частные диалектные системы или доминирующая над ними в функциональном отношении система литературного языка» [12]. Таким образом, по Р. И. Аванесову, современный русский язык представляет собой определенную макросистему, а входящие в его состав диалекты, с одной стороны, и литературный язык, с другой — микросистемы. Выше говорилось, что И. А. Оссовецкий под диалектизмом понимает такое диалектное слово, которое попало в художественное произведение и тем самым вступило в определенные отношения со словами литературного произведения. Весь вопрос в том, что собою представляет язык художественной литературы в составе общенационального языка: та же ли это доминирующая над диалектными системами, как говорит Р. И. Аванесов, система литературного языка или что-то другое?

Р. И. Аванесов и И. А. Оссовецкий, по-видимому, не выделяют язык художественной литературы в особую подсистему общенародного языка. Более того, И. А. Оссовецкий относительно цельности языка художественной литературы в другом месте своей работы пишет: «Можно говорить о характерных чертах языка данного конкретного художественного произведения, но нельзя говорить и нельзя судить о каких-то общих стилевых чертах языка художественной литературы, потому что таких черт нет» [13]. По мнению же абсолютного большинства исследователей, не говоря о В. В. Виноградове, особо выделившем эту подсистему и заложившим прочные основы науки о ней, язык художественной литературы представляет собой качественно новое явление в составе единого национального языка, разумеется, располагающего письменностью. Ограничимся ссылками на двух ученых. По словам Ф. П. Филина, «между языком художественной литературы и нормативным литературным языком не может быть тождества, но теснейшая и органическая связь между ними несомненна» [14]. Различие между литературным языком и языком художественной литературы уточняется и Н. А. Мещерским: «В языке художественных произведений присутствуют такие черты и особенности, которые свойственны только ему одному и отсутствуют во всех функциональных стилях литературного языка» [15]. Глубокое различие между литературным языком и языком художественного произведения заключается в отношении к внелитературным средствам коммуникации. Нормированный литературный язык в качестве высшей формы речевого общения, по мнению Н. А. Мещерского, противопоставляется его низшим формам, просторечию, диалектам и арго, язык же художественной литературы по отношению к этим низшим формам речевого общения гораздо терпимее, чем любой функциональный стиль нормированного стандартного литературного языка [16].

Приведенные соображения, думается, не оставляют сомнения в том, что язык художественной литературы следует рассматривать как особую подсистему в составе национального языка.

---

[12] Р. И. Аванесов, Русская литературная и диалектная фонетика, М., 1974, стр. 3.

[13] И. А. Оссовецкий, указ. соч., стр. 302.

[14] «Русский язык в современном мире», М., 1974, стр. 122.

[15] Н. А. Мещерский, К разграничению понятий «литературный язык» и «язык художественной литературы», «Уч. зап. Карельск. пед. ин-та», XVII — Вопросы языкознания, Петрозаводск, 1967, стр. 8.

[16] См. там же, стр. 10.

Когда И. А. Оссовецкий утверждает, что диалектное слово, попав в художественное произведение, превращается в диалектизм, то тем самым признает, что слово из одной подсистемы перешло в другую, с чем нельзя не согласиться. Однако труднее согласиться с его утверждением относительно вступления этой новой категории слов в парадигматические и синтагматические отношения с лексемами уже литературного языка, ибо не все языковые элементы, попавшие в литературное произведение, тем самым становятся литературными. Использование диалектного слова в художественной литературе — это только шаг, правда, существенный, на пути его «олитературивания», а не конец этого пути.

Возникает вопрос: что же требуется для того, чтобы диалектизм, т. е. диалектное слово, уже зафиксированное в художественном произведении, стало элементом литературного языка? По нашему мнению, таким условием *является его закрепление в словаре литературного языка*, пусть даже с ограничительной пометой. Следовательно, дифференциальным признаком между диалектным словом и диалектизмом выступает их присутствие или отсутствие в словарях литературного языка: диалектизм п р е д с т а в л е н в последних, а диалектное слово с т о и т з а и х п р е д е л а м и.

Если относительно понятия диалектизма есть определенные попытки его уточнения (особенно со стороны И. А. Оссовецкого) и тем самым отграничения его от понятий диалектного слова и областного слова, то оба последних постоянно употребляются с одной и той же семантической нагрузкой, и эта традиция оказалась весьма сильной. Хочется в связи с этим высказать некоторые соображения относительно содержания и этих понятий.

Как отмечалось выше, под диалектным словом принято понимать словарную единицу, имеющую локальное распространение и в то же время не входящую в лексический фонд литературного языка, независимо от того, отражается такая единица в литературном произведении или не отражается. Кажется необходимой дифференциация диалектных слов с точки зрения их фиксации в литературных произведениях, потому что, будучи отраженными в этих последних, такие слова входя в лексическую систему языка художественной литературы и, напротив, пока их не коснулась рука мастера слова — писателя, они всецело держатся в лексической системе того или иного конкретного говора или наречия. Если это так, то в первом случае они вступают в парадигматические и синтагматические отношения со словами языка художественной литературы, а во втором — в аналогичные отношения со словами того или иного конкретного диалекта.

Представляется, что системный подход к составным частям общенационального языка с необходимостью требует дифференцировать понятия «диалектизм», «диалектное слово» и «областное слово», потому что слова, с помощью которых передаются эти понятия, относятся к разным микросистемам единой макросистемы — национального языка: диалектизмы относятся к самой нормированной разновидности национального языка — литературному языку (пусть, повторяем, с ограничительной пометой), диалектные же слова — к языку художественной литературы; что касается слов того или иного диалекта, не отраженных в литературных произведениях, то за ними, по-видимому, следует закрепить термин «областное слово» («регионализм» или «локализм»): назывался же первый сводный диалектологический словарь «Опытом областного великорусского словаря» (1852).

Рассуждая так, мы ни на минуту не забываем слов И. А. Оссовецкого, что «между народным говором и литературным языком существуют очень

тонкие и разветвленные отношения, граница между ними обычно представляет собой не линию, а полосу с размытыми очертаниями и нестабильной шириной» [17]. По нашему мнению, такие же отношения существуют между диалектизмами, диалектными словами и областными словами (в нашем их понимании). Однако зыбкость границ, «размытость» и «нестабильность» их между названными категориями слов не означают, что эти границы вообще отсутствуют. Задача лингвистов — направлять свои усилия в сторону выявления различительных признаков перечисленных выше категорий слов.

На наш взгляд, легче установить эту границу между диалектными словами, с одной стороны, и областными словами, с другой, потому что в первом случае налицо литературное произведение, отразившее в себе то или иное диалектное слово, во втором такого произведения нет. Но как только писатель *использует областное слово в своем произведении*, особенно в своей авторской речи, оно сразу же «перебазируется» в разряд диалектных слов и тем самым становится компонентом новой подсистемы общенародного языка — языка художественной литературы.

В этом преобразовании областного слова в диалектное, т. е. лексической единицы территориального диалекта в более или менее отшлифованную единицу языка художественной литературы, проявляется, как нам думается, одна из задач писателя — мастера художественного слова.

Сложнее проведение грани между диалектизмами и диалектными словами, хотя по приведенным выше соображениям, казалось бы, и эту задачу нетрудно решить, потому что диалектизмы отражены в словарях литературных языков, а диалектные слова стоят за их пределами. Однако вся беда в том, что очень трудно проследить динамику диалектных слов, процесс перехода этих последних из одной микросистемы в другую, т. е. превращение их в диалектизмы.

Как известно, это один из сложнейших вопросов лексикографической теории и практики, с которым постоянно сталкиваются наши лексикографы. Одному лексикографу, составляющему или уточняющему словник будущего словаря литературного языка, какими бы знаниями лингвиста-исследователя он ни обладал, трудно справиться с подобной задачей. Перевести слово из языка художественной литературы в литературный язык, т. е. в наиболее нормированную разновидность общенародного языка, не решался даже А. А. Шахматов [18].

При решении вопроса, какие диалектные слова включить в словарь литературного языка и тем самым перевести их в разряд диалектизмов, а какие оставить в арсенале языка писателя или словаре литературного произведения, в котором они употреблены, необходимы коллективные усилия не только лексикографов, но и представителей других наук, которые, наряду с чисто структурными, внутриязыковыми факторами, будут принимать во внимание и факторы внешние, социальные, связанные с развитием общества — носителя языка.

Диалектные слова, т. е. слова, отраженные в художественном произведении, но не закрепленные в словаре литературного языка, по нашему мнению, должны получить толкование в словаре языка писателя или произведения, отразившего их, диалектизмы же, в нашем понимании, толкуются в словаре литературных языков, их место именно в этих последних. Что касается областных слов (регионализмов, локализмов), то их место всецело в областных региональных словарях, отражающих лексическую систему того или иного диалекта, или в сводных областных

[17] И. А. Оссовецкий, указ. соч., стр. 305.
[18] См.: «Вопросы культуры речи», I, М., 1955, стр. 9.

словарях, каким был «Опыт областного великорусского словаря» или же какими являются издающийся ныне многотомный «Словарь русских народных говоров» под редакцией Ф. П. Филина, двухтомный «Словарь грузинских народных говоров», составленный Ал. Глонти, и им подобные.

Сделанные нами выводы позволяют, как кажется, поставить вопрос о целесообразности замены лексикографической пометы «областное», применяемой почти во всех словарях литературного языка, пометой «диалектизм».

Остановимся более подробно на вопросе о месте слов-диалектизмов в составе общенародного языка. Почти общепринятым считается мнение, согласно которому диалектизмы стоят за пределами литературного языка. Нам не кажется это положение бесспорным по отношению к той части диалектных по происхождению слов, которые нами квалифицируются как диалектизмы. Коль скоро эти последние представлены в словарях литературных языков, они уже не являются внелитературными, несмотря на сопровождающие их ограничительные пометы. В противном случае словари литературных языков не отвечали бы своему назначению, так как в их составе оказались бы слова, стоящие за пределами литературных языков и тем самым нарушающие лексические нормы этих последних. Совершенно другое дело, какое место они там занимают — центральное или периферийное.

Выдвигая такое положение, мы предвидим и возражения, связанные с тем, что среди слов с пометой «областное» имеются такие, которые носят запретительный характер или служат справочным целям. Мы имеем в виду не эти отклонения, а то огромное большинство лексем, которое постоянно переходит главным образом из языка художественной литературы в словарь литературного языка, пополняя и обогащая это последнее.

Диалектное слово, превратившись в диалектизм, уже подверглось определенному качественному преобразованию и, вступив в новые парадигматические и синтагматические отношения со словами литературного языка, тем самым уже стало чем-то новым и в лексикографическом плане, что отражается в переходе его из словаря языка писателя или художественного произведения, зафиксировавшего его, в словарь литературного языка. Диалектное слово, испытав подобное преобразование, становится достоянием литературного языка, но по сравнению с другими пластами лексики последнего занимает в нем периферийное положение, на что указывает и соответствующая ограничительная помета.

Когда говорят, что диалектные слова относятся к лексике внелитературной, то под ними, по нашему мнению, следует подразумевать прежде всего областные слова (в нашем понимании), а затем диалектные, т. е. такие же областные слова, но уже отраженные в художественном произведении, а не те лексические единицы, которые вошли в словарь литературного языка, т. е. не ту часть лексики, которую составляют диалектизмы.

Диалектизмы, как мы говорили, с некоторыми ограничениями входят в состав литературной лексики, а диалектные и областные слова стоят вне ее пределов. Когда мы говорим «с некоторыми ограничениями», то мысленно ассоциируем их с теми пластами литературной лексики, которые понятны не всем носителям литературной речи. Естественно, что медицинскую терминологию может не знать ученый-филолог и тем более филологическую — ученый-медик. Попытаемся обосновать выдвинутое положение.

Известно, что в словарях литературного языка представлены не только словарные диалектизмы, но и диалектные значения так называемых ли-

тературных слов, т. е. лексемы с литературными и диалектными значениями. Например, слово *тенетник* в семнадцатитомном «Словаре современного русского литературного языка» (XV, стлб. 276) представлено с двумя значениями: «1) Паук, плетущий паутину, 2) Областное — осенняя паутина, летающая по воздуху». Двумя значениями представлено и слово *насыпка* (VII, стлб. 563) «1) Действие по значению глагола *насыпать*, 2) Областное — нижняя наволочка подушки, наполняемая пухом, перьями». Первые значения приведенных слов являются литературными, а вторые — диалектными, областными. Подобные словарные единицы составителями словарей квалифицируются как многозначные, хотя их значения относятся к разным речевым системам.

Б. А. Почхуа основным источником полисемии считает введенные из специальных языков значения, но вместе с тем отмечает, что определенная роль в этом процессе принадлежит и скоплению значений, ведущих свое начало из диалектов [19]. Возникает вопрос, насколько правомерна такая квалификация «полулитературных», «полудиалектных» лексических единиц, можно ли их на самом деле считать многозначными? Можно, но при том непременном условии, если значение, снабженное ограничительной пометой «областное», рассматривать как значение литературное, потому что под многозначными понимаются слова, имеющие, кроме главного, и другое (или другие) значения, но в пределах одной коммуникативной системы.

Ответ на поставленный вопрос, правда, в неявной форме, встречается у самих лексикографов. Поскольку диалектные значения «литературных слов» они помещают в одной словарной статье рядом с литературным значением, постольку они признают, что диалектизмы, диалектные значения «литературных слов» стали достоянием литературного языка, но с пометой, ограничивающей их употребление.

Если же диалектизмы или диалектные значения, толкуемые в словаре литературного языка, считать внелитературными, как это обычно принято делать, то на каком основании литературные и диалектные значения одного «общенародного слова» даются в единой словарной статье? Ведь общепринятым считается положение, в силу которого слово представляет собой единство звучания и значения, но в одной речевой системе, а не в разных. Вероятно, не будет ошибкой сказать, что диалектные значения «общенародных слов», если они генетически не связаны с литературными их значениями, фактически являются так называемыми семантическими диалектизмами.

Введение в словарь литературного языка диалектных значений общенародных слов является по существу одним из путей расширения круга многозначных лексем в составе литературного языка, если диалектные и литературные значения рассматривать как значения одной лексической системы. Если же считать их значениями разносистемными, тогда мы не вправе оставить их в одной словарной статье; такие многозначные, условно, словарные единицы, по нашему мнению, следует «расщеплять» на самостоятельные слова: значение литературное оформить как единицу литературного языка, диалектное значение — как единицу диалектную или как диалектизм и, соответственно этому, последнюю поместить или в словаре языка писателя, или в региональном диалектном словаре, или, наконец, в словаре литературного языка, но в последнем случае снабдив пометой «областное».

---

[19] См.: Б. А. Почхуа, Лексикология грузинского языка, Тбилиси, 1974, стр. 157 (на груз. яз.).

Одно из преимуществ структурного подхода к языку в том и заключается, что языковые единицы рассматриваются в его рамках в связи с другими единицами той же системы, а не другой. Глагол *пахать*, например, в одних русских говорах означает «взрыхлять, возделывать землю с помощью отвальных орудий», в других «резать» (мясо, хлеб), в третьих — «мести, подметать» (пол). Но значит ли это, что данный глагол является многозначным, если каждое из названных выше значений реализуется в разных диалектных системах? Нам представляется, что в подобных случаях мы имеем дело не с полисемантическими лексемами, а с разными единицами, функционирующими в различных коммуникативных системах единого национального языка.

Л. П. Жуковская пишет, что слово *баской* представлено во многих русских диалектах в значении «красивый», но в одних диалектах оно имеет широкое значение «красивый, хороший» (*баская девка*, *баской ситец*, *баская капуста*), в других же его значение у́же — слово это может быть употреблено только в сочетании с лексемой *девка* — *баская девка*. Следовательно, в первом случае у него складываются одни парадигматические и синтагматические отношения, во втором — другие [20]. Развивая мысль Л. П. Жуковской, можно сказать, что звуковой комплекс *баской* в разных говорах представляет собой разные лексические единицы, потому что его семантические возможности и структурные связи с другими единицами реализуются по-разному. Следовательно, звукосочетание *баской* с широким значением будет представлять собой одну словарную единицу и реализоваться в одних говорах, а с узким значением — другую единицу и, соответственно, реализоваться в других говорах.

Таким образом, не только диалектные значения одного и того же звукового комплекса, реализуемые в разных диалектах, но даже оттенки значений, дающие о себе знать в разного рода парадигматических и синтагматических связях с другими словами, по нашему мнению, могут служить основанием рассматривать такие сочетания звуков как разные лексемы и, соответственно, отражать их в словарях разных диалектов одного и того же языка.

Все сказанное дает, как кажется, право утверждать, что диалектизмы, в отличие от диалектных и областных слов, составляют один из периферийных пластов литературной лексики и поэтому отражаются в словарях литературного языка, а диалектные значения, толкуемые рядом с литературными значениями в одной словарной статье, служат одним из факторов умножения полисемантических единиц в составе литературного языка. Думается, что предлагаемая более дробная градация словарных единиц позволит отчетливее отразить и динамику пополнения литературной лексики.

---

[20] См.: Л. П. Жуковская, Типы лексических различий в диалектах русского языка, ВЯ, 1957, 3, стр. 110.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1978

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

СКОВОРОДНИКОВ А. П.

О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ» И «ПРИСОЕДИНЕНИЕ»

(на материале русского литературного языка)

В современном русском литературном языке широко распространен прием речевой выразительности, в последнее время часто обозначаемый термином «парцелляция» и состоящий в таком расчленении единой синтаксической структуры предложения, «при котором она воплощается не в одной, а в нескольких интонационно-смысловых речевых единицах, то есть фразах» [1].

Задолго до введения термина «парцелляция» соответствующие речевые факты неоднократно подвергались научному рассмотрению в довольно широком и неоднородном кругу явлений, обозначаемых термином «присоединение».

В последние 10—15 лет параллельно используются оба термина, причем часто для обозначения одного и того же феномена. Поэтому они оказались в известной мере синонимичными и во всяком случае недостаточно взаимно определенными, что отчасти объясняется узостью тем многих работ, посвященных проблеме парцелляции — присоединения.

Цель предлагаемой обзорной статьи — уточнение и взаимная «корректировка» понятий, стоящих за терминами «парцелляция» и «присоединение».

Понятие присоединения обязано своим широким распространением в научном синтаксическом обиходе работам Л. В. Щербы, В. В. Виноградова и С. Е. Крючкова, в которых были сформулированы основные признаки присоединения как особого вида синтаксической связи: 1) психологический признак «непреднамеренности», когда присоединительная связь объясняется, в отличие от соединительной, как такая, при которой «второй элемент появляется в сознании лишь после первого или во время его высказывания» [2]; 2) экспрессивно-семантический признак, в силу которого присоединительными конструкциями называются такие, где «части не умещаются в одну смысловую плоскость, логически не объединяются в целостное, хотя сложное представление», где «субъективные мотивы, тонкие изломы экспрес-

[1] Ю. В. Ванников, Синтаксические особенности русской речи (явление парцелляции), М., 1969, стр. 6; ср.: его же, Явление парцелляции в современном русском языке. АКД, М., 1965; Л. Н. Константинов, Расчлененные конструкции с подчинительными союзами, соотносительные с формулой сложноподчиненного предложения, в современном русском литературном языке. АКД, Новосибирск, 1969; Г. Н. Рыбакова, Парцелляция сложноподчиненного предложения в современном русском языке. АКД, Ростов-на-Дону, 1969; В. И. Зельцер, Текстовая актуализация частей *сложноподчиненного предложения в современном русском литературном* языке. АКД, Л., 1973.

[2] Л. В. Щерба, О частях речи в русском языке, в его кн.: «Избр. работы по русскому языку», М., 1957, стр. 80.

сивных форм меняют и разрушают привычную логику синтаксического движения, создавая разрывы, несоответствия между нормальными значениями синтаксических форм и их стилистическими применениями» [3]; 3) семантический признак, согласно которому «присоединение представляет собою как бы добавочное суждение», которое возникает в сознании как бы в процессе высказывания — дополнительно [4].

Признаки присоединения, выдвинутые Л. В. Щербой и В. В. Виноградовым, обобщают многочисленные факты речевой действительности. Однако использованные многими последующими исследователями без учета специфических условий, применительно к которым они были сформулированы, эти признаки не смогли послужить основой для выделения в синтаксисе четко очерченной категории присоединительной связи.

Дело в том, что Л. В. Щерба, высказывая свои суждения о присоединении, имел в виду главным образом живую русскую речь или во всяком случае звучащую (устную) речь [5]. Этот факт обязывает исследователей, заимствующих у Л. В. Щербы критерий присоединительности, использовать последний в «своей» сфере — при анализе определенной группы фактов непринужденной устной речи. В практике же большинства научных исследований, посвященных проблеме присоединения, критерий Л. В. Щербы пытаются распространить на всю область русского литературного языка, и прежде всего — на область языка книжно-письменного. Между тем последовательное разграничение непринужденной разговорной речи и речи книжно-письменной позволяет увидеть, что признак непреднамеренности, приписываемый присоединению многими лингвистами, объясняет лишь некоторые факты устно-разговорной речи и ее письменных отражений и не может быть распространен на всю сферу присоединения [6].

То же относится и к признаку присоединительности, выдвинутому в работах В. В. Виноградова. Присоединение интересует В. В. Виноградова не столько как грамматическое явление, сколько как стилистическое. Анализ рассуждений о присоединении и примеров этого явления, содержащихся, например, в цитированной выше статье «Стиль „Пиковой дамы“», не оставляет сомнений в том, что присоединение здесь понимается В. В. Виноградовым как семантико-стилистическая категория, как стилистический прием, имеющий в языке семантико-экспрессивную основу. В. В. Виноградов в этой работе стремится установить связь (единство принципов построения) между композиционным «монтажом» и «монтажом» речевых единиц в тексте («субъективные разрывы»), а не признаки синтаксической категории присоединения. Именно этим объясняется парадоксальное, на первый взгляд, утверждение В. В. Виноградова о том, что «союзы часто являются в стиле Пушкина обманчивыми сигналами связи», которая иногда и «вовсе не осуществляется», что «союзы вообще не обязательны для присоединительных конструкций: существенен лишь момент соседства, сопоставленности, примыкания», а также не менее парадоксальные (с чисто грамматических позиций) примеры присоединительной связи, как, скажем, такой: *Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости* (формы «последовательного присоединения» с союзом *и*) [7].

[3] В. В. Виноградов, Стиль «Пиковой дамы», в кн.: «Пушкин. Временник пушкинской комиссии», 2, М.— Л., 1936, стр. 140 и 141.

[4] С. Е. Крючков, О присоединительных связях в современном русском языке, «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950, стр. 400.

[5] Л. В. Щерба, указ. соч., стр. 80—81.

[6] См. об этом: А. В. Колесников, Подключенные конструкции в синтаксисе целого текста. АКД, М., 1971, стр. 11—13.

[7] В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 140—141.

Указанные обстоятельства в известной мере объясняют, почему на основе критерия присоединительности, выдвинутого В. В. Виноградовым, не удалось сколько-нибудь определенно очертить границы категории присоединения в русском синтаксисе [8].

Сформулировав свое понимание присоединения как дополнительного сообщения в высказывании, представляющего собой «как бы добавочное суждение», С. Е. Крючков сделал определенный шаг в направлении выявления синтаксической категории присоединения, ибо указал на значение этой связи. Однако семантический критерий дополнительного сообщения или добавочного суждения, сам по себе достаточно широкий и не вполне определенный (что дало повод некоторым лингвистам толковать его как указание на «смысловую второстепенность, ущербность» присоединяемого предложения) [9], не был в работе С. Е. Крючкова ограничен строго определенными и специфичными только для данного типа связи формальными признаками. Это приводит к тому, что границы категории присоединения у С. Е. Крючкова неправомерно расширены. В качестве присоединительных в этой работе параллельно рассматриваются как предложения со специально присоединительными союзами и союзными сочетаниями, так и разнообразные типы сложных предложений с сочинительными и подчинительными союзами, предложения с бессоюзной связью частей, явные случаи парцелляции (разрыва) простого предложения, как, например: «Напомнила взять тазик и кисточку для бритья. И крем для сапог. И щетку» (В. Панова); «Они увидели молнию. И побежали домой» [10]. Некоторые примеры С. Е. Крючкова обнаруживают не присоединение в узком (специальном) смысле этого термина, а такую синтаксическую связь предложений, которую А. М. Пешковский определил как «сочинение предложений после точки» [11] и которую иногда называют «зацеплением» [12], как, например, в предложении: «Проклятый сон! . . . А все перед лампадой старик сидит и пишет» (Пушкин).

Высказывания Щербы, Виноградова, Крючкова о присоединительной связи надолго определили характер *изысканий в этой области.*

Работы по присоединению, написанные в 50 и 60-х годах, в большинстве своем характеризуются чрезмерно широкой, не введенной в четкие грамматические рамки трактовкой этого понятия [13]. Естественно, что сложившееся и ставшее традиционным широкое понимание присоединения *не способствовало выделению в самостоятельный объект* синтаксического и стилистического исследования того круга явлений, которые сейчас часто именуются парцелляцией. Отсюда неразличение конструкций присоединения и парцеллированных (расчлененных) конструкций во многих исследованиях, в том числе и последнего времени [14].

Даже авторы, принципиально отрицающие тождество понятий при-

---

[8] См., например: М. О. Платонова. Присоединительные конструкции в языке Л. Н. Толстого. АКД, Л., 1973. На материале английского языка: М. Т. Гаибова, Присоединительные конструкции и их стилистические функции в художественной прозе. АКД, М., 1973.

[9] Ю. В. Ванников, Существует ли присоединительная связь предложений?, «Труды ун-та дружбы народов им. Патриса Лумумбы», 8, 1965, стр. 165.

[10] С. Е. Крючков, указ. соч., стр. 400, 403.

[11] А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1956, стр. 477.

[12] С. И. Гиндин, Внутренняя организация текста. Элементы теории и семантический анализ. АКД, М., 1972, стр. 10—11.

[13] См. об этом: М. Я. Блох, К проблеме присоединительных связей предложений (на материале русского и английского языков), «Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина», 367 — Вопросы грамматики английского языка, 1969, стр. 40.

[14] См., например: М. И. Шашкова, О присоединительных конструкциях

соединения и парцелляции, сводят их различие к родо-видовым отношениям, объявляя парцелляцию разновидностью присоединения [15].

Решающий шаг в разграничении понятий присоединения и парцелляции как явлений, принадлежащих разным уровням языка, сделан в работах, различающих в синтаксической структуре предложения два аспекта: конструктивный (статический) и функциональный (динамический). Наиболее четко это разграничение проведено в монографии В. А. Белошапковой, где, в частности, констатируется следующее: «С позиций такой синтаксической концепции, которая различает статическую и динамическую стороны предложения, необходимо отличать от присоединения как явления динамического аспекта, состоящего в несовпадении границ предложения как статической и как динамической структуры (несовпадения, которое определяется функциональной перспективой речи), присоединение как определенный тип смысловых отношений — отношения д о б а в л е н и я. Присоединение как отношение добавления выражается определенным кругом союзов и сочетаний союзов с различными лексическими элементами, а следовательно, предполагает определенный круг схем предложения как статической структуры и представляет явление статического аспекта. Присоединение как отношение добавления совсем не предполагает коммуникативной отторгнутости части статической структуры...» [16].

Положение о двух типах присоединения, выделяемых в зависимости от того, какой аспект предложения — статический или динамический — оказывается объектом исследования, четко сформулированное в работе В. А. Белошапковой, позволяет уяснить неправомерность отождествления присоединения и парцелляции или рассмотрения их как явлений однопорядковых, соотносящихся по линии родо-видовых отношений; дает возможность увидеть, что парцелляция — явление коммуникативно-функционального плана предложения (динамического аспекта), тогда как присоединение, как явление статического аспекта предложения, относится «к одному из типов логико-грамматических отношений, однопорядковому с другими типами отношений (разделительных, противительных, причинных, следственных и т. д.)» [17]. Сейчас синтаксисты подошли к уяснению того, что парцелляция не может рассматриваться как разновидность присоединения [18]. Правда, для обоснования этого верного положения нередко выдвигаются не вполне убедительные аргументы. Так, В. К. Покусаенко утверждает, что парцелляция и присоединение представляют собой явления по существу противоположные, поскольку «при

в языке В. И. Ленина, «V научно-методическая конференция преподавателей кафедр русского языка педагогических институтов Сибири и Дальнего Востока. Тезисы докладов», Уссурийск, 1967; Н. А. П р о н ь, Присоединительные конструкции в современном русском литературном языке (на материале произведений К. А. Федина), в кн.: «Вопросы истории и теории русского языка», 4, Калуга, 1971.

[15] Ж. Е. П е т р а ш е в с к а я, К вопросу о парцелляции как приеме экспрессивного синтаксиса, «Проблемы грамматики и стилистики английского языка», М., 1973, стр. 161; В. Н. С т р е л ь ц о в, О природе парцелляции, «Уч. зап. МОПИ им. Н. К. Крупской», 249, вып. 25, 1972, стр. 239.

[16] В. А. Б е л о ш а п к о в а, Сложное предложение в современном русском языке, М., 1967, стр. 27.

[17] Н. П. К и с е л е в а, Средства выражения присоединения между компонентами, связанными подчинительными отношениями, в современном русском языке. АКД, М., 1971, стр. 4.

[18] В. К. П о к у с а е н к о, К вопросу о парцелляции сложных бессоюзных предложений, «Вопросы синтаксиса современного русского литературного языка», Ростов-на-Дону, 1973, стр. 142; Е. Б. Т о п у р и д з е, К вопросу о разграничении явлений присоединения и парцелляции в русском языке, в кн.: «Актуальные вопросы теории исторического и современного синтаксиса русского языка», Барнаул, 1976.

парцелляции конструкция, единая в языке, расчленена в речи; при присоединении, напротив, конструкции, расчлененные в языке, представлены в речи как определенное единство» [19].

На самом же деле присоединительные конструкции как грамматическая категория представляют собой определенное единство в языке, а в речи могут быть (а могут и не быть) расчленены, что хорошо показано в цитированной работе В. А. Белошапковой [20]. Присоединение неправомерно относить только к уровню речи, как делают некоторые исследователи [21], поскольку это явление представлено в языке специфическими средствами связи и моделями предложений.

Для последовательного разграничения парцелляции и присоединения на уровне любой коммуникативно-синтаксической единицы (простого предложения, сложного предложения, сложного синтаксического целого) существенное значение приобретают работы, посвященные исследованию присоединения как явления статического аспекта предложения. Среди таких работ прежде всего следует назвать работы А. Ф. Прияткиной, П. В. Кобзева, А. В. Колесникова [22].

А. Ф. Прияткиной намечено важное различение присоединения «по степени его „грамматичности“»: «в одних случаях перед нами в основном присоединительное значение, синтаксическое оформление которого лишь едва намечено; в других случаях — уже сложившаяся синтаксическая конструкция» [23]. С этих позиций А. Ф. Прияткина предлагает различать три вида присоединения: «1) то, которое формально выражается лишь интонацией; 2) то, которое выражается, кроме интонации, и другими синтаксическими показателями; 3) то, которое образует особую синтаксическую конструкцию» [24].

Это положение о трех видах присоединения, на наш взгляд, может найти дополнительное обоснование, если постулировать присоединению статус полевой структуры. При анализе языкового материала в аспекте категории присоединения нельзя не заметить, что «здесь сохраняется самое главное, что характеризует полевую структуру: полнота и максимальная интенсивность признаков в центре структуры и их разреженность и ослабление на периферии» [25]. Три вида присоединения, представленные в концепции А. Ф. Прияткиной как ступени «грамматикализации» этого явления, укладываются в оппозицию «центр (ядро) — периферия».

Ядром «поля присоединения» можно считать те синтаксические конструкции, в которых специфическое значение присоединения — значение добавления (уточнения, разъяснения, развития ранее высказанной мысли) выражается специфическими присоединительными союзами и сочетаниями: *да и, да еще, причем, притом, к тому же, а между тем, сверх того, при этом, притом же, да и притом же, со всем тем, при всем том,*

---

[19] В. К. Покусаенко, указ. соч., стр. 142.

[20] В. А. Белошапкова, указ. соч., стр. 27—28.

[21] См., например: М. Е. Шафиро, Присоединение как явление речевого синтаксиса (квалификация в аспектах актуального и грамматического членения). КД, Саратов, 1964, стр. 6—9.

[22] А. Ф. Прияткина, *К изучению присоединительных конструкций*, «Уч. зап. [Дальневосточного гос. ун-та]», 5, Владивосток, 1962; П. В. Кобзев, Присоединительные союзы, не омонимичные сочинительным и подчинительным, «V научно-методическая конференция преподавателей кафедр русского языка педагогических институтов Сибири и Дальнего Востока. Тезисы докладов», Уссурийск, 1967; А. В. Колесников, Подключенные конструкции в синтаксисе целого текста. АКД, М., 1971.

[23] А. Ф. Прияткина, указ. соч., стр. 44.

[24] Там же, стр. 45.

[25] В. Г. Адмони, Основы теории грамматики, М.— Л., 1964, стр. 51.

да и сверх того, *и все же*[26]; *кроме того*, *в довершение всего*, *вдобавок*, *помимо того*, *помимо* (*всего*) *этого*, *более того* и др.[27].

Некоторые из этих союзных средств универсальны, так как могут присоединять как члены предложения, так и целые предложения (например, *да и*, *да еще*, *причем*, *притом* и др.); другие используются преимущественно для присоединения («подключения», в терминологии А. В. Колесникова) целых предикативных единиц (*и все же*, *в довершение всего*, *помимо того*, *более того* и др.). В обоих случаях мы имеем дело с категорией присоединения — явлением статического (строевого) аспекта предложения, четко противопоставленным парцелляции как явлению динамического аспекта предложения. Применительно к такому «центральному», или «ядерному», присоединению на уровне предложения (простого и сложного) не может быть ситуации неразличения присоединения и парцелляции, но может быть ситуация совмещения этих явлений, ситуация наложения парцелляции на присоединение. Например: «Она всегда очень дорожила семьей. *Да и теперь дорожит*» («Известия», 14 III 1970); «Схватка обострялась, напоминая по накалу нечто среднее между битвой при Фермопилах и стычкой на коммунальной кухне за конфорку. *Причем на кухне*, *наверное*, *кое-кто уже не выдержал бы*, *отступил*, *ибо здоровье и время дороже. Да и зарплату за это не дают*» («Известия», 13 III 1973).

К менее яркой зоне ядра «поля присоединения» относятся те случаи «грамматикализованного» присоединения, когда соответствующее этой категории значение находит выражение, кроме интонации, не в специализированных союзах и речениях, а в некоторых других формальных показателях, к которым относятся прежде всего: 1) сочетание сочинительных союзов (и некоторых вводных слов) с формами подчинения («грамматический алогизм»)[28]; 2) лексико-грамматический повтор[29]; 3) сочетание этих способов. Что касается порядка слов (постпозиция присоединяемого компонента), то он выступает как вспомогательное средство вместе с названными выше[30]. Например: 1) «Вот для этого необходимо действительно следить в оба. *Но чистыми глазами*» («Известия», 15 XI 1970); «Один работник общественного питания имел кота. *Между прочим*, *служебного*» («Лит. газета», 12 VI 1968); 2) «Но душевную травму она успела им нанести и должна за это отвечать. *Отвечать по законам нашей советской морали*» («Известия», 30 XII 1969); 3) «А у главного инженера тоже дела. *И тоже неотложные*»(«Известия», 20 XII 1970).

Присоединительные отношения в таких конструкциях сопровождаются соответствующей интонацией, но в принципе зависят не только от нее, и главным образом не от нее. Экспериментальное снятие «паузы точки» здесь не отменяет факта присоединительной связи и присоединительных отношений. Поэтому, применительно к письменной речи, пунктуационных показателей в таких случаях достаточно для отграничения конструкций с «чистым» присоединением от конструкций, в которых присоединение совмещается с парцелляцией[31].

[26] П. В. Кобзев, указ. соч., стр. 74—79.

[27] А. В. Колесников, указ. соч., стр. 18 и сл.

[28] Н. П. Киселева, указ. соч., стр. 9—14; А. Ф. Прияткина, указ. соч., стр. 52.

[29] А. Ф. Прияткина, указ. соч., стр. 52, 55.

[30] Точнее было бы говорить о постпозиции компонента не как о средстве, а как об условии присоединительной связи.

[31] Ср. два примера, из которых первый демонстрирует «чистое» присоединение, а второй — присоединение, совмещенное с парцелляцией: 1) «Но суть в самой „системе“. Она приносит вред святому делу воспитания молодежи и поэтому должна быть отменена, *и как можно скорее*» («Лит. газета», 4 IV 1973); 2) «Ребят поторопили. *И напрасно*. Впрочем, это беда не специфически южноуральская» («Лит. газета», 20 XI 1968).

К центральной же зоне «поля присоединения» следует отнести и тот случай, когда присоединительные отношения выражаются постановкой союза *и* внутри второго предложения, перед словом, которое несет логическое ударение: *Прения по докладу были оживленными, выступал и докладчик* [32]. Ср. парцеллированный вариант: *Прения по докладу были оживленными. Выступал и докладчик.*

В свете сказанного нельзя согласиться с мнением, что «присоединительное значение может быть выражено с помощью некоторых частиц» и что «основа такой их функции лежит в их лексическом значении». Например: «Она не желала идти на уступки. Даже во имя любви» (В. Панова. Спутники) [33]. То, что лексическое значение частицы не создает здесь присоединительной связи, доказывается возможностью снятия «паузы точки» (и, соответственно, пунктуационного знака).

В качестве формально-грамматического признака присоединения иногда называют нарушение сочинительных и подчинительных связей между двумя словами (*Собрала провизию — немного*) [34]. Однако следует заметить, что конструкции такого рода, бытующие в непринужденной устно-разговорной речи, не характерны для книжно-письменного литературного языка, не обладают в нем регулярностью и, по-видимому, применительно к этой разновидности литературного языка должны быть оценены как ненормативные.

К периферии «поля присоединительности» относятся те многочисленные случаи построения высказывания, когда единственным формальным показателем присоединительных отношений между компонентами конструкции оказывается интонация. Сюда относятся конструкции, которые могут быть интерпретированы как: а) присоединение члена (или членов) предложения; б) присоединение придаточных предложений; в) присоединение части бессоюзного сложного предложения; г) присоединение части сложносочиненного предложения. Например: а) «Он поднялся в управление музея. И неожиданно встретил много старых своих знакомых» («Известия», 17 I 1970); б) «Даже безнравственность не надо выслеживать. Потому что это безнравственно». («Известия», 15 XI 1970); в) «Многие знали об этом. Она узнала только сейчас» («Известия», 14 III 1970); г) «В кассе пропало одиннадцать рублей. И Валентина Степановна, сочтя, что их взяла Ира, раздела ее и обыскала» («Известия», 1 VII 1970).

Ни интонация законченности первой части, ни «пауза точки» между частями такой конструкции не могут служить дифференциальными признаками при разграничении «периферийного» (речевого) присоединения и парцелляции, так как эти сверхсегментные показатели являются здесь общими для этих разнопорядковых явлений: они имеют место и при речевом оформлении «добавочного сообщения», которое возникает в сознании как бы в процессе высказывания — дополнительно [35], и при намеренном расчленении единой грамматической структуры предложения на две или несколько интонационно-смысловых единиц — фраз, получившем название парцелляции [36]. Соответственно пунктуация не обладает здесь

---

[32] А. Н. Гвоздев, Современный русский литературный язык, 2 — Синтаксис, М., 1961, стр. 223.

[33] А. Ф. Прияткина, указ. соч., стр. 48.

[34] Там же, стр. 55.

[35] В письменной речи — главным образом в неофициальных письмах, а также при воспроизведении непринужденной устно-разговорной речи в художественных текстах.

[36] Вывод о совпадении основных компонентов интонации при присоединении и при парцелляции вытекает из анализа специальной литературы. См., например: В. Ф. Мильк, Интонация присоединения в современном русском языке, «Уч. зап. 1-го МГПИИЯ», 18, 1960; М. Е. Шафиро, Присоединение как явление речевого

различительной силой. Таким образом, «периферийное» присоединение и парцелляция оказываются в позиции формального неразличения. Для их разграничения есть только одно средство — анализ контекста употребления этих конструкций с целью их квалификации по психолингвистическому критерию преднамеренности — непреднамеренности (с точки зрения производителя речи). Причем часто придется констатировать случаи совмещения, наложения этих двух явлений — когда парцелляция высказывания служит для писателя средством создания эффекта непринужденного устно-разговорного добавочного сообщения.

Эта третья группа присоединительных конструкций («периферийное» присоединение) нуждается в некоторых дополнительных замечаниях.

При анализе конструкций группы «а» (присоединение члена предложения) возникает вопрос о роли порядка слов в разграничении конструкций с парцелляцией и конструкций с присоединением. Некоторые авторы фактор порядка слов включают в признаки парцелляции, при которой «отчлененный и вынесенный в конец элемент приобретает интонационный контур и информационную нагрузку самостоятельного высказывания» [37]. Отмечается возможность дистантного расположения парцеллята по отношению к базовой структуре [38].

С нашей точки зрения, квалификация такого рода конструкций требует дифференцированного подхода.

1. Парцеллированными могут быть конструкции с инверсией (а), в том числе и конструкции с инверсией обособляемого члена (б): а) «Редакция получила письмо. Весьма необыкновенное» («Известия», 21 XI 1968); б) «Субъект вполне современной внешности, этот Мелендин. С солидной осанкой. С подчеркнутой невозмутимостью одутловатого лица» («Известия», 26 VII 1972). Экспериментальное снятие «паузы точки» восстанавливает здесь первоначальную структуру с инверсией или обособлением. С другой стороны, в иных речевых условиях, исключающих преднамеренное расчленение предложения (например, в некоторых ситуациях устно-разговорного общения), подобные конструкции следовало бы рассматривать как конструкции с «периферийным» присоединением.

2. Более сложный случай представляют собой построения «с дистантным расположением парцеллята по отношению к базовой структуре», как их называет Е. А. Иванчикова, например, такие: «Удачливый, предприимчивый, ловкий — вот что отличает героев иллюстрирте. *И как следствие всего этого — богатый*» («Комсомольская правда», 11 III 1973); «И он слушал, и он верил, и он снова и снова исписывал груды бумаги, а вечерами мы собирались все четверо и слушали, как он читал свое и чужое. *Часами*» («Известия», 8 IV 1968).

В этих случаях постпозиция компонента тоже является общим условием парцелляции и присоединения, так как вне широкого контекста неясно, имеем ли мы дело с интонационным расчленением единой синтаксической единицы, сопровождаемым «вынесением» ее структурного компонента за пределы первой «фразы» (и тогда это парцелляция), или перед нами факт синтаксической связи двух синтаксических единиц, при которой к синтаксически завершенному предложению «подключается» синтагма,

---

синтаксиса. АКД, Саратов, 1965, стр. 20—22; Л. Г. Хатиашвили, Присоединительные связи в русском языке, Тбилиси, 1963, стр. 31—33; В. И. Зельцер, указ. соч., стр. 179.

[37] «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 621—622.

[38] Е. А. Иванчикова, Парцелляция, ее коммуникативно-экспрессивные и синтаксические функции, в кн.: «Морфология и синтаксис современного русского литературного языка», М., 1968, стр. 234.

формально эквивалентная члену предложения, распространенному или нераспространенному (и тогда это присоединение за пределами предложения, создающее особую разновидность сложного синтаксического целого).

3. От парцелляции предложения, осложненной тем или иным видом инверсии, следует отличать конструкции, которые не являются и не могут являться парцеллированными предложениями независимо от варьирования окружающего контекста. К ним не применимо (по структурным или семантическим причинам) экспериментальное снятие парцелляции, в том числе и осложненное операцией перестановки слов. В силу этого они не соответствуют принятым сейчас определениям парцелляции, когда последняя рассматривается как такой речевой способ реализации языковой структуры, при котором одно предложение представлено в речи несколькими фразами, или как конструкция, представляющая собой как бы разорванное единство [39]. В таких случаях порядок слов вместе с интонацией (иногда в сочетании с союзами и союзными речениями) выполняет функцию присоединения компонента сложного синтаксического целого. Например: «А я всю жизнь так пишу. *И некоторые другие.* И о нас — ни слова» («Лит. газета», 7 VIII 1968); «А другие говорят: молодец! Ошибки всегда надо разоблачать. *И чем позже, тем интереснее*» («Известия», 19 V 1968).

Таким образом, постпозиция компонента в одних случаях является общим условием присоединения и парцелляции, а в других — условием организации сложного синтаксического целого определенного типа.

Периферийность конструкций группы «б» (присоединение придаточных предложений) обнаруживается в том, что значение добавочного сообщения в них всегда вторично, оно «наслаивается» на основное грамматическое значение, выраженное подчинительным союзом, и является, по сути дела, не языковым, а речевым.

По отношению к конструкциям группы «в» (бессоюзная связь) и группы «г» (связь сочинительными союзами) возникает проблема псевдопарцелляции. Мы имеем в виду следующее.

Известно, что в ряду условий, облегчающих парцелляцию, стоит сочинительная связь [40]. Причем в ряде случаев выбор модели (сложносочиненное предложение или сочетание предложений в сложном синтаксическом целом — ССЦ) и, соответственно, знака препинания (запятая или точка) оказывается факультативным. Ср., например, такие тексты:

а) «Увы, эти способы давно и прочно осуждены широкой общественностью как не научные, и Адольф Григорьевич, размышляя над очередным рапортом вышестоящему начальству о новациях и совершенствовании НИИ, был вынужден идти непроторенными дорогами первопроходца, собственноручно прорубая просеки вариантов в чаще конкретной обстановки, сложившейся во Всесоюзном научно-исследовательском институте переработки нефти (ВНИИНП)» («Известия», 14 I 1976);

б) «Все эти толчки, намеки, словечки разъедают характер, накапливают желчь. И спокойный, гордый, достойный человек незаметно становится маленьким и мелким» («Известия», 23 XI 1969).

Вопрос о том, считать ли тексты, подобные последнему примеру («б»), парцеллированными конструкциями, по-видимому, может быть решен

[39] Е. А. Иванчикова, Лексический повтор как экспрессивный прием синтаксического распространения, в кн.: «Мысли о современном русском языке», М., 1969, стр. 133.

[40] Е. А. Иванчикова, Парцелляция, ее коммуникативно-экспрессивные и синтаксические функции, стр. 288. Ср.: Ж. Е. Петрашевская, Парцелляция простого предложения в современном английском языке. АКД, М., 1974, стр. 3.

только на основе вероятностно-статистического исследования, с помощью которого можно было бы установить, какой из двух вариантов реализации текста (в виде сложносочиненного предложения или в виде ССЦ) является более вероятным с точки зрения современной литературной нормы. При большей вероятности оформления определенного содержания в виде ССЦ, такое высказывание должно быть квалифицировано не как парцеллированное сложносочиненное предложение (специальный стилистический прием), а как соотносительное с ним стилистически немаркированное сложное синтаксическое целое [41].

Если исходить из определения парцеллированной конструкции как такой, которая представляет собой стилистически маркированный интонационно-расчлененный речевой вариант единой синтаксической структуры предложения (а именно этого определения мы придерживаемся), то, естественно, нельзя согласиться с отнесением к разряду парцеллированных (как это делает Ю. В. Ванников) таких синтаксических структур, которые в силу сложившейся в русской речи системы норм почти никогда не реализуются в одной фразе, и тем более таких, которые «невозможны при однофразовом представлении предложения», например: «На четвертый день посольство пришло на адмиральский корабль. Разостлали белый анатолийский ковер, положили дары» (А. Толстой, Петр Первый); «Соломон, испугавшись, как бы совсем бакшиш не ушел от него, — русские, видимо, знали больше, чем надо, — схватил великого посла за рукава. Начал спорить. Пошли в каюту» (там же) [42].

По мнению Ю. В. Ванникова, из-за неоднородности сказуемых в построениях подобного рода «синтаксическая коллизия, возникающая при парцелляции рассматриваемого типа, не может быть разрешена в границах одной фразы» [43].

Синтаксическая коллизия действительно возникает, если такие тексты рассматривать как одно сложное предложение. Если же их рассматривать как особого рода сложные синтаксические целые, то здесь нет ни коллизии, ни, разумеется, парцелляции.

Таким образом, парцеллированные сложносочиненные предложения, а также ССЦ, представляющие собой параллельные варианты сложносочиненных предложений, нужно отличать от ССЦ, структурно не параллельных сложным предложениям, а также от соединения самостоятельных предложений, между которыми отсутствует отношение детерминации [44].

Едва ли не самым сложным является установление парцелляции бессоюзного сложного предложения, поскольку «при бессоюзии и определенной семантике противопоставление сложного предложения и ряда предложений может ослабевать и даже нейтрализоваться, так как отсутствует наиболее яркий выразитель синтаксических отношений, что затрудняет определение границ предложения»[45]. Справедливым пред-

[41] По-видимому, следует признать необходимым применение вероятностного критерия (установление преобладающей частотности вариантов) также к некоторым сложным синтаксическим конструкциям с подчинительными союзами (например, с союзом *ибо*), а также с присоединительными союзами (например, с союзом *тем более*) — в силу большого распространения расчлененных вариантов, у которых вторая часть начинается союзом после точки.

[42] Ю. В. Ванников, Синтаксические особенности русской речи, стр. 44—45, 51—53.

[43] Там же, стр. 53.

[44] См.: Г. В. Валимова, Сложное предложение и сочетание предложений, «Вопросы синтаксиса современного русского литературного языка», Ростов-на-Дону, 1973.

[45] Г. В. Валимова, указ. соч., стр. 93. См. также: М. А. Авласевич, О парцелляции в современном русском литературном языке. «Вестник Белорусск. ун-та», Серия 4, 1973, 1, стр. 57.

ставляется утверждение о том, что «только в тех случаях, когда есть возможность обосновать тождество типов структуры „целого" бессоюзного предложения и бессоюзно связанных структур, между которыми разделительная пауза, можно говорить о наличии парцелляции бессоюзного сложного предложения»[46]. По мнению В. К. Покусаенко, различение парцеллированных и непарцеллированных конструкций имеет место в области полипредикативных бессоюзных предложений, так как «в случае интонационного расчленения такого предложения возможно „восстановление" его структурной основы, что в свою очередь помогает выявлять парцеллят и основную часть»[47]. Например, следующий текст следует квалифицировать как парцеллированное бессоюзное предложение: «Мать отбирала ботинки — он играл босиком, в кровь разбивая ноги; она прятала брюки — убегал в трусах. Запирала на ключ — по карнизу добирался до окна парадной» (А. Коробов. Запасной)[48].

Вопрос же о возможности выделения парцеллированных элементарных бессоюзных предложений требует дополнительных исследований, в том числе вероятностно-статистического характера.

Подведем некоторые итоги.

1. Присоединение — в принципе явление статического аспекта предложения. Это грамматическая категория, обладающая собственным грамматическим значением (значением добавочного сообщения) и собственной грамматической формой (специальными союзами, союзными речениями и другими формальными средствами). Вместе с тем эта категория имеет полевую структуру, в которой выделяются центральная и периферийная зоны.

2. Парцелляция — явление динамического аспекта предложения. Это стилистический прием, состоящий в вычленении части высказывания, построенного по формуле предложения, в самостоятельное высказывание, или, что то же самое,— представленность предложения в виде двух или нескольких фраз в экспрессивных целях. Парцелляция может осуществляться в простых и сложных предложениях разной структуры, в том числе и в предложениях, выражающих присоединительные отношения.

3. В «центральной» зоне присоединение и парцелляция всегда формально разграничены, в том числе и тогда, когда сосуществуют в одном высказывании. В «периферийной» зоне присоединение и парцелляция находятся в позиции формального неразличения. Для их разграничения необходим контекстно-семантический анализ.

4. Связи между компонентами сложного синтаксического целого, построенного не по формуле предложения, могут быть аналогами «внутрипредложенческой» присоединительной связи, однако поскольку понятие парцелляции применимо только по отношению к предложению, то взаимодействие (наложение) парцелляции и присоединения имеет место только на уровне предложения, а не на уровне такого сложного синтаксического целого.

5. В отношении значительного круга моделей сложносочиненного и бессоюзного типов предложений, а также в отношении некоторых моделей сложноподчиненного типа предложений существует проблема псевдопарцелляции, которая для своего разрешения требует проведения вероятностно-статистических исследований.

6. Последовательное различение присоединения как явления статического аспекта предложения и парцелляции как явления динамического

---

[46] В. К. Покусаенко, указ. соч., стр. 143.
[47] Там же, стр. 144.
[48] Там же, стр. 147.

аспекта предложения, с одной стороны, и «центрального» и «периферийного» присоединения, — с другой, позволит избежать некоторых необоснованных или односторонних утверждений, например, что присоединение должно быть квалифицировано как связь, которая наслаивается на сочинение и подчинение; что специфически присоединительные союзы (типа *да и*, *да еще*, *притом*, *причем* и др.) «своим грамматическим авторитетом... узаконивают разрыв, свойственный присоединению как явлению динамического плана, и сам разрыв возводят в ранг связи»[49]; что явление присоединения относится только к речевому уровню; позволит увидеть недостаточность концепции, полагающей, что сущность присоединения заключается в том, что последующие элементы высказывания возникают в сознании не сразу, а лишь после того, как высказана основная мысль; неправомерность рассмотрения парцелляции как разновидности присоединения и т. д.

7. Разграничение присоединения и парцелляции не только в общетеоретическом плане, но и в плане конкретного лингвистического анализа предложений разных типов имеет большое значение как для более точной грамматической характеристики обоих этих явлений (их формально-грамматического описания и классификации), так и особенно для их адекватного стилистического описания, отличительными чертами которого в настоящее время является приблизительность и недифференцированность.

[49] Н. Ю. Киселева, указ. соч., стр. 19.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1978

РЕЦЕНЗИИ

«Русский язык — язык межнационального общения народов СССР». — М., «Просвещение», 1976. 312 стр.

Советский Союз — первое в мире многонациональное социалистическое государство, в котором слились в единую семью, в новую историческую общность людей, в невиданный ранее интернациональный союз многоязычные народы и народности. «Партия добилась того,— говорит Л. И. Брежнев,— что интернационализм превратился из идеала горстки коммунистов в глубокие убеждения и норму поведения миллионов и миллионов советских людей всех наций и народностей» [1].

Огромную роль в сплочении советских людей, в их общей борьбе за построение коммунизма в нашей стране играет русский язык. Поэтому вопросы изучения и преподавания русского языка вполне закономерно привлекают к себе внимание советской общественности. Большой интерес вызвала проведенная в 1975 г. в Ташкенте Всесоюзная научно-практическая конференция по совершенствованию преподавания русского языка в национальных школах, средних специальных и высших учебных заведениях, материалы которой вышли в свет в конце минувшего года.

Книгу открывает доклад кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, Первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана тов. Ш. Р. Рашидова «Русский язык — язык взаимного общения и сотрудничества всех наций и народностей Советского Союза», в котором глубоко проанализированы движущие силы, превратившие язык русского народа в сплав величайших культурно-исторических ценностей, в действенное средство борьбы всех народов СССР за претворение в жизнь идей коммунизма. «Можно без преувеличения сказать,— отмечает Ш. Р. Рашидов,— что в XX столетии русский язык стал непосредственной действительностью передовой, революционной мысли, побуждающей силой революционного действия» (стр. 6).

С помощью русского языка все народы и народности бывшей царской России познали марксистско-ленинские идеи коммунистического преобразования мира, с его помощью, сплотившись под знаменем российского пролетариата, они совершили первую в мире социалистическую революцию и осуществили невиданные по своему размаху и глубине социально-политические, экономические и культурные преобразования, которые изумляют весь мир. В борьбе за социализм, в ходе развернутого строительства коммунизма в нашей стране — Родине всех наций и народностей СССР — возникла новая историческая общность людей — советский народ. Вполне закономерно, что «в возникновении советского народа, укреплении его единства выдающуюся роль сыграл и играет русский язык, являющийся мощным и действенным фактором духовной коммуникации людей, социальных групп и классов, народов и национальностей» (стр. 14).

Русский язык является не только действенным средством межнационального общения, но и важным фактором развития национальных языков народов нашей страны, источником обогащения их новыми выразительными средствами. Расцвет и сближение национальных языков в нашей стране — взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы, возможные только в семье равноправных народов, объединенных общей целью.

В Советском Союзе по общему согласию всех народов и народностей и в их общих интересах сложилось гармоническое двуязычие, имеющее социальный характер. Оно проявляется во всех сферах производства, науки и культуры. Все больше национальных писателей создают произведения и на родном языке, и на русском — втором родном. Все заметнее становятся общие, интернациональные черты новой, коммунистической культуры, не знающей национальных барьеров и в равной мере служащей всем людям труда.

В воспитании у советских людей интернационалистских убеждений огромную роль играет русский язык. Зна-

[1] Л. И. Брежнев, О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик, М., 1972, стр. 24.

ние русского языка наделяет человека большей чуткостью к событиям времени, поэтому оно является неотъемлемой стороной подготовки любого специалиста: инженера, врача, педагога, агронома. Приобщение советских людей к интернациональной сокровищнице, стремление быть на уровне современного развития экономики, науки и культуры осуществляется с помощью переводов с русского и на русский язык. Быть напечатанным в переводе на русский язык означает для национального писателя говорить со всем миром. За годы Советской власти русский язык получил мировое признание: он преподается более чем в восьмистах высших учебных заведениях и в тысячах школ мира, им владеют в той или иной степени свыше полумиллиарда человек, он является одним из официальных языков Организации Объединенных Наций.

Дальнейшее глубокое овладение русским языком зависит от степени подготовки преподавательских кадров, особенно учителей-филологов. Ведь преподавание русского языка неразрывно связано с воспитательной работой в школе. Следовательно, дальнейшее совершенствование изучения и преподавания русского языка в школах, а также в средних специальных и высших учебных заведениях имеет большое политическое, общегосударственное, интернациональное значение. Поэтому во всех союзных республиках под руководством партии и советских органов проводится большая организационная и педагогическая работа по совершенствованию преподавания русского языка в процессе завершения перехода ко всеобщему среднему образованию.

В преподавании русского языка во всех звеньях школьного и вузовского образования имеются значительные успехи. Об этом шла речь в докладе министра просвещения СССР М. А. Прокофьева.

Как отметил докладчик, в последнее время выровнялся уровень образования всех народов и народностей нашей страны. Много внимания уделяется совершенствованию учебников и учебных пособий по всем предметам, разработке новых методов обучения. Особое место в учебно-воспитательной работе национальной школы занимает русский язык, что вытекает из жизненно необходимой потребности советских людей в полном и всестороннем овладении русским языком как вторым родным.

М. А. Прокофьев детально остановился на особенностях преподавания русского языка в дошкольных учреждениях, в начальной школе, в средних и старших классах. Советские ученые — лингвисты, литературоведы, методисты, а также большая группа учителей вложили много труда в совершенствование учебников и пособий по русскому языку. Однако, как отметил докладчик, в ряде республик не выдерживаются сроки перехода на новые программы и учебники, не все еще сделано для того, чтобы техническое оснащение курса русского языка было полным, продуманным и интересным. Много недостатков имеется еще в методике преподавания русского языка. Прежде всего это неумение подчинить изучение языковой теории задачам развития речи учащихся. Мало внимания уделяется также формированию произносительных навыков. Устранение этих недостатков теснейшим образом связано с подготовкой учителей русского языка. В настоящее время словесников-русистов готовят 167 педагогических институтов и 58 университетов. По мнению М. А. Прокофьева, следовало бы с гораздо большей эффективностью использовать опыт и силы лучших педагогических институтов РСФСР, УССР и БССР для повышения квалификации методистов, преподавателей педагогических институтов и училищ, подготовки кадров высокой квалификации.

Вопрос о мерах по дальнейшему улучшению подготовки кадров учителей русского языка для национальных школ нашел развитие в докладе заместителя министра высшего и специального среднего образования СССР Н. С. Егорова. В настоящее время около 1,5 миллиона учителей имеют в нашей стране высшее образование. Ежегодный выпуск преподавателей русского языка и специалистов в области русской филологии с учетом всех форм обучения достиг 32,6 тысяч человек. На кафедрах русского языка сейчас работает свыше 7800 специалистов, в числе которых 117 докторов и 1067 кандидатов наук. Однако укрепление кафедр русского языка квалифицированными научно-педагогическими кадрами продолжает оставаться актуальным: в 16 пединститутах РСФСР, а также в педагогических институтах Эстонской, Латвийской, Литовской, Таджикской, Киргизской, Туркменской ССР нет ни одного профессора или доктора наук по русскому языку. Систематическое повышение научного уровня и педагогического мастерства вузовских работников является одним из важнейших условий улучшения подготовки учителей русского языка. Несомненно также, что уровень преподавания русского языка в школе, в том числе национальной, зависит от успехов науки о русском языке.

Об органической связи науки и практики шла речь в докладе директора Института русского языка АН СССР чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филина. «Наша главная цель в языковой политике,— подчеркнул Ф. П. Филин,— всеми мерами способствовать дальнейшему расцвету национальных языков народов СССР, добиваться полного усвоения всеми гражданами нашей страны русского

языка» (стр. 54). Докладчик отметил, что русский язык имеет единые нормы, обязательные на всей территории его распространения. Не может быть украинского, грузинского и других вариантов русского литературного языка.

В ИРЯ АН СССР ведется большая научная работа, имеющая важное значение для практики преподавания русского языка. Ф. П. Филин остановился, в частности, на вопросах подготовки нового свода правил русского правописания, рассказал о новых работах в области русской орфоэпии, грамматики, лексикографии. Новаторский характер имеет начатая в ИРЯ АН СССР работа над учебником русского языка для учителей и учащихся IV—VIII классов, так как это фактически первый учебник, создаваемый в Академии наук. В ИРЯ создана группа по изучению преподавания русского языка в национальных республиках, работающая в тесном контакте с лингвистами республиканских академических учреждений.

Как отметил докладчик, работа в этом направлении шла бы успешнее, если бы в республиканских языковедческих институтах были организованы отделы или группы русского языка. Иллюстрацией этого положения может служить работа созданного в 1973 г. в Институте языковедения им. А. А. Потебни АН УССР отдела русского языка, который в течение трех лет в тесной координации с ИРЯ АН СССР подготовил и издал такие труды, как «Русский язык в его связях с украинским и другими славянскими языками» (Симферополь, 1973), «Сопоставительное исследование русского и украинского языков» (Киев, 1975), «Культура русской речи на Украине» (Киев, 1976), «Русский язык — язык межнационального общения и единения народов СССР» (Киев, 1976) и др.

Докладчик считает необходимым пересмотреть учебные планы и программы по русскому языку для национальных вузов, готовящих преподавателей русского языка.

Проблемам научно-исследовательской работы в области преподавания русского языка в национальной школе был посвящен доклад директора Научно-исследовательского института преподавания русского языка в национальной школе АПН СССР академика АПН СССР Н. М. Шанского.

Докладчик широко осветил планы работы института, уделив особое внимание завершаемым или уже завершенным работам: «Единый словарь-минимум русского языка для национальной средней школы», «Единый фразеологический минимум», «Единый грамматический минимум», орфографический минимум для национальной школы и др. Завершен также ряд исследований по методам преподавания русского языка в национальной школе на начальном этапе, проведена работа по проблеме факультативных занятий, созданы программы внеклассных занятий по русскому языку и подготовлено методическое письмо, освещающее принципы и формы внеклассной работы. Институт разработал рекомендации по улучшению подготовки учителей русского языка и литературы для национальной школы. На 1976—1980 гг. запланировано создание цикла специальных учебных пособий и учебников по лингвистическим дисциплинам для будущих учителей русского языка и литературы в национальной школе.

Н. М. Шанский отметил, что совершенствование методики обучения русскому языку нерусских на подлинно научной основе невозможно без исследований по сопоставительному, типологическому и сравнительно-историческому изучению русского и родного языков во всех аспектах.

Внимание участников секции «Начальное обучение русскому языку» было направлено на обсуждение таких вопросов, как улучшение качества подготовки учителей (И. В. Баранников, К. Ш. Мачарашвили), развитие устной речи учащихся и способы ее активизации. Интересны и теоретически важны положения, развитые в общем докладе А. И. Грекул, М. Н. Борисовой, Е. В. Коток об обязательном устном опережении в обучении русскому языку. Начальный этап обучения русскому языку необходимо строить на строго отобранном материале, представляющем собой учебные лексические и грамматические подсистемы общей системы русского языка (Н. М. Хасанов). Представляет интерес опыт подачи всего грамматического материала на синтаксической основе — в виде моделей в сочетании с правилами и образцами (Т. А. Казесалу).

Отдельный комплекс проблем возникает в процессе преподавания русского языка в IV—X (XI) классах. Докладчики и участники дискуссии правильно отмечали, что наличие единой типовой программы дает возможность унифицировать учебный материал по русскому языку во всех национальных школах. Нельзя, однако, не согласиться с А. Ф. Бойцовой, что идеальным следует признать тот случай, когда компоненты учебного комплекса разрабатываются одним и тем же авторским коллективом и создаются одновременно. Попутно хотелось бы отметить, что вводя в школьные учебники новый материал, следует избегать субъективности в толковании тех или иных грамматических понятий и соблюдать осторожность в перераспределении слов по лексико-грамматическим разрядам.

Об усилении эффективности вузовской профессиональной подготовки учителя-словесника идет речь в докладе Н. М. Шанского и Н. В. Черемисиной «Линг-

вистические курсы в системе филологической подготовки учителя русского языка и литературы для национальной школы» (секция «Методика преподавания русского языка в вузе»). В НИИ ПРЯНШ АПН СССР разработаны три проекта новых учебных планов. В докладе обосновывается необходимость курса «Сравнительная типология русского и родного языков», раскрывается специфика преподавания таких дисциплин, как «Стилистика русского языка», «Лингвистический анализ художественного текста» и «Теория и практика перевода». По нашему мнению, в число филологических дисциплин следовало бы дополнительно включить курс «Развитие языков социалистических наций СССР».

В материалах секции много внимания уделяется необходимости сопоставительного изучения разносистемных и родственных языков. Однако принципы построения таких курсов остались нераскрытыми. Заявление о том, что в подобных курсах «предполагается разноуровневое — грамматическое, стилистическое, эстетическое и экстралингвистическое — сопоставление языков» (стр. 180), вызывает вопрос: могут ли языки сопоставляться на «внеязыковом уровне» и удастся ли отделить эстетику от стилистики? Нельзя не согласиться с Е. Н. Ершовой в том, что изучение межуровневых отношений нуждается в дальнейшей систематизации.

Проблема сопоставительного изучения языков обсуждалась также на секции «Общие проблемы русской лингводидактики». Д. С. Чантурашвили связывает сопоставительно-типологические исследования не только с дидактическими, но и с социолингвистическими аспектами: «Именно сопоставительно-типологические исследования языков народов Советского Союза могут наглядно показать диалектическую связь между внутри- и экстралингвистическими факторами и выявить основные тенденции сближения языков нашей страны как логическое следствие единой идеологии и единого общественно-экономического строя многонационального Советского государства» (стр. 213). Признавая большое практическое значение параллельного исследования неродственных языков, докладчик, однако, не считает возможным отнести его к типу сопоставительно-типологических работ. К. В. Мустейкис отмечает, что в сопоставительной морфологии должен осуществляться двойной подход к анализу языковых фактов: от формы к функции и значению, так как сопоставляемые формы могут по-разному функционировать в речи и обладать различными значениями, а затем от функции и значения к форме, поскольку одни и те же функции в разных языках могут выражаться разными формами.

На секции обсуждались также вопросы взаимоотношения методов исследования в лингвистике и методов обучения русскому языку (А. В. Текучев), классификации речевой деятельности с учетом характера речевого взаимодействия между участниками коммуникации (Э. А. Штейнфельдт и Э. Й. Роовет), минимизации языкового материала — словарного и грамматического (Е. А. Быстрова и Т. Ф. Ефремова).

Заключительный раздел книги посвящен обсуждению организационно-педагогических проблем постановки преподавания русского языка в национальных школах, средних специальных и высших учебных заведениях. Участники секции подняли ряд принципиально важных вопросов, которые должны найти решение в самое ближайшее время. В частности, отмечалась необходимость сделать более краткими и выразительными учебники по русскому языку, не снижая при этом их научного уровня (Г. П. Веселов), принять более действенные меры по выработке орфографических навыков (М. Г. Минкевич), шире использовать при обучении русскому языку средства массовой информации (М. И. Махмутов), укрепить начальное звено в преподавании русского языка — младшие классы (А. С. Римкус), усилить межреспубликанский обмен опытом и результатами научных исследований (В. А. Кердиваренко) и др.

К числу актуальных проблем, обсуждавшихся участниками всех секций, следует отнести вопрос о степени использования родного языка при обучении русскому языку. Опыт отечественной лингводидактики доказывает, что в первоначальный период обучения детей их родной язык служит опорой в овладении русским языком. С. А. Чехоева вполне убедительно говорит о том, что если русский язык преподает учитель, хорошо знающий родной язык детей, то уже это гарантирует успех. Однако следует ли осуществлять принцип опоры на родной язык на всех этапах обучения русскому языку? В докладах по вопросам преподавания русского языка в школах с близкородственным языком обучения (Л. В. Елисеева, М. Г. Минкевич, А. М. Беляев) считается само собой разумеющимся, что при изучении сходных явлений родного и русского языков должна осуществляться опора на знания по родному языку параллельно с максимальным вниманием к освоению фактов, специфичных для русского языка. В этом вопросе, как кажется, отдельные докладчики смешивают теоретические знания в области грамматики с практическим владением языком. Если учитель русского языка в украинской или белорусской школе опирается на лингвистические сведения учащихся, то это вполне естественно, так как обеспечивает необходимую преемственность в препода-

вании и позволяет избежать излишнего толкования одних и тех же понятий (М. Г. Минкевич). Но вряд ли приемлем вывод о том, что на уроках русского языка следует меньше изучать новый материал, а больше уделять внимания повторению, обобщению и т. п. (А. М. Беляев). Это положение может распространяться на область грамматических понятий, но не на факты и явления изучаемого языка. Ближе всего к истине, пожалуй, Е. Г. Галстян, считающий, что при обучении речи родной язык на продвинутом этапе выступает как помеха, а при работе над языковыми ошибками — как опора. Чем более свободной становится русская речь учащихся, тем важнее научить их находить средства речевого выражения в этом языке.

Рецензируемую книгу следует оценивать как важный вклад в советскую социолингвистику и лингводидактику. Здесь нашел глубокое и всестороннее освещение вопрос о роли русского языка в жизни советского народа, описаны принципиально новые методы, применяемые в практике преподавания русского языка, дана характеристика новым пособиям, созданным и создаваемым с учетом новейших достижений лингводидактики, поставлены новые проблемы, требующие своего разрешения.

Русановский В. М.

А. В. Романова, А. Н. Мыреева, П. П. Барашков. **Взаимовлияние эвенкийского и якутского языков.** — Л., ЛО изд-ва «Наука», 1975. 209 стр.

Вопрос о языковых контактах, о различной степени влияния языков друг на друга в результате этих контактов является одной из сложных и актуальных проблем современного языкознания. Об этом свидетельствует обширная литература, как отечественная, так и особенно зарубежная, выход которой значительно увеличился в последние два десятилетия [1]. Этой важной и интересной проблеме посвящена книга «Взаимовлияние эвенкийского и якутского языков», написанная коллективом сотрудников Института языка, литературы и истории Якутского филиала Сибирского отделения АН СССР — А. В. Романовой, А. Н. Мыреевой, П. П. Барашковым.

Работа состоит из «Предисловия», «Исторической справки», двух частей и «Приложения». Начинается она небольшим разделом «От редакции», написанным покойной Г. М. Василевич, которая являлась редактором книги на первых этапах работы над рукописью.

Приступая к характеристике рецензируемой работы, следует сразу же подчеркнуть, что это ценное научное исследование, написанное на большом новом материале, собранном авторами во время многочисленных экспедиций и командировок в районы ЯАССР. Все разделы книги богато иллюстрированы примерами.

Вопрос о взаимовлиянии эвенкийского и якутского языков не был предметом специального изучения и предпринимается впервые. Исследователи эвенкийского и якутского языков касались его лишь попутно в связи с разработкой других проблем. Работа сложилась в результате серии диалектологических работ, проведенных авторами в последние 15 лет. В связи с этим во всех эвенкийских говорах и во многих якутских ими были обнаружены следы взаимовлияния. Особенно значительным было влияние якутского языка на эвенкийский. В данной работе авторы поставили перед собой задачу выявить степень взаимовлияния эвенкийского и якутского языков в условиях тесного всестороннего контактирования в течение столетий. В области фонетики — выявить закономерности изменения фонетического облика слов, попавших в иноязычную среду, и показать некоторые изменения в звуковом составе одного языка под влиянием фонетических законов другого, в области морфологии — дать характеристику морфологического освоения заимствованной лексики, в области лексики — выявить объем заимствований в разных пластах лексики контактирующих языков и показать некоторые изменения семантики заимствованных слов.

В разделе «Историческая справка», написанном П. П. Барашковым и А. Н. Мыреевой, дается краткий обзор литературы по проблеме взаимодействия языков, при этом особо подчеркивается мысль о том, что в советскую эпоху наиболее распространенной формой взаимодействия, ведущей к взаимообогащению контактирующих языков, является заимствование — проникновение тех или иных элементов одного языка в другой. Известно, что длительный контакт двух или нескольких народов в начальной стадии характеризуется взаимопроникновением прежде всего слов, ибо любые связи, особенно экономические, сопровождаются усвоением соответствующих слов. Вообще любое общение требует зна-

[1] См., например: Б. А. Серебренников, О взаимодействии языков, ВЯ, 1955, 1; В. Ю. Розенцвейг, Языковые контакты, М., 1972; «Новое в лингвистике», VI, М., 1972, и др.

ния хотя бы отдельных слов. Поскольку связи расширяются, со временем число заимствованных слов возрастает. Наблюдается также взаимопроникновение морфологических элементов. Сказанное подтверждается фактами взаимоотношения якутов, живущих компактно, и территориально разрозненных эвенкийских родовых групп. Продолжительные разносторонние контакты оставили своеобразный отпечаток на языках этих двух народностей. Далее на данных исторических документов, исторических работ, фольклора и топонимики устанавливается, что эвенки в прошлом обитали по всей Якутии, во всех тех районах, где живут сейчас якуты, затем были оттеснены якутами на север, а оставшиеся смешались с якутами и потеряли свою самобытность. Авторы подчеркивают, что процесс ассимиляции якутским языком языка эвенков Якутии, начавшийся в отдаленном прошлом, шел и идет быстрыми темпами. В настоящее время подавляющее большинство эвенков Якутии является двуязычным, владея эвенкийским и якутским языками (старшее и среднее поколение). Младшее поколение говорит преимущественно по-якутски, учащиеся старших классов наряду с якутским пользуются и русским языком. Заслуживает особого внимания мысль авторов о том, что некоторые существенные особенности в фонетике якутского языка, в частности, оканье и аканье образовались под влиянием эвенкийского и эвенского языков. Оканье встречается в северо-западных и южных районах Якутии, т. е. там, где якуты живут смешанно с эвенками, а аканье — в северо-восточных районах, где они живут смешанно с эвенами. Таким образом, якутское оканье является одним из характерных признаков, по которому можно установить былое местонахождение эвенков, а аканье — признаком, по которому можно установить раннее местонахождение эвенов на территории Якутии.

В данном разделе речь идет главным образом о сравнительно поздних языковых и прочих контактах на территории Якутии (XVII—XX вв.). Крайне желательно было бы пополнить его историческими и этнографическими сведениями, относящимися к более раннему периоду истории якутов и тунгусов, в частности, к периоду их контактов с тюркскими и монгольскими племенами. Следовало бы также привести здесь существующие теории происхождения якутского народа и его языка, а также мнение о происхождении эвенкийского и эвенского языков.

В первой части монографии — «Влияние якутского языка на говоры эвенков Якутии», написанной А. Н. Мыреевой и А. В. Романовой, четыре главы. Наиболее полно разработана первая глава — «Фонетика», в которой показано влияние фонетики якутского языка на эвенкийскую. Здесь выявляются закономерности, в соответствии с которыми изменился фонетический облик эвенкийских слов, заимствованных из якутского языка, определяются фонетические соответствия якутского и эвенкийского языков. В этой главе подчеркивается, что для эвенкийских говоров Якутии характерно заимствование звуковых норм якутского языка, наблюдающееся главным образом у представителей молодого поколения, которое пользуется якутским и русским языками. Здесь подробно рассматриваются якутские гласные и согласные и указываются их соответствия в эвенкийском произношении. Даются сравнительные таблицы и списки слов из речи эвенков, говорящих по-якутски и не говорящих по-якутски.

Меньше уделено внимания морфологическим заимствованиям (вторая глава). Как отмечают сами авторы, проблема морфологической общности в двух разных языках требует дальнейшего углубленного исследования. Здесь указывается, что среди якутских заимствований встречаются все части речи, кроме числительных и местоимений. Наибольшее количество заимствований — глаголы. По собранным авторами материалам их 610 слов. Существительных насчитывается 417, прилагательных — около 300, наречий — 152 слова. Некоторые из заимствованных слов употребляются в несколько измененном значении. Важно заметить, что глагольные основы заимствованы, как правило, в их чистом виде, без каких-либо словоизменительных оформителей, например: эвенк. *āттā-* < якут. *аартаа-* «упрашивать»; эвенк. *болд'ō-* < якут. *больдьоо-* «назначить срок встречи»; эвенк. *муңнā-* < якут. *мунгнаа-* «мучить» и др. От всех заимствованных слов и основ могут быть образованы производные слова с помощью как эвенкийских, так и якутских словообразовательных аффиксов. Среди заимствованных из якутского языка аффиксов преобладают словообразовательные. Большинство из них употребляется наряду с аналогичными по значению эвенкийскими аффиксами. Из заимствованных словоизменительных аффиксов отмечены лишь два — аффикс мн. числа *-лар* и лично-притяжательный аффикс ед. числа *-м*.

Значительное место уделяется лексическим заимствованиям (третья глава), которые, как хорошо показано в работе, обусловлены новыми для эвенков хозяйственными и экономическими отношениями. Здесь перечисляются основные лексико-семантические разряды заимствованных слов, которые позволяют сделать вывод о том, что якутские заимствования широко вошли во все семантические группы эвенкийской лексики. Заимствования составляют в основном лексику, связанную с областями жизни, раньше эвенкам не свойственными (лексика осед

лого быта и соответствующего ему хозяйства, лексика, отражающая приобщение эвенков к якутской материальной и духовной культуре). Многие заимствования употребляются наряду с однозначными эвенкийскими словами. Приведенные в этой главе материалы подтверждают, что процесс освоения эвенками якутского языка, протекавший несколько столетий, особенно усилился в последние десятилетия, в результате чего большинство эвенков Якутии находится сейчас в стадии постепенного перехода на якутский язык. Авторы уделяют внимание и семантическому освоению якутизмов, указывая, что очень часто семантика заимствованных слов меняется, а у многозначных слов усваивается только одно или несколько основных значений. Например: эвенк. *ахиҥас* «медведь до года» < якут. *аһыҥас* «детеныш»; эвенк. *илбис* «заклинание» < якут. *илбис* «коварный, коварство, лукавство; пристрастие к убийству»; эвенк. *унугэс* «щенок» < якут. *унугэс* «годовой побег дерева, почка тальника, вербы; медведь»; эвенк. *аба* ~ *ава* употребляется только в значении «горе, досада», якут. *аба*, кроме того, означает «яд, горечь (на вкус); водяная ядовитая репа, корень травы»; эвенк. *адарай* заимствовано в одном значении «настил на партах», якут. *адарай* означает «настил из досок вообще»; эвенк. *саҕа* означает только «воротник», в якутском также «край, граница, опушка» и т. д. Наряду с этим наблюдаются очень немногочисленные случаи расширения и смещения значений слова. Например: эвенк. *дойду* (< якут. *дойду*) наряду со значением «страна, родина» приобрело значение «центральная часть Якутии, где живет основная масса якутов»; эвенк. *кунāк* (<якут. *куналах*) «наплыв на дереве, древесный гриб». У эвенков за этим словом закрепилось дополнительное значение — «трут», так как они изготовляли трут из березового наплыва; эвенк. *арй* (<якут. *арыы*) означает «протока между рекой и озером», основное значение этого якутского слова — «остров» — эвенкам неизвестно; эвенк. *куйāр* (< якут. *куйаар*) «бродяга», в якутском означает «пустыня, безвестная даль» и т. д.

Недостатком данной главы является то, что в отдельных случаях авторы ошибочно относят к якутизмам общетунгусо-маньчжурские и общеалтайские слова, например, эвенк. *билэ* «отвороты», *бокчō* «горбатый» и др. [2].

Четвертая глава посвящена калькам с якутских фразеологизмов, встречающимся в эвенкийском эпосе. На очень интересном материале делается вывод о том, что, несмотря на безусловную самобытность эвенкийского эпоса, появление в нем калек неизбежно в условиях длительного тесного общения двух народов — якутов и эвенков, в результате которого последние приобрели двуязычие.

Вторая часть книги «Влияние эвенкийского языка на якутский» написана П. П. Барашковым. Она построена по тому же плану, что и первая. В разделе фонетики отмечается, что влияние эвенкийского языка на якутский проявляется в интонационных особенностях, возникших в результате изменения места ударения и сокращения продолжительности артикуляции конечных гласных, в нарушении закона гармонии гласных, в замене дифтонгов узкими гласными, в замене увулярных согласных заднеязычными, в ограничении сферы действия регрессивной ассимиляции, в появлении новых сочетаний согласных, отсутствовавших ранее в якутском языке. Кроме того, влияние эвенкийской фонетики связано с распространением якутского оканья. В разделе, посвященном морфологии, подчеркивается, что влияние эвенкийского языка на якутскую морфологию незначительно. Отмечаются лишь три общих аффикса из числа форм, придающих именам различные стилистические оттенки, в частности, уменьшительный аффикс *-каан*, уменьшительно-ласкательный аффикс *-чаан*, увеличительно-почтительный аффикс *-ндьа*. В разделе лексики дается перечень слов, заимствованных из эвенкийского языка, сгруппированных по тематическим разрядам. Отмечается, что заимствования, правда не столь многочисленные, как якутизмы в эвенкийском языке, относятся к названиям предметов, употребляемых в специфических условиях Севера и связанных с отсутствовавшими ранее у якутов отраслями хозяйства. В заключение отмечается, что влияние эвенкийского языка на якутский имеет большое значение для образования говоров якутского языка.

Большую ценность представляют «Приложения»— словари-перечни, составленные на основе собранных авторами лексических материалов: 1) перечень слов эвенкийского происхождения в якутском литературном языке (35 наименований); 2) перечень слов эвенкийского происхождения в говорах якутов северо-западных и южных районов Якутии (97 наименований); 3) перечень якутских слов в говорах эвенков Якутии (около тысячи наименований и значительное количество производных от них).

Недостатком этих списков слов является то, что в них не всегда точно указан источник заимствования. Так, многие заимствованные в якутский лексемы, характеризующиеся как эвенкийские, могли проникнуть и из диалектов эвенского языка (облик эвенкийских и эвенских слов близок, а в ряде случаев совпадает) и даже в более раннюю эпоху — в период существования общетунгусского

[2] См.: «Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков», I, Л., 1975, стр. 83, 104.

языка. Например: якут. *аҕаан* «оселок» < эвенк. *агэн* (стр. 163). Следовало бы привести и эвенскую форму *āган* ~ *āҕан*, которая фонетически ближе к якутской; якут. *далда* «защита шалаша от ветра; шалаш, который служит защитой от солнца» по сведению авторов восходит к эвенк. *далга* С-Б[3] «коврик для покрывания вьючных сум», *далба* М, Тт, Сх, Урм «теневой навес от солнца для оленей» (стр. 168). Неточно, ср. эвенк. *дал-*, *далда-*«укрыть», эвен. *далда* «шалаш», а также монг. *дал* «теплый крытый загон для скота» и др.-тюрк. *jašur* «закрывать»; якут. *кукаакы* «сойка» < эвенк. *кукāкӣ* ~ *кукэ̄кӣ* (стр. 164). Здесь желательно дать и эвен. *кукāкӣ* ~ *кукэ̄кӣ* и т. д. У эвенкийских и эвенских слов в необходимых случаях следовало бы давать диалектные пометы. Например: якут. *дьукта* «источник, ключ, родник; полынья» < эвенк. *юктэ* ~ *юкту* «ключ; ручей» (стр. 164). Неточно, ср. эвенкийскую диалектную форму *ӯктэ* (Тмт, Учр); якут. *маамыкта* «аркан» < эвенк. *мавут* (стр. 164). Неточно, ср. эвенкийскую диалектную форму *мāвукта* (Тмт, Учр) и т. д.

В целом к работе, по нашему мнению, следует сделать замечание о том, что авторы, основываясь в своих наблюдениях и выводах на современном материале, не пытаются выявить время и пути проникновения тех или иных заимствований, хотя в работе данного рода это совершенно необходимо. Следует заметить, что при отсутствии письменных памятников установление тех или иных пластов заимствований затруднено, но все же возможно на основании исторических данных и фонетического облика заимствованных слов.

Замечание вызывает также и то, что авторы при рассмотрении тех или иных языковых явлений не учитывают, что эвенкийский и якутский языки родственны по происхождению, что многими учеными они относятся к одной языковой семье — алтайской. Их ошибку исправляет в известной мере Г. М. Василевич, которая в небольшой статье, помещенной в начале книги в разделе «От редакции», кратко останавливается на проблеме истории взаимодействия эвенкийского и якутского языков, мотивируя это тем, что не все лексические и грамматические элементы, общие для современных эвенкийского и якутского языков, следует относить к заимствованиям, как это делают авторы работы, так как в обоих языках сохраняются пласты слов и грамматических элементов, восходящих к разным периодам становления тунгусского и якутского праязыков, а также наиболее древний общий пласт, сохранившийся от эпохи алтайской языковой общности. Слова и морфологические элементы этого пласта прослеживаются в большинстве тунгусо-маньчжурских, монгольских и тюркских языков. Для определения заимствований, как справедливо замечает Г. М. Василевич, их необходимо выявить и учитывать.

В заключение рецензии на интересную и полезную работу А. В. Романовой, А. Н. Мыреевой, П. П. Барашкова хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на отмеченные недостатки, она является значительным достижением в изучении эвенкийского и якутского языков. Книга, несомненно, представит интерес для специалистов по этим языкам, а также по другим языкам алтайской семьи.

Новикова К. А.

[3] Здесь и ниже у эвенкийских слов даны диалектные пометы: С-Б — северобайкальский говор, М — майский говор, Тт — тоттинский говор, Сх — сахалинский говор, Урм — урмийский говор, Тмт — томмотский говор, Учр — учурский говор.

Е. Н. Шипова. **Словарь тюркизмов в русском языке.** — Алма-Ата, изд-во «Наука» Казахской ССР, 1976. 444 стр.

Проблема взаимодействия русского и тюркских языков вообще и вопрос о влиянии тюркских языков на лексику русского языка привлекает ныне внимание многих советских тюркологов.

За последние годы данная проблема широко обсуждалась на специальных совещаниях и симпозиумах, организованных Научным советом по комплексной проблеме «Закономерности развития языков в связи с развитием социалистических наций» и Научным советом по лексикологии и лексикографии Академии наук СССР, в Казани (1964), в Москве (1968), Минске (1969) и в Киеве (1971). Результаты работ этих совещаний и симпозиумов были опубликованы в виде сборника «Тюркизмы в восточнославянских языках»[1], охватывающего около 1000 тюркских заимствований в славянских языках, и инструкции для составления историко-этимологических словарей тюркизмов в восточнославянских

[1] «Тюркизмы в восточнославянских языках», сб. под ред. Н. А. Баскакова, М., 1974.

языках[2], которая лежит в основе составляющегося ныне коллективом авторов в Академии наук СССР «Словаря тюркизмов русского языка».

Вышедшая недавно книга Е. Н. Шиповой является некоторым итогом сбора и систематизации материала, касающегося изучения тюркизмов русского языка. Выявление тюркского лексического вклада в русском языке было начато еще в первой половине XVIII в. трудами ученого-энциклопедиста В. Н. Татищева, который немало усилий приложил для обнаружения тюркского источника многих русских слов в нарицательном и топонимическом словарях, но наблюдения В. Н. Татищева оказались рассеянными по разным его сочинениям. Многие последующие поколения ученых (лингвистов, этнографов, географов, историков) значительно обогатили наши познания о тюркском пласте русской лексики, но эти работы были также рассеяны по разным малодоступным изданиям, так что понадобились специальные обзоры литературы о тюркизмах русского языка[3]. Критическими обзорами литературы о тюркизмах русского языка, как правило, начинались почти все более или менее значительные исследования в этой отрасли русской исторической лексикологии и этимологии.

Часто разыскания о тюркских элементах русской лексики оформлялись в виде словарей, однако лексикографический облик подобных исследований был лишь более или менее удобной формой подачи исследуемого лексического материала и не сопрягался с попыткой дать исчерпывающий перечень тюркизмов русского языка, а также с полнотой сведений по истории и этимологии соответствующих слов. Подобные сведения обычно концентрировались в общих этимологических словарях русского языка, где, однако, тюркизмы оказывались распыленными в массе основной русской и гетерогенной лексики. Все прежние попытки лексикографической трактовки сведений о тюркской лексике русского языка, как правило, не оформлялись в самостоятельное исследование (монографически), а составляли часть каких-то более общих изданий (статьи в журналах и сборниках).

Из появившихся за последнее время в печати исследований, имеющих характер специальных словарей тюркизмов русского языка, следует назвать прежде всего работу Н. К. Дмитриева «О тюркских элементах русского словаря»[4], вновь обратившую внимание советских тюркологов и славистов на актуальность данной проблемы и оказавшуюся некоторым исходным пособием для рецензируемого словаря Е. Н. Шиповой.

Несколько ограниченный характер имеют исследования — словари тюркизмов: 1) К. Г. Менгеса о восточных словах в «Слове о полку Игореве»[5] и 2) сравнительно небольшой «Словарь тюркизмов в русском языке жителей Киргизии» З. С. Шеломенцевой (Фрунзе, 1971, 136 стр.). В словаре К. Г. Менгеса даются весьма обстоятельные этимологические справки о словах восточного (в подавляющем большинстве тюркского) происхождения, которые употреблены в «Слове о полку Игореве». В «Словаре тюркизмов в русском языке жителей Киргизии» З. С. Шеломенцева к употребляемым в русском языке тюркизмам (зачастую некиргизского происхождения) дает киргизские параллели и толкования, основное внимание уделяя приведению иллюстративного материала из обиходной и художественной речи[6].

---

[2] М. О. Баскаков, Р. В. Болдирєв, І. Г. Добродомов, А. Є. Супрун, Інструкція для укладання историко-етімологічних словників тюркізмів східнослов'янських мов, сб. «А. Ю. Кримський — україніст і орієнталіст», Київ, 1974, стр. 116—136.

[3] Одним из первых обзоров можно назвать специальный раздел в работе А. Е. Крымского «Тюрки, їх мови та літератури», I — Тюркські мови, 2, Київ, 1930, стр. 202—209. Самодовлеющий обзор литературы о русских тюркизмах см.: N. Poppe, Jr., Studies of Turkic Loan-Words in Russian, Wiesbaden, 1971 («Asiatische Forschungen», 34). Дополнения к нему см.: И. Г. Добродомов, К историографии изучения тюркизмов в русском языке, «Советская тюркология», 1974, 5, стр. 72—75; а также: Л. Л. Аюпова, Из истории изучения тюркских заимствований в русском языке, «Вопросы башкирского языкознания», Уфа, 1975, стр. 191—207. Вероятно, уже назрела необходимость в составлении аннотированной библиографии литературы по тюркизмам русского и других славянских языков.

[4] Работа опубликована в «Лексикографическом сборнике», III, М., 1958, стр. 3—47, и в кн.: Н. К. Дмитриев, Строй тюркских языков, М., 1962, стр. 503—569.

[5] K. H. Menges, The Oriental Elements in the Vocabulary of the Oldest Russian Epos, the Igor' Tale («Slovo o pŭlku Igorevě»), Supplement to «Word», 1, 1951. Этот же материал рассмотрен вместе с прочими словами в книге: В. Л. Виноградова, Словарь-справочник «Слова о полку Игореве», 1 — М.—Л., 1965; 2 — Л., 1967; 3 — Л., 1969; 4 — Л., 1973.

[6] Аналогичные задачи на материале художественного и научно-популярного стилей речи выполнялись в книге: И. Е. Гальченко, Глоссарий лек-

Благодаря наличию указателя приближается к словарю небольшая книга А. В. Миртова «Лексические заимствования в русском языке в Средней Азии», изданная Учпедгизом УзССР (Ташкент — Самарканд, 1941, 75 стр.), где лексический материал расположен как «Сводка существительных, заимствованных местными писателями, переводчиками, а частично русским населением в целом из национальных языков в Средней Азии» по тематическим группам с примерами из перечисленных в книге источников. Но в целом книга А. В. Миртова представляла лишь материал для словаря с недостаточно подробной его обработкой. Благодаря указателю также легко обозримо лексическое содержание и уже упомянутого сборника «Тюркизмы в восточнославянских языках».

«Словарь тюркизмов в русском языке» Е. Н. Шиповой отличается от предыдущих попыток создания аналогичных пособий как объемом, так и набором сведений относительно тюркских по происхождению слов русского языка.

Заслугой Е. Н. Шиповой является то, что она не только собрала воедино все основные тюркские лексические элементы в русском языке, но и дала наряду с существующими различными этимологиями свои оригинальные соображения, касающиеся раскрытия значений тюркизмов, их словоупотребления и происхождения.

Словарь Е. Н. Шиповой «включает около двух тысяч слов-тюркизмов» (стр. 2), значительно превосходя по объему все предыдущие словари. Такое большое количество слов тюркского происхождения объясняется тем обстоятельством, что в словарь введена также архаическая, диалектная, просторечная, а также редкая экзотическая лексика, связанная с отражением особенностей быта разных тюркских народов.

В словаре довольно последовательно выдерживается структура каждой словарной статьи, состоящей из: 1) основного заглавного слова; 2) указания на источник, а также грамматических, стилистических, хронологических помет, указывающих на сферу бытования слова; 3) значения и толкования заглавного слова во всех его сочетаниях, с соответствующей филиацией этих значений; 4) тюркских соответствий по языкам с указанием языков и источников; 5) обзора основных этимологий с указанием литературы.

Для полноты словарных статей было бы необходимо шире приводить дополнительный материал об этимологиях в отдельных статьях и исследованиях, кроме основных этимологических словарей, а также дополнить каждую словарную статью по возможности указанием на конкретный язык заимствования, примерами на употребление данного слова и на его производные, функционирующие хотя бы в современном русском языке.

Рецензируемый словарь имеет характер этимологического справочника с учетом материала этимологических словарей и заметок, в первую очередь, и с гораздо меньшим вниманием к фактам исторической лексикологии, что обусловлено сравнительно небольшим количеством разысканий об исторической судьбе тюркизмов на почве русского по материалам письменных памятников. Весьма полезным оказывается даже простое объединение богатых русских материалов из «Этимологического словаря русского языка» М. Р. Фасмера, разработанных опытным славистом, с обильными тюркскими материалами известной статьи Н. К. Дмитриева «О тюркских элементах русского словаря», разработанными опытным тюркологом, хотя и в эскизной форме. Эти обе работы выполнялись независимо друг от друга и во многом трактуют одни и те же проблемы с разных сторон, на основе разного материала, как бы взаимно дополняя друг друга.

Если этимологические словари русского языка М. Фасмера и отчасти Н. М. Шанского, а также работа Н. К. Дмитриева были, по-видимому, исходной базой для рецензируемого словаря, то работы других, особенно зарубежных исследователей (Г. Дёрфера, М. Рясянена, Э. Бернекера, З. Гомбоца, Ю. Немета, К. Менгеса, Ф. Миклошича, а также А. Г. Преображенского и проч.) привлекались автором в меньшей степени, и таким образом некоторые этимологии отдельных тюркизмов различных авторов не получили в словаре соответствующего освещения [ср., например, обширное исследование Г. Дёрфера о древнерусском термине *туры* «корзины с землей для возведения крепостей» в «Zeitschrift für slavische Philologie», XXIX (1961), стр. 288—302].

Можно вполне оправдать отсутствие в словаре Е. Н. Шиповой мнимого вятского диалектизма *бустурган* «домовой», который у М. Р. Фасмера подан как тюркизм, вошедший в русский говор через удмуртское посредство. На самом деле это чисто удмуртское слово (тюркского происхождения), лишь ошибочно принятое М. Р. Фасмером за русский диалек-

---

сики языков народов Северного Кавказа в русском языке, Орджоникидзе, 1975. Менее удачен краткий тематический словарь: Г. Г. Голетиани, Грузинская лексика в русском языке, Тбилиси, 1972, где в число грузинских слов включены названия сортов чая типа *Грузинский № 1*, растений типа *клен грузинский* и т. п., вовсе не восходящие к грузинскому языку.

тизм (в цитате из работы по этнографии удмуртов на русском языке) [7].

С другой стороны, словарь несколько перегружен сомнительными или явно не доказанными этимологиями. Иногда автор сам проводит подобные этимологии, иногда сомневается в подобных явно ложных этимологиях, а иногда некритически соглашается с высказанными ранее у других авторов. К подобным сомнительным этимологиям в словаре следует отнести русск. *опара*, *борок*, *вада*, *влага*, *кап*, *кастить*, *шершавый* и проч. или русские заимствования не из тюркских, а из других языков, например: *тупей*, *похра* и проч. Встречаются в словаре «тюркизмы», представляющие собой слова, заимствованные некоторыми тюркскими языками через русский язык, ср., например, *курник*, *ящик*, *мизгирь* и проч.

По недоразумению включено в словарь имя библейского «первого человека на земле» — *Адам*, поскольку ономастический материал вообще целиком остался за пределами словаря (ср., однако, Руслан, Еруслан). Оно к тому же не является в русском языке тюркизмом, будучи семитским заимствованием через переводы греческих богослужебных книг. В некоторые тюркские языки оно попало из арабского языка в ходе усвоения мусульманства тюрками.

Недостаточный учет литературы приводит автора к неточностям. Например, в книге дважды (на стр. 5, 9) указывается, что слово *артачиться* впервые рассматривается как тюркизм, хотя эта точка зрения была высказана почти три четверти века назад И. А. Бодуэном де Куртенэ в дополнении к третьему словарю В. И. Даля (ср. также тюркскую этимологию Р. Г. Ахметьянова в журнале «Русская речь», 1972, 5, стр. 115—116, без ссылки на Бодуэна) [8], причем его этимология (от татар. *арт*, *артак*) гораздо логичней, чем довольно импрессионистски не расчлененная этимология Е. Н. Шиповой: «из сочетания *ат арткы тартынды* „лошадь сопротивлялась, пятилась“ в результате стяжения тюркских гласных *а* и согласных *т* в русском произношении» (стр. 38).

В современных тюркских языках, вероятно, первоисточник слова *артачиться* не сохранился, но его можно видеть в прилагательном типа др.-тюрк. *artaq* «испорченный; нарушенный; гнилой; дурной, злой и т. п.» (от глагола *arta-* «портиться; совращаться; пропадать и т.п.» — см. «Древнетюркский словарь», Л., 1969, стр. 56). *Артачиться* образовано от *artaq* по образцу: *дурак — дурачиться*; *фордыбака — фордыбачиться*; *собака — собачиться*.

Не новой, но, по-видимому, уже общепризнанной, отсутствующей в словаре этимологией можно считать *алтын* из *alty tyjyn* «шесть денежек». Не следовало ограничиваться только цитатами из М. Фасмера в отношении этимологии слов *сабля*, *бутурла* и проч.

Можно было бы привести много различных соображений и возражений по поводу конкретных этимологий, данных в словаре, но, как известно, этимологические исследования всегда вызывают дискуссию, классическим примером которой может служить известная этимологическая дуэль П. М. Мелиоранского и Ф. Е. Корша по поводу тюркизмов в «Слове о полку Игореве».

Главным представляется то, что Е. Н. Шипова составила довольно полный «Словарь тюркизмов в русском языке», выполненный с учетом всех основных новейших этимологических словарей и частично публикаций и представляющий собой, безусловно, необходимое и полезное универсальное пособие для многих читателей, интересующихся историей русского языка.

Баскаков Н. А., Добродомов И. Г.

---

[7] Подробнее см.: И. Г. Добродомов, Удмуртское слово в русском словаре, «Вопросы удмуртского языкознания», 3, Ижевск, 1975, стр. 56—57.

[8] Ср. также: «Этимология. 1970», М., 1972, стр. 217 (ссылка на этимологию Бодуэна); «Советская тюркология», 1975, 2, стр. 70 (авторская ссылка Р. Г. Ахметьянова).

«Словарь синонимов. Справочное пособие». — Л., ЛО изд-ва «Наука», 1975. Ред. А. П. Евгеньева. Сост.: Л. П. Алекторова, С. Л. Баженова, З. Т. Короткевич, Г. А. Разумникова, В. А. Тихомирова, В. Н. Цыганова. 648 стр.

Интерес со стороны исследователей разных стран к проблеме синонимов вообще и в русском языке, в частности, необычайно велик [1]. Это объясняется тем, что проблема синонимов является по существу ядром более широкой проблемы вариантности речи, связанной в конечном счете с генезисом речи, ее развитием и функционированием в разных сферах общения. До последнего времени наиболее значительными русскими синонимическими словарями были «Краткий словарь синонимов русского языка» В. Н. Клюевой (1-е изд.— М., 1956) и «Словарь синонимов русского языка» З. Е. Александровой (М., 1968). В начале 70-х годов был издан «Словарь синонимов русского языка (в двух томах)» [2], подготовленный большим авторским коллективом под руководством А. П. Евгеньевой в ЛО Института русского языка АН СССР. Наконец, в 1975 г. вышел второй академический «Словарь синонимов» (далее — СС), который и является предметом нашего рецензирования.

СС составлен тем же авторским коллективом и во многом на основе тех же принципов, что и ССРЯ. Однако в отличие от ССРЯ, адресованного в основном специалистам-филологам, рецензируемый словарь предназначен как справочное пособие для широких кругов говорящих и пишущих на русском языке, в том числе для учителей и учащихся, писателей и журналистов, лекторов и пропагандистов. Вместе с этим СС имеет самостоятельное научное значение, а его материал представляет огромный интерес для филологических исследований. Одна из главных трудностей, стоявших перед авторами СС, заключалась в том, чтобы дать читателю максимум научно обоснованных сведений о синонимах русского языка, но изложить их в наиболее доступной и сжатой форме. Следует сразу же сказать, что составители словаря успешно справились с этой трудной задачей.

Теоретические основы обоих синонимических словарей разработаны А. П. Евгеньевой и изложены ею во «Введениях» к ним, а еще ранее в «Проекте словаря синонимов» (М., 1964). Что же нового внесено в разработку синонимии и синонимических словарей русского языка по сравнению с предшествующими этапами? Прежде всего — понимание синонимов. В русской лексикологии традиционным было толкование их как слов близких, смежных, но не тождественных по значению. Считалось, что слов, полностью совпадающих по значению, в языке быть не может. Это положение теоретически обосновывалось тем, что: 1) язык иначе не мог бы функционировать как средство «сообщения мыслей», так как говорящие не имели бы возможности ни выразить оттенки одного и того же понятия, ни обозначить степень выразительности [3], 2) слова вне контекста не имеют вполне определенного значения (поэтому и могут казаться идентичными по смыслу), в живой же речи обрастают семантическими оттенками и не могут взаимозаменяться [4].

В 50-е годы начинается пересмотр традиционной точки зрения на природу синонимов. Было высказано противоположное мнение, что к синонимам следует отнести только такие слова, которые тождественны по значению при возможной, но не обязательной их стилистической дифференциации [5]. Критерий семантической близости был признан недостаточно объективной основой синонимичности, так как на этой основе неограниченно расширялись рамки синонимических рядов. В то же время отмечалось, что перераспределение материала на одни тождества далеко не во всех случаях легко осуществимо и тоже не гарантирует от субъективизма [6]. Отбор и организация синонимов в группы на основе полного тождества значений пока практически не осуществлен ни в одном словаре, хотя такой словарь представлял бы теоретический и практический интерес. Однако в нем неизбежны были бы и значительные по-

[1] Об этом свидетельствуют, например, данные, содержащиеся в работах: С. Ф. Геккер, Библиография по синонимике русского языка, сб. «Очерки по синонимике современного русского литературного языка», М.—Л., 1966; е е ж е, Библиография по синонимике русского языка (Статья вторая), «Синонимы русского языка и их особенности», Л., 1972.

[2] «Словарь синонимов русского языка (в двух томах)», Л., I (А — Н) — 1970, II (О — Я) — 1971 (далее — ССРЯ).

[3] П. Ф. Калайдович, Опыт словаря русских синонимов, ч. I, М., 1818, стр. 8—9.

[4] Г. [О.] Винокур, Проблема культуры речи, «Русский язык в советской школе», 1929, 5, стр. 85.

[5] А. Д. Григорьева, Заметки о лексической синонимии, в кн.: «Вопросы культуры речи», II — М., 1959, стр. 7—8; В. М. Григорян, Материалы к словарю синонимов, Ереван, 1957.

[6] С. Г. Бережан, [рец. на кн.:] «Словарь синонимов русского языка (в двух томах)», ВЯ, 1971, 5, стр. 127—128.

тери. Например, двухчленные или трехчленные ряды с синонимами, различающимися только обозначением степени интенсивности действия или признака, распались бы из-за отсутствия эквивалентов к каждому из членов ряда. Например, глаголы *бегать*, *носиться*, *летать*, объединенные общим значением «быстро двигаться при исполнении какой-либо работы, поручения и т. п.», справедливо рассматриваются в СС как синонимы. Но если взять отдельно последние два слова, как обозначающие более быстрое и стремительное движение, то глагол *бежать* уже не может служить доминантой самостоятельного синонимического ряда, ибо не имеет эквивалентов. Вместе с тем потребность для обозначения понятия бега разными словесными средствами вряд ли кто будет оспаривать ввиду его частой употребительности. Можно предвидеть и другие трудности при отборе и обработке материала для синонимического словаря по принципу тождеств. Неизбежно увеличится количество переходных, сомнительных случаев. Так, в паре *агрессивный*, *захватнический* с общим значением «имеющий целью завоевание, захват чужих земель», второй член употребляется преимущественно с целью более резко подчеркнуть основное содержание слова. Имеем ли мы здесь дело с новым понятием или нет? Если имеем, то взятое как доминанта самостоятельного синонимического ряда прилагательное *захватнический* не имело бы эквивалента. Думается, что только при сопоставлении близких по значению слов в рамках одного синонимического ряда можно более выпукло показать их семантические оттенки (особенности).

Не соглашаясь с крайностями рассмотренных точек зрения на природу синонимов, А. П. Евгеньева обращает внимание на значительное количество слов в современном русском литературном языке именно с тождественными или предельно близкими значениями [7]. Они нашли широкое отражение в толковых словарях, где объяснение слова часто дается при помощи формулы «То же, что...», или идентичных объяснений, или приведения синонимов. Так удачно были найдены связь и преемственность между составлением толковых и синонимических словарей, возможность использовать указатели синонимичности и дефиниции в толковых словарях для отбора материала в собственно синонимические. В то же время, отвечая сторонникам критерия тождественности значения, А. П. Евгеньева указывает, что принципы разграничения тождества и предельной близости значения при установлении стилистических синонимов довольно зыбки и ненадежны, так как стилистические особенности в этих синонимах в большинстве своем совмещаются со смысловыми. Для преодоления односторонности того и другого подхода при отборе и описании синонимов А. П. Евгеньева считает необходимым уточнить понимание «близости» значения. Она высказывает мысль, что лишь такие слова можно считать тождественными или близкими по значению, которые используются для обозначения одного и того же понятия и различаются между собой либо оттенками значения, либо эмоционально-экспрессивными и стилистическими свойствами. Например, прилагательные *безлюдный*, *пустынный* и *безжизненный*, *неживой* не сводятся в один синонимический ряд, так как первые два означают «такой, где нет или не видно в данный момент людей», а последние — «такой, в котором не заметно проявления жизни, не выражающий никакого чувства, мысли (о лице, о выражении лица, глаз, об улыбке и т. п.)». В изложенной концепции синонимов, на наш взгляд, желательно теоретическое уточнение в сопоставительном плане иерархии: понятие, значение, оттенок значения. Правда, из перечня групп синонимов, обозначающих одно и то же понятие, приводимых А. П. Евгеньевой, как будто бы следует, что оттенками значения признается то, что относится: а) к выделению какого-либо признака, отмечаемого говорящим как наиболее важного с его точки зрения у понятия (ср. разную внутреннюю форму слов *дремота*: *дремать*, *полусон*: *сон*, *забытье*: *забыть*,— объединенных в то же время общностью значения «состояние легкого, поверхностного сна»); б) к выражению степени и меры в проявлении признака (*громадный*, *огромный*, *колоссальный*, *грандиозный*, *гигантский*, *исполинский*, *титанический*, *циклопический*); в) к выражению интенсивности называемого действия (*краснеть*, *алеть*, *рдеть*, *пунцоветь*, *багроветь*). Предложенное уточнение понимания оттенка значения весьма перспективно, указывает на объективные моменты, способствующие отбору и объединению слов в один семантический ряд. Однако предложенную классификацию оттенков значения надо аргументировать теоретически. Тогда отпадут сомнения рецензентов, например, правомерно ли объединение в одном синонимическом ряду слов *есть*, *кушать*, *жрать*, *лопать*, *трескать* ввиду того, что последние три указывают еще на интенсивность действия, а поэтому представляют как бы самостоятельное семантическое тождество («есть много и с жадностью»), а не оттенок общего

[7] См.: А. [П.] Евгеньева, «Введение» к ССРЯ, стр. 10. О двух этапах в формировании синонимических рядов (тождесловии и дифференциации слов) см. также: А. А. Брагина, Незамкнутость синонимических рядов, ФН, 1974, 1, стр. 43.

значения ряда («принимать пищу») [8]. Возможно, что и при более углубленном теоретическом обосновании явления оттеночности значения нельзя будет полностью избежать субъективизма в процессе отбора и распределения синонимов по группам, но этот субъективизм будет сведен до минимума. Нельзя также не учитывать, что в языке невозможно всегда и все «разложить по полочкам» ввиду объективного существования в нем переходных явлений, особенно на уровне семантики. Таким образом, первое ограничение, накладываемое А. П. Евгеньевой на признание слов синонимами, относится к обязательности выражения ими одного и того же понятия. Синонимы, по ее определению,— это «слова, обозначающие одно и то же понятие, следовательно, тождественные или предельно близкие по значению» [9].

Второе очень важное ограничение связано с рассмотрением синонимов только в рамках: а) современного, б) общенационального, в) литературного [10] русского языка. Поэтому слова, не входящие в данную языковую систему, в принципе не включаются составителями СС в соответствующие синонимические ряды. К таким словам относятся: архаизмы, диалектизмы, жаргонизмы и узкоспециальная лексика. Например, в синонимический ряд *аплодировать, рукоплескать, бить (хлопать) в ладоши* справедливо не отнесен глагол *плескать* в том же значении, так как его употребление не выходит за границы XIX в. В широкий ряд синонимов *договориться, условиться, уговориться* и др. не вошел жаргонизм *заметать*. В синонимической группе общеупотребительных близких по значению слов и сочетаний *взаймы, заимообразно, в долг* нет выражения *в кредит*. Следовательно, при отборе материала в СС учитывалось, выполняют ли соответствующие слова и выражения как синонимы определенную функцию в системе современного общенационального литературного языка или они совсем не входят в нее. Функциональный подход является ведущим в СС и при описании синонимов, что проявилось в учете их роли в речи: детализирующей, или уточнительной, экспрессивной, или усилительной, а также стилистической. Еще ранее А. П. Евгеньева отмечала, что часто выдвигавшиеся признаки синонимов, как взаимозаменяемость, амплификация, противопоставленность, являются производными от указанных функций [11]. Не может быть принято резкое разделение синонимов на идеографические и стилистические, так как в большинстве своем они совмещают обе функции.

СС вслед за ССРЯ является опытом полного универсального описания состояния синонимических связей между единицами словарного состава современного русского литературного языка. Полнота описания в СС достигается прежде всего значительным увеличением синонимических групп — свыше 7300 (почти в два раза по сравнению с ССРЯ). Во многих случаях они пополнены новыми словами. Все члены синонимических рядов подробно охарактеризованы со стороны их семантических, экспрессивных, стилистических, сочетаемостных, частотных и иных особенностей. Больше внимания в СС отводится экспрессивно-стилистической характеристике слов. Она дается более обстоятельно и детально по сравнению с предыдущими не только синонимическими (в том числе ССРЯ), но и толковыми словарями русского языка. Так, указывается: 1) «принадлежность слова к определенному пласту языка»: *разговорное* и *обиходно-разговорное*, *просторечное* и *грубо-просторечное*, *специальное*, если слово употребительно в нескольких областях, или более конкретно — *астрономическое*, *ботаническое* и т. д., *областное*, *жаргонное* (*школьное*); 2) собственно стилистическая окраска слова: *книжное*, *традиционно-поэтическое*, *народно-поэтическое*, *официально-деловое*, *канцелярское*; 3) экспрессивная и эмоциональная окраска слова: *высокое*, *приподнятое*, *шутливое*, *ироническое*, *бранное*, *неодобрительное*, *почтительное*, *уничижительное*, *ласкательное*, *фамильярное* и т. п. В СС указывается также при помощи пометы *усилит.*, что слово выражает более высокую степень признака, бо́льшую интенсивность действия по сравнению с основным словом группы. Лексика с пометой *устар.* (в соответствии с общей концепцией составителей СС — признанием синонимами только слов, функционирующих в современном языке) включается в синонимические ряды только в том случае, если она вышла из широкого употребления, но продолжает иногда встречаться в современной литературе (художественной, публицистической и научной) [12].

---

[8] С. Г. Бережан, указ. соч., стр. 128.

[9] А. [П.] Евгеньева, «Введение» к СС, стр. 3.

[10] О понимании русского литературного языка см.: «Словарь русского языка» (в 4-х томах) АН СССР, под ред. А. П. Евгеньевой, I, М., 1957, стр. V, VII; Ф. П. Филин, О свойствах и границах литературного языка, ВЯ, 1975, 6.

[11] А. [П.] Евгеньева, «Введение» к ССРЯ, стр. 11. См. также: Т. Г. Винокур, Синонимия в функционально-стилистическом аспекте, ВЯ, 1975, 5.

[12] «Пометы», СС, стр. 9—10.

Если слово многозначно, оно включается в разные синонимические ряды в соответствии с тем или иным своим значением. Например: 1. **Высокий** (о человеке высокого роста), **рослый, высоченный, длинный, долговязый.** 2. **Высокий** (о языке, стиле, словах), **возвышенный, приподнятый, торжественный, патетический** и **патетичный.** 3. **Высокий** (о звуке, голосе), **тонкий, писклявый** и **пискливый.** С. Г. Бережан утверждает, что признание авторами ССРЯ возможности вхождения многозначного слова в несколько синонимических групп противоречит их исходному положению о смысловой близости синонимов [13]. По его мнению, самыми близкими по смыслу являются именно разные значения одного слова (причем всегда), а они отнесены к разным синонимическим рядам, в то время как к разным значениям одного слова приводятся другие слова — синонимы, тоже близкие по семантике. Однако с этим категорическим утверждением невозможно согласиться. Даже приведенный в рецензии С. Г. Бережана пример с глаголом *бросать* свидетельствует, что значения одного и того же слова могут быть гораздо более далекими между собой, чем по отношению к каждому из них значения других слов. Ср.: 1) взмахом заставлять летать (*кидать, швырять, метать, пускать, запускать*), 2) резким движением класть что-то (*кидать, швырять*); 3) быстро взглядывать (*кидать, метать*); 4) распространять (*кидать, отбрасывать*); 5) внезапно вызывать жар (*кинуть, ударить*).

Полнота описания синонимов русского языка достигается и тем, что синонимические отношения указываются не только между словами, но также между словами и словосочетаниями (фразеологизмами). Например: *бюрократ, чиновник, чинуша, чинодрал, буквоед, бумажная* (или *чернильная*) *душа, чернильная крыса.*

Особенности синонимов, входящих в одну группу, иллюстрируются в СС некоторым количеством примеров. Последние приводятся, если слово не вызывает сразу достаточно отчетливого представления о характере его употребления. Этих примеров значительно меньше, чем в ССРЯ, что делает рецензируемый словарь более сжатым и компактным, сохраняя его фундаментальность. Имеющиеся «речения» и краткие цитаты в меньшем количестве случаев, но могут быть использованы для характеристики вторичных функций синонимов, выполняемых последними в контексте. К этим функциям относятся: а) взаимозаменяемость, чтобы избежать нежелательного повторения одного и того же слова (Медь *клокотала* белым ключом, *бушевала*, как кипяток, Гл. Успенский); б) усиление экспрессии высказывания в целом путем употребления рядом двух или нескольких синонимов (*Неживая*, почти *мертвенная* желтизна заливала его лицо, Л. Леонов); в) подчеркивание смысловых различий синонимов путем их сопоставления и даже противопоставления (*Отыскать* бы верную дорогу, Да хороших бы товарищей *найти*, Садофьев; Это была не *буря*, а настоящий *ураган* приветствий! — Рахилло).

Значительному расширению сведений о системных связях рассматриваемых синонимов способствуют в СС и отсылочные пометы. Помета *ср.* (сравните) отсылает к тем синонимическим группам, которые обозначают смежные, близкие понятия. Помета *см.* (смотрите) указывает заглавные слова других синонимических рядов, куда входит опорное слово данной группы. Так, после синонимического ряда **Волшебный, колдовской, чарующий, чародейный, чародейственный** с общим значением «обладающий необыкновенной прелестью, очарованием...» имеются отсылки: *ср.* Дивный, Очаровательный, Прекрасный. **Волшебный** *см.* Дивный, Чудодейственный.

Это значит, что синонимические ряды с опорными словами **Очаровательный** и **Превосходный** только близки, но не тождественны данному ряду. В то же время заглавное слово данного синонимического ряда **(Волшебный)** в иных своих смысловых оттенках входит в синонимические группы со словами **Дивный** и **Чудодейственный.** Важно отметить, что составители СС создали «свою» специальную картотеку синонимов, включающую цитатный материал. Кроме того, они имели возможность широко использовать богатейшие материалы картотеки Словарного сектора Института русского языка АН СССР. Это не [могло не способствовать более углубленному проникновению в системные отношения между единицами словарного состава, в само явление синонимии, более полному описанию синонимов и более четкому отграничению их от смежных лексических явлений.

Полноту описания материала определили также построение и содержание словарных статей. Каждая синонимическая группа начинается с опорного слова, которое в настоящее время представляет наиболее прямое и точное наименование понятия без дополнительных эмоционально-экспрессивных и стилистических элементов. Особенно важно то, что общее значение, объединяющее все слова данной группы, в необходимых случаях указывается непосредственно вслед за опорным словом. Например: 2. **Иногда** (в какой-то отдельный момент, в некоторых случаях), **иной раз, другой раз** *разг.*, **кое-когда** и **кой-когда** *разг.*, **подчас** *разг.*, **часом** *обих.-разг.*, **порой, когда** *прост.*

[13] С. Г. Бережан, указ. соч., стр. 129.

Порядок расположения слов в синонимическом ряду обычно четок: сперва указываются собственно литературные слова, затем ограниченные в употреблении какой-либо специальной областью, наконец, просторечные. Иллюстративный материал, если он приводится, помещается обычно после разъясняемого слова.

К сожалению, в СС — в отличие от ССРЯ — не приводится дополнительный справочный материал, включающий сведения об устаревших или редко употребляемых по сравнению с XX в. синонимах, который составители давали в двухтомном ССРЯ. Между тем, такой справочный материал представляет большой интерес для изучающих русский язык в теоретических и практических целях, так как показывал бы движение, развитие лексики по вертикали (в плане диахронии) и ее распространение по горизонтали (в плане синхронного, функционально-стилевого распределения).

Рецензируемый словарь очень удобен и прост в обращении. Нахождение нужного слова облегчается тем, что все синонимы располагаются в порядке алфавита. Если слово не выступает в качестве опорного, указывается та синонимическая группа, в которую оно входит.

Следует отметить также высокий технический и полиграфический уровень издания. Принятая система шрифтов, а также внутренняя организация словарной статьи во многом облегчают передачу замысла составителей и восприятие материала читателями. Желательно было бы только найти более заметный, четкий знак, чем // для показа тех групп синонимов, которые совпадают по составу, но имеют разное значение. См., например, **грустный, печальный, унылый, невеселый, минорный** в значениях «исполненный печали, уныния; выражающий грусть» и «испытывающий грусть, печаль, уныние». При несовпадении состава синонимических рядов каждое из значений опорного слова, как уже упоминалось, отграничивается цифрой: 1. **Грызть** (разгрызая скорлупу, есть орехи, семечки), **щёлкать, лущить, лузгать, лускать.** 2. **Грызть** (раскусывать, откусывать что-либо крепкое, твердое), **глодать.** 3. **Грызть** (о мыслях, чувствах и т. п.; терзать, мучить, тревожить), **глодать, точить, есть, съедать, снедать.**

Рассматриваемый словарь не свободен от некоторых недостатков. Так, теоретически не объяснено включение в синонимические ряды просторечных (особенно грубо-просторечных) слов, хотя о двояком типе их уже писалось [14]. То же самое следует сказать о включении в синонимические ряды некоторых диалектизмов. Например, оправдано ли расширение синонимического ряда **быстрина** (место самого быстрого течения в реке), **стрежень, стремнина** за счет областных слов **быстерь и быстреть**? Не уточнено понимание *современный* по отношению к русскому языку. Хотя составители академических словарей синонимов пользовались картотекой, содержащей цитаты из произведений русской литературы «от Пушкина до наших дней», лексика, в своем употреблении не выходящая за рамки начала XX в., как правило, не включалась в синонимические ряды. (В справочный отдел ССРЯ в ряде случаев отнесены, например, и слова, употреблявшиеся даже в XX в.: **шалопут, хлябь, безгласный.**) В приводимой классификации синонимов как слов, служащих для 1) детализации, 2) выражения степени признака, 3) интенсивности действия, 4) субъективной оценки, последний пункт представляется слишком широким, расплывчатым. Слова второй и третьей группы могут выражать не только объективную оценку степени проявления качества или интенсивности действия, но и субъективную. Один и тот же предмет может казаться некоторым **огромным**, а другим — **гигантским.** В то же время оценка предмета с использованием таких определений, как **глупый, безголовый**, не обязательно субъективна. Она содержит объективный момент, если человек, о котором идет речь, действительно неумен.

Отдельные недостатки можно найти не только в составе словника, синонимических рядов и классификации синонимов, но и в характеристике последних, а также в подборе иллюстративного материала. Например, вряд ли являются одинаково стилистически нейтральными **наблюдать** и **созерцать**, устарелым **подшофе** (ср. действительно неупотребительные сейчас в этом значении **в кураже, на кураже, под куражом**). Не совсем ясно, в каком соотношении находятся пометы *высок.* (**упование**) и *приподн.* (**чаяние**). Действительно ли существительные **название** и **наименование** являются абсолютными синонимами, как это вытекает из их толкования — «словесное обозначение кого-, чего-л.», или они характеризуются различной сочетаемостью?

Некоторые цитаты в СС представляются «лишними», учитывая установку самих составителей словаря — сделать его более сжатым, приводить иллюстративный материал только в необходимых случаях. См. выписки из художественной литературы при словах **беспристрастный, навсегда, наезженный, налево** и ряда др. В некоторых случаях ощущается нехватка цитаты, подтверждающей употребление и характеристику того или иного синонима. Например, в синонимический ряд **наблюдательный, приметливый** включено также **заметливый** с пометкой *прост.*, да еще редкое в русском языке, естествен-

[14] Ф. П. Филин. О структуре современного русского литературного языка, в кн.: «Русский язык в современном мире», М., 1974, стр. 113—116.

но, нуждающееся в подкреплении цитатой. Если глагол **наготовиться** признается синонимом в ряду **набраться, напастись** в современном русском языке, он должен быть подтвержден цитатой не из Левитова, а из произведений литературы нашего времени. В ряду синонимов **наверное, наверно, вероятно** и т. п. некоторые из них, характеризуемые как устарелые **(по всем видимостям, должно полагать, должно статься)**, подтверждаются выписками из дореволюционной литературы, другие (**чаятельно**) — вообще *не подтверждаются цитатами.*

Но не эти мелкие недостатки и неточности определяют лицо рецензируемого словаря. Значение его для исследователей русского языка, особенно для лексикологов и лексикографов, а также для широкого круга владеющих и овладевающих русским языком, для поднятия культуры речи трудно переоценить. Этот словарь наглядно иллюстрирует многочисленность и разнообразие синонимических рядов, отражающих лексическое богатство русского языка в целом, содержит исключительно интересный материал для дальнейшего изучения синонимии (шире — стилистики) в теоретическом аспекте и в плане практического использования синонимов в некоторых функциональных стилях речи. В нерусской языковой среде, например, в национальных республиках, за рубежом, словарь может оказать существенную помощь также переводчикам при выборе наиболее точного и выразительного словного эквивалента для передачи оттенков мысли и чувства, преподавателям русского языка и изучающим этот язык как справочник по словоупотреблению, включающий и наиболее частотную лексику. Во многих случаях СС может служить образцом *научной универсальной обработки материала* при составлении словарей синонимов других литературных языков.

Однотомный «Словарь синонимов», наряду с получившим Пушкинскую премию АН СССР двухтомным «Словарем синонимов русского языка», представляет заметный вклад в сокровищницу не только отечественной, но и мировой лексикологии и лексикографии [15].

Максимов В. И.

[15] См. высокую оценку СС также в рецензии А. А. Брагиной (ФН, 1976, 4).

Б. А. Ларин. **Лекции по истории русского литературного языка (X — середина XVIII вв.).** — М., «Высшая школа», 1975. 309 стр. (без указателей имен и слов).

Ученики и коллеги по работе подготовили к печати лекции, прочитанные профессором Б. А. Лариным в Ленинградском университете (1949—1950, 1950—1951 уч. годы). Лекции изданы как учебное пособие для студентов-филологов университетов и пединститутов страны.

Учебными целями, однако, вряд ли можно исчерпать ценность этого издания. В нем проанализирован такой материал, приведены такие интересные наблюдения и выводы, которые в целом представляются вкладом в науку о русском литературном языке. «Лекции...», безусловно, уже заняли особое место в научной литературе, их уже используют и будут использовать в научной работе преподаватели, аспиранты, студенты — все интересующиеся историей русского языка. В своем труде Б. А. Ларин продолжил лучшие традиции отечественных ученых: писать учебные пособия таким образом, чтобы они становились теоретическим вкладом в науку.

Книга состоит из четырех основных разделов, названных с учетом идейного и хронологического охвата основных проблем истории русского литературного языка: «Образование и начальный этап развития русского литературного языка в эпоху Киевской Руси (IX—XI вв.)», «Типы литературного языка Киевской Руси (XI—XIII вв.)», «Типы литературного языка Московской Руси (XIV—XVII вв.)», «Русский литературный язык первой половины XVIII в.». К такому членению лекционного курса, думаем, стоит присоединиться. Во-первых, оно опирается на оптимальный охват программного материала, во-вторых, ставит акцент на узловые проблемы, в-третьих, содействует тому, что пособие тематически и хронологически как бы предшествует знаменитым «Очеркам по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.» В. В. Виноградова.

Как никогда актуально в пособии формулируются задачи курса истории русского литературного языка («...изучать историю языка в тесной связи с историей народа», «установить взаимодействие типов литературного языка с общенародным языком на различных этапах исторического развития русского общества», определить пути развития русского литературного языка). Уделяя особое внимание стилистическому развитию языковых средств, Б. А. Ларин отделяет историю русского литературного языка от истории русского языка, что, согласно В. В.

Виноградову и Г. О. Винокуру, вошло в современные программы курсов, критикует традиционные недостатки в их изложении, выделяет четыре периода в истории русского литературного языка (Киевский, Московский, периоды со II половины XVII в. до А. С. Пушкина и от А. С. Пушкина до наших дней). На наш взгляд, совершенно справедливо он выступает против противопоставления «старой» теории И. И. Срезневского — А. А. Шахматова «новой» теории С. П. Обнорского, видя в подобном противопоставлении «недопустимое упрощение истории вопроса» (что, кстати, им блестяще доказывается далее). Критикует методологические и фактические недостатки обеих концепций, проводит мысль (используя положение о типах литературного языка, выдвинутое Ф. П. Филиным в «Лексике русского литературного языка древнекиевской эпохи» в 1949 г.) о том, что в XII—XIII вв. было не два языка (книжно-литературный и народно-литературный), а один, но сложный по своему составу. Идея о параллельном функционировании разных типов литературного языка в древней Руси, как видим, была впервые высказана уже в конце 40-х годов.

Установки ларинского курса лекций не утратили своего значения и в наше время, в тех или иных вариантах они представлены в современных программах, учебных пособиях и научных разработках. И все же с некоторыми частностями трудно согласиться. Как кажется, в пособии явно преувеличено значение творчества Н. К. Никольского в разрешении проблемы происхождения, формирования русского литературного языка и несколько принижена роль А. А. Шахматова, которого Б. А. Ларин считает «больше историком», чем «собственно лингвистом», а также и С. П. Обнорского. Более того полагаем, что без высокой оценки вклада А. А. Шахматова и С. П. Обнорского современное состояние проблемы происхождения русского литературного языка попросту представить невозможно.

Раскрывая далее понятие «сложный состав русского литературного языка древней Руси», автор подробно анализирует его компоненты — русский разговорно-деловой и книжно-церковный языки, исторически ставит вопрос о вкладе языка основных жанров древнерусской литературы в формирование русского литературного языка, нередко по-новому характеризует важнейшие памятники. Справедливо не соглашается с мнением С. П. Обнорского, будто договоры русских с греками есть перевод с греческого. Исторически, текстологически и лингвистически доказывает, что язык договоров «не является ни чисто русским, ни древнеболгарским, а является языком со множеством элементов древнеболгарского, хотя должен быть признан в своей основе русским языком» (стр. 35). Обращаясь к «Русской правде», приводит большой и свежий материал, критикует издателей памятника за отсутствие лингвистических методов изучения, но пальму первенства почему-то отдает С. В. Юшкову, хотя этот историк права, как известно, не больше применял лингвистические методы, чем Б. Д. Греков или М. Н. Тихомиров — среди историков, Е. Ф. Карский или С. П. Обнорский — среди лингвистов. Интересны здесь некоторые оригинальные этимологии слов. Тем не менее каждая из них и заслуживает внимания, и нуждается в более доказательном подтверждении (сама тенденция устанавливать этимологии слов на основе восточнославянского материала представляется интересной). Не очень, например, доказательно обосновывается мнение, что только слова *гридь* и *тиун* принадлежат к заимствованиям. Что же касается слов *вира*, *метельник*, *мытник*, то они объявляются исконными без каких-либо новых лингвистических обоснований. Не самой доказательной кажется и новая этимология слова *голважня* «мера соли». Не объяснено прежде всего, почему это слово сложное (*гол*, по Б. А. Ларину, восходит к *голова*, а *важня* — к *вага* «вес», в укр. *важити* «весить»). Не ближе ли тогда к истине М. Фасмер, который *голважня* сближает с *голый* и *важить*? Нуждается в дополнительном объяснении этимология термина *огнищанин*, особенно его значение «управляющий княжеским селом, т. е. имением» (стр. 72).

Б. А. Ларин изучает процессы формирования русского литературного языка на большом текстовом материале (учитывая фонетику, морфологию, но особенно выделяя значение лексики и синтаксиса памятника). В общий материал о древнерусских грамотах он вовлекает грамоты Великого княжества Литовского, причем, что интересно, в последних видит представителя не украинского или белорусского языка, а единой «общерусской основы» (в смысле «общевосточнославянской»). Пожалуй, впервые так подробно Б. А. Ларин анализирует и язык проповеднической литературы. Под ним, по всей вероятности, подразумевает церковнославянский язык как таковой, в котором «за старославянским сквозит русская основа». И этот тезис находит подтверждение в анализе лексики, морфологии, синтаксиса «Слова о законе и благодати», «Похвалы князю Владимиру», «Поучения Серапиона Владимирского», «Жития Феодосия Печерского», «Слова о нашествии иноплеменников» и т. п.

Говоря об органическом взаимодействии народного языка с церковнославянским, Б. А. Ларин, как кажется, не берется ответить, чем являлся церковнославянский в таком взаимодействии — самостоятельным языком или функцио-

нальной разновидностью, типом книжно-письменного языка древней Руси. Так, на стр. 132 он указывает: «...церковный литературный язык во всем отличался от русского литературного языка», а далее, по-видимому, соглашается с теми, кто считал церковнославянский стилевой разновидностью древнерусского литературного языка: «Однако подавляющее большинство проповедников пользовались языком, средним между русским и старославянским...» (стр. 133); «Никому... не приходило в голову считать эти немногочисленные старославянские элементы чужеродными включениями...» (стр. 134).

Немаловажную роль в обосновании ларинской концепции развития русского литературного языка играет в изложении курса анализ языка «Слова о полку Игореве». Автор не только вводит читателя в большую литературу памятника, обстоятельно он отвечает на целый ряд «вечных» проблем, связанных с происхождением, исконностью, характером языка и стиля памятника. И здесь Б. А. Ларин опирается на фонетические, морфологические и синтаксические факты, но особо подчеркивает мысль о том, что уязвимые места в изучении памятника связаны с традиционным невниманием к его лексике. Считая, что «наиболее обоснованным из аргументов в пользу подлинности „Слова о полку Игореве“ являются его лексические показатели», он указывает, что «ближайшей задачей исследования языка „Слова о полку Игореве“ является изучение лексики, ее семантического богатства» (стр. 178), и далее приводит большой лексический и стилистический материал. Так же обстоятельно характеризуется и другой, чрезвычайно важный для истории русского литературного языка памятник «Моление Даниила Заточника», который, по обоснованному мнению автора, имеет большое значение и сам по себе, и как материал для сравнения с иными памятниками разговорно-делового языка, в первую очередь — со «Словом о полку Игореве», как, впрочем, и с памятниками книжно-церковного языка. Не случайно далее автор рассматривает язык русских летописей, для чего привлекает большую научную литературу, увязывает материал с диалектной дифференциацией древнерусского языка, проявлявшейся в фонетике, морфологии и синтаксисе. Он присоединяется к мнению Ф. П. Филина (см. «Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи») о том, что в языке летописей (как других памятников и диалектов) отражены три пласта лексики: общий (киевское койне), общеславянский, который тоже является общим, и диалектный пласт. Первый и второй чаще входят в древнейшую, а третий — в более позднюю лексику.

Хотя литературный язык Московской Руси привлекал большое внимание исследователя, получилось как-то так, что в пособии эта проблема ставится несколько эскизно (из 309 страниц всего текста московскому языку посвящено 93), что в общем нетрудно понять, если принять во внимание неразработанность проблематики к концу 40-х годов. И все же автору, на наш взгляд, удалось раскрыть очень сложные, подчас противоречивые процессы складывания русского национального языка в его письменной и устной разновидностях, территориальной и стилистической дифференциации. Б. А. Ларин выступает против отождествления национального языка с письменным литературным, подчеркивая, что «необходимо рассматривать основной процесс сложения национального языка не как историю письменного литературного языка, а как историю народных говоров и общего разговорного языка» (стр. 230). Автор отвергает вульгаризаторские идеи, будто московский литературный язык делился на два функциональных типа — язык феодалов и язык низов-простолюдинов, соглашается с гипотезой А. А. Шахматова о северной основе (под сильным южнорусским влиянием) московского языка. Углубляет наше понимание роли живого разговорного языка, диалектной речи московской эпохи в формировании русского национального языка, устанавливает направления ее развития: использование основ старого общего языка; образование областных общих разговорных языков на основе скрещения диалектов и относящийся к XVI—XVII вв. процесс взаимопроникновения и концентрации диалектов. Называет язык ремесленников и торговцев основой общего языка, вытесняющей крестьянские диалекты.

По мнению Б. А. Ларина, специфика языковой ситуации в Московской Руси состояла в том, что разговорный язык получил доступ в письменность. Следовательно, в основу литературного языка был положен не язык грамот, как полагали до выхода пособия Б. А. Ларина, а посадская письменность XVII в., первая фиксация русского национального языка. Вслед за деловой и профессиональной письменностью появляется и письменность художественная, усиливается противопоставление литературных жанров по языку. Конечно, сейчас не во всем можно присоединиться к выводам Б. А. Ларина относительно процессов складывания национального языка. После выхода трудов Ф. П. Филина, Р. И. Аванесова, С. И. Коткова, В. И. Максимова и др. вряд ли можно безоговорочно согласиться с тем, что эти процессы происходили в XVII в. Их начало, видимо, следует искать в более раннее время. К тому же кажется, что недалеко время, когда по условиям происхождения литературного языка русской науки возникнет дискуссия. И все же мысли Б. А. Ларина о времени, социально-территори-

альной, стилистической основе русского литературного языка интересны и в наши дни.

«Лекции...» завершаются общей характеристикой значения творчества А. Д. Кантемира, В. Н. Татищева, В. К. Тредиаковского в истории литературного языка, роли М. В. Ломоносова в развитии русского литературного языка.

Заканчивая рецензию, нельзя не подчеркнуть, что Б. А. Ларин создал превосходное по материалу и методам учебное пособие, а его ученики и коллеги по работе сделали нужное дело — издали курс интересных для науки лекций. Если охарактеризовать пособие в целом, можно сказать: здесь впервые, пожалуй, одному исследователю удалось живо воссоздать целостную картину складывания русского литературного языка в его социально-территориально-стилистической дифференциации на «различных этапах исторического развития русского общества».

Доброго слова заслуживает и труд тех, кто подготовил «Лекции...» к печати, труд, ответственный и кропотливый. «Лекции...» Б. А. Ларина необходимо переиздать.

Туркин В. Н.

С. А. Высоцкий. **Средневековые надписи Софии Киевской.** По материалам граффити XI—XVII вв. Киев, «Наукова думка», 1976. 455 стр.+164 табл.

Новый труд С. А. Высоцкого завершает публикацию сохранившихся граффити Софии Киевской [1] и входит в серию задуманных автором эпиграфических описаний всех древнекиевских памятников. Преимущества описанного источника заключаются в том, что все эти граффити — несомненно киевского происхождения, часто — датированные, а иногда являются и авторскими, хронологически охватывают довольно длительный период, причем период древнейший здесь наиболее представителен и интересен. Историки языка, культуры, общества получают первостепенной важности источник, большой по материалу (в двух томах описано 1640 словоформ), тщательно обработанный и хорошо изданный. Значение источника повышается тем, что многие авторские записи соотносятся с действительными, зафиксированными в летописях событиями, а отчасти и дополняют наши сведения об этих событиях и лицах. В исследовательских разделах книги автор, основательно изучивший исследуемый источник, показывает особенности написания на древней штукатурке (материал и орудие письма) и графические особенности письма, обусловленные этим; выясняет реальные обстоятельства написания, используя исторические источники данного времени. Не довольствуясь этим, он идет и дальше, исполняя работу, которую не всегда делают и исследователи рукописей на пергаменте и бумаге (хотя у них для этого гораздо больше возможностей): он пытается выявить и психологические основы написания, высказывая множество интересных и весьма обоснованных предположений. Например, остроумны замечания о графических гиперизмах в написаниях, принадлежащих «школярам» (№ 120, стр. 42: о *я* на месте *оу* в XIII в.), об отсутствии титл в некоторых надписях, сделанных детьми (№ 117, XII в., стр. 41), и т. д. Только историк, вошедший в круг изучаемых источников, событий и лиц столь основательно, как это сделал С. А. Высоцкий, может позволить себе такую свободу в интерпретациях, которые в большинстве случаев представляются убедительными. Благодаря скрупулезной работе автора, его эрудиции и интуиции, читатель как бы включается в разработку проблемы древнерусского писания. Рецензент может лишь оценить общее значение труда С. А. Высоцкого для его собственной науки — в данном случае истории языка.

Повторяемость словоформ во времени фактически на одной плоскости каменного «листа» позволяет представить динамику начертания, словоформы или морфемы за длительный период времени. Спроецированные на уже известные науке факты того же исторического периода, эти материалы, между прочим, подводят к некоторым принципиальным выводам. Развитие графики в начертаниях некоторых букв граффити значительно запаздывает сравнительно с написаниями в рукописях (стр. 165, ср. стр. 206). Юс большой исчезает в граффити в 90-х годах XI в., на основании чего С. А. Высоцкий считает, что в пергаментных рукописях это происходило позже (ср. стр. 9—10), хотя на самом деле в новгородских минеях того же времени юс большой уже редок (в знаменитой Минее 1097 г. всего 41 раз); можно было бы говорить о хронологическом несоответствии двух разных традиций — киевской и новгородской. Многие написания даже в начерке букв в XI в. перекликаются с одновременными им восточноболгарскими мате-

[1] См.: С. А. Высоцкий, Древнерусские надписи Софии Киевской XI—XIV вв. I, Киев, 1966.

риалами, а личные имена в надписях подтверждают эту традицию, что косвенно указывает на существование тесных культурных связей между Русью и Болгарией на протяжении XI в. и позже — также важный факт, если принять во внимание существующие гипотезы об участии болгарских книжников в переводческой деятельности Киевской Руси в XI—XII вв., об их вкладе в становление древнерусского литературного языка. Очень интересны замечания о древнейшей азбуке (стр. 12—22), изображенной на стене Софийского собора,— гипотеза С. А. Высоцкого кажется наиболее убедительной из числа высказанных по этому поводу. Много интересного сказано о проблеме лигатур (ср. стр. 193), среди которых представлено несколько прежде неизвестных, между прочим таких, которые встречаются на Тмутараканском камне — и это еще раз подтверждает подлинность последнего. Сложность выявления и воспроизведения такого специфического текста, как граффити, связана прежде всего с графическими подробностями. Кроме воспроизведения текста и его перевода, автор предлагает фотокопии надписей и прекрасные их прориси. Сравнивая все эти типы воспроизведения текста, читатель может обнаружить важные подробности, интересующие именно его, и уточнить предварительное чтение, данное автором издания; ср. прориси к стр. 269, в которой ѡ скорее похоже на *ц* (или *ч*); поразительно большое число употребления букв, второстепенных для славянского алфавита (а в Софийской азбуке и не представленных, например, «пси»). Некоторые прориси и фотоснимки уточняют чтение, ср. *мѣне* (вернее *мьне*, № 104, стр. 269), *дѣтица*, а не *дѣтича* (№ 108, стр. 282), может быть, не *своегго*, а *своєго* (№ 108, стр. 283), и др. Любопытны написания с ь вместо ъ и ъ на месте ы в ряде надписей XI—XII вв. — аналогичный «переход» ъı ⩾ ъ ⩾ ь с одновременной заменой начертания ъı на ы находим во всех древнейших текстах XI—XII вв., в том числе и в новгородских берестяных грамотах; по-видимому, это как-то связано с фонетическими изменениями в языке.

К сожалению, важные для изучения истории ъ, ь тексты не всегда отчетливы, ср. *съ жасъкомь* в воспроизведении надписи XII в. (№ 117, стр. 41), *съ жасъком* в прориси (стр. 291), а на снимке (стр. 290) конечная буква неясна. Спорным является вопрос об отражении редуцированных в их изменении. Прояснение слабого *въ* ⩾ *во* в надписи № 128 (стр. 47) относится к XII в., что возможно; обратные замены *о* на ъ в текстах середины XII — начала XIII в. также вероятны (№ 132, 134, 144, 146, 147), поскольку подтверждаются уже известными науке фактами. Однако взаимное смешение *о*/ъ, *е*/ь в текстах № 190, 191, 196, которые датируются XIII—XIV вв., мало вероятно, потому что к XIV в. все изменения редуцированных на украинской территории уже завершились (если эти надписи не сделаны новгородцами). К этому времени проявляются уже следствия утраты ъ, ь, оставленные, в частности, и граффити; ср. проявление нового *ѣ* в конце XII — начале XIII в. (*провѣдны* стр. 52, № 135, «новгородского типа», с прояснением *ь* — если здесь не ошибка) *ѡтъ створюнѣ* (если верно прочтение С. А. Высоцкого в надписи № 183, стр. 82, XIII в.— «галицко-волынского типа» с дифтонгизацией *ю* на месте *е*). Весьма интересны написания с *е* на месте ятя и с юсом малым на месте *а* в текстах XI—XII вв. — опять-таки в соответствии с прочими историческими фактами, имеющимися в нашем распоряжении.

Более выразительны грамматические и лексические особенности текстов. Последовательно с флексией *-ови-/-еви* передается форма дат. падежа ед. числа христианских имен в мужском роде, ср. *Фролови*, *Мартинови*, *Гаврилови*, *Василеви*, *Мареви*, *Петрови* и др., но *рабу*, *отроку*, также в русских именах (*Владимиру* № 132, XII в., стр. 49), или русифицированном *Иванѫ* (№ 102, XI в., стр. 25), менее показательном из-за его древности. Ономастические материалы Софии Киевской вообще важны в историческом изучении имен собственных, в грамматическом же отношении важно отметить экспансию новой флексии (*-ови* на месте *-у*), со временем ставшей украинской, среди «крестильных», а не славянских языческих имен. В надписях XI—XII вв. встречается много грамматических архаизмов, например, отсутствие стяжения гласных (№ 110), согласование причастий с именем в роде (*мати хотячи*, *бгъ на хотѧ*, № 108), старые русские формы кратких причастий (*поида* № 149) и звательных форм (*соуди*! № 135) и т. д. Вместе с тем это определенно древнерусские тексты, поскольку в них отражаются свойственные древнерусскому языку особенности: перфектные формы без связки в 3-м лице, редкость форм аориста, проявление категории одушевленности (*человѣка* № 108), новых форм повелительного наклонения (*даи* № 126, 127) и т. д. Уникальна возможность на протяжении XIII—XV вв. проследить написание формы им. падежа ед. числа (и звательной формы) в названии самого храма: *свѧтаѧ Совѣи* № 198, *свѧтѧ Совѣъ* № 195, *свѧта Софиѥ* № 203, *свѧтаѧ Софьѣ* № 228 и др.; как известно, в некоторых типах таких написаний видели особенности севернорусского (чже — псковского) письма.

В надписях представлены интересные лексемы, ср. *отпилкрзу* (№ 185, стр. 83)— вряд ли это *къръзно*; неясно по значению слово *чинъ* в надписи № 108 (стр. 32): если сочетание *вокосе* понято правильно (№ 190, стр. 86), вряд ли слово *косой* в

XIII в. имело значение «пьяный»; в № 112 чтение *приѧлъ* более вероятно для XII в., чем *принѧлъ* (стр. 38); *гостя страника* в № 148 (стр. 59) — первое слово употреблено еще в значении «купец»; *край* в № 210 (стр. 96) вряд ли в значении *карай* (повелительная форма от *карати*); в № 121 (стр. 43) написано не *еще*, а *аще*, в № 140 (стр. 55) сочетание *жънамъ* скорее соответствует *жъ* и *намъ*; в № 120 (стр. 42) скорее следует читать *оученикомъ*, а не странное для XII в. *выученикомъ* — поскольку в этой записи начало каждой строки повторяет конец предыдущей, ср. «перекличку», строк *въд* ~ *въд*, *въ* ~ *въ*, следовательно, и *ходивы* «ходивший» представляет собою полную форму причастия в сочетании с перфектом *ѱлъ* (что и ожидается в данном случае); по-видимому, *на ноу* в надписи № 198 (стр. 91) значит не *на нови*, как полагает С. А. Высоцкий, сопоставляя приведенную форму с указанным И. И. Срезневским в его словаре *ноу*, *новь* (форма именительного падежа ожидалась бы *ны* — Срезневский и не дает формы *ноу*, поскольку именительный падеж в древнерусском совпадал уже с винительным *новь*; впрочем сравнительная грамматика славянских языков и не причисляет данного имени к основам на **ū*), эта форма входит в сочетание *на лноу* (ср. воспроизведение на стр. 364—365). В целом, несмотря на сложность текстов, подвергнутых исследованию и описанию, недоразумений такого рода оказывается не очень много.

Можно было бы предложить также несколько новых прочтений, из-за неисправности надписей также не всегда окончательно ясных.

№ 108, стр. 32: *Бъ же нехотѧ человѣка бѣдами кажетъ* переведено как «бог же, не желая человеку бед», что противоречит употреблению формы винительного падежа *человѣка* и не согласуется с древним значением глаголов. *Хотѣти* по отношению к богу передавало значение желательности и повеления, *казати* «наказывать, поучать»; следовательно, чтение текста может быть представлено следующим образом: «бог же, не желая человека, бедами наказывает (его)» или «бог же, не желая (того), человека бедами наказывает». Точность прочтения в данном месте особенно желательна, учитывая драматическое содержание текста.

№ 135, стр. 52: ... *прости мѧ влдко грѣхъ маихъ мнози/б(о) соуть и съп(о)доби оулучити/млсть отъ тебе соу(д)и провѣ/дны въ днь соудьнъ*, что переведено так: «Господи, помоги рабу своему Кузьме, грешному пресвитеру, и прости мне, владыка, грехи мои многие, потому что есть, и удостой получить милость от тебя — судьи, проведи в день судный». Некоторые формы слов предполагают более точным другой перевод: «прости меня, господи, (за) мои грехи, потому что много их, и удостой получить милость от тебя, судия праведный, в день судный». Особенно интересны здесь архаические формы звательного падежа у существительного *судии* и беспредложного родительного в сочетании *грѣхъ маихъ*. Датировка текста — конец XII — начало XIII в., этому не противоречит ни одна фонетико-орфографическая черта надписи (новый *ѣ*, смешение *о/а*), но сделал эту надпись скорее новгородец, чем киевлянин — именно потому, что здесь отмечены такие особенности написания.

№ 175, стр. 78, *се азъ Григорѥ (Ю)рьѥвичь большиие моливъ/Ꙗцѣл(бо) а бѣсомтѧ творю* переведено: «Это я, Григорий Юрьевич больший молил... а бесом уязвленный делаю, а я... ». По-видимому, буква *е* в форме *большиие* заменяет ять, что обычно в текстах XII—XIII вв., в таком случае перед нами — винительный падеж множественного числа («бо́льших молитв», ср. также снимок и прорись на стр. 345): вторая строка содержит *Ꙗ цѣлъ* (затем неясно две буквы), а последние слова *Ꙗ има*. В целом можно лишь догадываться о содержании текста: «Это я, Григорий Юрьевич, молив старших (святых, угодников), исцелел и считаю тебя бесом, я име...». Возможностей для толкования довольно много и в других композициях, приходится рассчитывать на дальнейшие кропотливые изыскания специалистов, которые помогут точнее прочесть все эти интересные и важные в историческом отношении тексты — подобно этому последнему, который определенно носит характер заклятия с выходом в язычество. На материале записей вообще можно было бы провести целое исследование на тему о древнерусском д в о е в е р и и, которое сопровождает и д в у я з ы ч и е — в литературном, разумеется, смысле этого слова.

Рецензируемая книга интересна своим широким фоном, разносторонностью интересов, которые могут возникнуть при работе над этим источником. Было бы весьма желательно получить полный корпус изданий древнерусского эпиграфического материала, поскольку он расширяет границы наших знаний о древнерусском языке, обществе и о культуре Древней Руси. Отличное издание С. А. Высоцкого — важный вклад в это большое патриотическое дело.

Колесов В. В.

J. M. Piel, D. Kremer, **Hispano-Gotisches Namenbuch. Der Niederschlag des Westgotischen in den alten und heutigen Personen- und Ortsnamen der Iberischen Halbinsel.** — Heidelberg, «Carl Winter Universitätsverlag», 1976. 399 стр.

Авторы рецензируемого словаря давно известны в специальной литературе своими фундаментальными исследованиями в области германской ономастики на территории нынешних Испании и Португалии [1]. Словарь этот, являющийся итогом исследований Й. Пиля с 1936 г.[2], представляет собой заметное явление в романо-германском языкознании современности. В нем впервые с исключительной полнотой и тщательностью собраны и критически оценены в свете новейших лингвистических и исторических данных собственные имена (топонимы и антропонимы) вестготского происхождения (XI—XII вв.), широко представленные на территории Иберийского п-ова (Hispania), которая была заселена христианско-романскими аборигенами. Некоторые из этих апеллятивов и топонимов ранее отмечались в исследованиях по древненемецкой и романской ономастике Э. Фёрстемана, М. Шёнфельда, В. Мейер-Любке, многие же приводятся в п е р в ы е и ранее не были известны. При этом в ряде случаев интерпретация готской ономастики в рецензируемом словаре существенно отличается от той, которую мы находим у указанных выше авторов. Все приводимые имена собственные почерпнуты главным образом из официальных документов (Konzilakten) : авторы использовали более 70 различных источников, приводимых ими на стр. 49—51. В работе указывается, что эпиграфические и нумизматические источники не принимались во внимание, так как они не содержат достаточно надежного ономастического материала.

В задачи авторов словаря входило: 1) проследить историю развития и существования готских ономастических элементов на территории средневековых и современных Испании и Португалии. При этом в рецензируемом словаре в ряде случаев сопоставляются компоненты более ранних а н т р о п о н и м о в с компонентами более поздних т о п о н и м о в; 2) выяснить звуковые и морфологические особенности готских имен собственных на территории Иберийского п-ова. Авторы особо отмечают, что их исследование ориентировано главным образом не на восстановление языковых фактов доисторического периода, а представляет собой попытку выявить звуковые и морфологические п р е о б р а з о в а н и я и и с к а ж е н и я готской ономастики на романской почве, хотя далеко не всегда это удается сделать по отношению к каждому рассматриваемому имени (стр. 38). Основными критериями при этом служат фонетические соответствия, сопоставление с материалом родственных германских языков, а также «обратная реконструкция» на основе современной ономастики.

Факт переселения германских и, в частности, готских племен на территорию Иберийского п-ова в настоящее время можно считать вполне установленным. Особенно известно существование вестготского государства в Толедо [3]. История Иберийского п-ова, как и история его антропонимов и топонимов, в решающей мере определялась арабским завоеванием, а также последующей реконкистой. Кроме того, нельзя не учитывать контаминации романских и германских элементов в пределах разбираемых собственных имен, в связи с чем особую важность приобретает вопрос о субстратах и супер-

[1] См.: J. M. P i e l, Blüte und Verfall der westgotisch-hispanischen Personennamen, «4 Kongreß für Namenforschung», II, Uppsala, 1952; e г o ж e, Sobre a formação dos nomes de mulher medievais hispano-visigodos, EMP, 6, 1956; e г o ж e, Nombres visigodos de proprietarios en la toponimia gallega, «Homenaje F. Krüger», 1954; e г o ж e, Neue Beiträge zur galicisch-westgotischen Toponomastik, «Sprache und Geschichte. Festschrift für H. Meier», München, 1971; D. K r e m e r, Die germanischen Personennamen in Katalonien, I, «Estudias romanics», 14—15, Barcelona, 1969—1973; e г o ж e, Bemerkungen zu den mittelalterlichen hispanischen Cognomina, «Portugiesische Forschungen der Görrengesellschaft», 10, 1970. Ср. также: J. M. P i e l, Antroponimia Germanica, ELH, 1, 1959; e г o ж e, Sobre alguns nomes de pessoas luso-visigodos derivados de nomes de animais, «Revista de Guimaraes», 63, 1953; e г o ж e, Os nomes dos santos tradicionais hispanicos na toponimia peninsular, «Biblos», 25, 1949; e г o ж e, Zur Problematik der Beziehungen zwischen Sueben und Westgoten, «Festschrift zur Hundertjahrfeier des Deutschen Vereins Lissabon», 1971.

[2] В основу словаря легла работа Й. Пиля «Os nomes germanicos na toponimia portuguesa» (Lisbõa, 1936—1941). Д. Кремер собрал германские личные имена в ареале древней Каталонии, вошедшие в рецензируемый словарь.

[3] Ср., например, следующее высказывание в «Chronicon Albeldense»: «...omnemque Gotorum ordinem, sicuit Toleto fuerat, tam in ecclesia quam palatio in Obeto cuncta statuit».

стратах, об архаизмах и инновациях и отделении исконно готских имен (нередко представленных в искаженном виде) от романских и арабских. Так, при рассмотрении имени собственного *Bagunte* исследователи выделяли германские элементы *bad-* и *-gunt-*, тогда как авторы показывают, что это название восходит к лат. *Vocontius*. Готские имена необходимо отделить также от прочих германских (например, свебских, франкских и др.). Весьма важной представляется и проблема германских заимствований в испанском и португальском: при ближайшем рассмотрении оказывается, что из 130 готских заимствований в этих языках, приводимых Э. Гамильшегом, надежными можно считать лишь единичные случаи типа галицийск. *escá* < гот. *scala* «Scale»; галицийск.-португ. *gasalla*, *gasalha* «Gemeinschaft» < гот. *saljan*; исп.-португ. *espora* < гот. **spaúra*; *roca* «Rocken» < гот. **rukka*; португ. *luva* «Handschuh» < гот. *lova* и др. Имя собственное *Fafila* не имеет ничего общего с гот. **faff-* (§ 82 рецензируемой работы), а соотносится с арабским именем *Halaf*.

То обстоятельство, что наибольшее скопление готских собственных имен наблюдается в северо-западном ареале Иберийского п-ова, было отмечено еще Мейер-Любке («Romanische Namenstudien», I, Wien, 1904). Речь идет о территории римской провинции Gallaecia и соответственно о современных испанских и португальских округах Ля Корунья, Луго, Оренсе, Понтеведра, Замора, Леон, Паленсия, Брага, Порто, Вила Реаль, а также территории Овьедо, Авейро, Коимбра и др. Нельзя не учитывать, однако, что указанный ареал не совпадает с первоначальной территорией готского поселения на Иберийском п-ове, которая, кроме Gallaecia, охватывала современные провинции Бургос, Валлодилид, Гуадалахара, Мадрид и др. [4]. Впервые засвидетельствованный в VIII в. топоним *Campi Gothorum* (он, видимо, представлен в современном названии города *Toro* <*Tierra de Campos* в западной части провинции Паленсия), очевидно, указывает на первоначальное исторически засвидетельствованное место поселения готов в 494—497 гг. н. э. В этой связи авторы справедливо критикуют концепцию Э. Гамильшега, который приводит список из 80 топонимов, якобы содержащих этническое название готов. Эти топонимы, по мнению Э. Гамильшега, были распространены на юге Иберийского п-ова. В большинстве этих имен, однако, как указывают авторы, мы имеем дело с антропонимами, содержащими элементы *goþ* «хороший» и *guþ* «бог» (стр. 23).

По мнению авторов, вряд ли можно согласиться и с тезисом Э. Фёрстемана, который усматривал в имени собственном *galind-* связь с названием древнепрусской области Galinden и «напоминание о балтийской прародине готов». Нельзя согласиться и с концепцией Г. Закса, который, учитывая, что этот корень широко распространен в готской ономастике на территории Испании, сделал вывод, что «галинды следовали за готами при их переселении на другие территории» [5]. Авторы не считают возможным принять также и концепцию В. Рейнхарта, согласно которой германские имена собственные северо-запада Иберийского п-ова принадлежали свебам [6]. Это положение, на ошибочность которого указывал еще Мейер-Любке («Romanische Namenstudien», I, стр. 102), опровергается также и материалом, проводимым в рецензируемом словаре: готские антропонимические и топонимические элементы обнаруживают восточногерманские особенности и тесно связаны с именами собственными вандальского и бургундского происхождения.

Авторы очень осторожно относятся к реконструкции фонетических особенностей готского языка на территории Иберийского п-ова и считают слишком рискованным восстанавливать эти особенности только на основе дошедших до нас латинизированных или романизированных собственных имен, во многом искажающих или затемняющих исконно германский характер входящих в них готских слов и их истинный фонетический состав. Этому в немалой степени способствовали ошибки писцов и значительная вариативность в написании одного и того же имени собственного (ср. RPF, X, 1960, стр. 1 и сл.). Ср. *sens-/rens-*, *seny-/reny-*, *sen-/ren-* вместо *sind-*; *dan-/dag-*, *ermen-/ar-/elm /em-*; *ald-/alt-/ard-/ild-* и др. Нельзя не считаться также с омонимией романских и германских корней, а также с контаминацией готских и романских флексий (ср. стр. 38) и звуковых переходов. Ср. элемент *truct,- truit-*, *troit-*, восходящий к гот. *drauhts* «Heerschar, Gefolge». Переход *dr* > *tr* объясняется адаптацией к романскому образцу. Подобная же адаптация произошла и при развитии *-uct-* > *-oit* > *-eit-* (ср., например, переход лат. *vulturaria* > др.-португ. *voitoreira* в топониме *Beitureira*). Авторы подчеркивают, что в данном случае не

[4] Ср.: P. de P a l o l, Demografia y arqueologia hispanicas de los siglos IV al VIII. Ensayo de cartografia, «Boletin del Seminario de estudios de arte», 32, 1966.

[5] G. S a c h s, Die germanischen Ortsnamen in Spanien und Portugal, «Berliner Beiträge zur romanische Philologie», II, 4, Jena — Leipzig, 1932 (ср. BF, 2, 1934).

[6] W. R e i n h a r t, Historia general del reino hispanico de los suebos, Madrid, 1952.

следует говорить о каком-то о с о б о м г о т с к о м фонетическом изменении.

Отмечая заслуги Э. Гамильшега в деле создания «грамматики готского языка в Романии»[7], И. Пиль и Д. Кремер не видят возможности признать обоснованной попытку О. Хёфлера установить в готском на территории Иберийского п-ова звуковые переходы, подобные тем, которые были выведены для германских языков на основе сохранившихся языковых памятников (в частности, речь идет о «втором перебое согласных»)[8]. Вообще для рецензируемой книги характерен трезвый, осторожный, непредвзятый подход к исследуемому материалу, оставляющий возможность иного рассмотрения его и чуждый попыток навязать читателю определенную заранее сформулированную точку зрения. Авторы отмечают спорные случаи этимологической интерпретации исследуемых корней и взвешивают различные возможности их анализа, известные из специальной литературы и предложенные ими самими (ср., например, стр. 59, 65, 79 и др.).

Для готских имен на Иберийском п-ове, как и для германской ономастики в других ареалах, характерна двусоставность (существительное + существительное: *Ber-ulfo*, существительное + прилагательное: *Frede-nando*, прилагательное + существительное: *Berto-sindo*, прилагательное + прилагательное: *Balde-miro*, наречие + прилагательное: *Ala-rico*). Нередко происходило сокращение двусоставных имен (*Berulfo* > *Bero*, *Geldemiro* > *Miro*)[9]. Авторы отмечают, что в романизированных германских именах ударение перемещалось с первого компонента имени на второй, в связи с чем он в большей степени, чем первый, сохранял свою фонетическую структуру и был этимологически «узнаваемым» (ср. *Ada-ulfi* > *Aufe* > *Ufe*; *Tangil* < (*villa*) *Atangildi*; *Tufi* < *villa Ataulfi*; *Tarei* < *villa Atanaredi*).

К работе приложены следующие карты: 1) «Готские захоронения и места чеканки монет» (стр. 22); 2) «Распространение антропонимов *свебы*, *готы* и *романцы* в современной топонимике Иберийского полуострова»; 3) «Географическое расположение и относительная плотность современных топонимов вестготского происхождения, выражающих посредством генитива принадлежность территории (первоначально оканчивались на *-anis* у *n*-основ и на *-i* у *s*-основ)» — стр. 39; 4) «Географическое распределение важнейших ономастических источников на территории Иберийского полуострова» (стр. 52); 5) «Центры испанских и португальских округов и провинций» (стр. 56).

В рецензируемом словаре в алфавитном, хронологическом и ареальном порядке (с запада на восток) исследуются 318 готских ономастических корней, выступающих в качестве первого члена сложных апеллятивов или топонимов, и 121 корень, засвидетельствованный в качестве второго члена имен, а также ономастические суффиксы и окончания (стр. 333—354). Приводится также список однокоренных имен (стр. 345—354). Каждое имя сопровождается указанием на его этимологию — как общепризнанную, так и спорную или возможную, и ссылкой на соответствующую специальную литературу и источники. Особо указываются случаи н о в о й э т и м о л о г и и готских имен, предложенной авторами рецензируемого словаря, а также корни, до сих пор не получившие удовлетворительного объяснения.

Необходимо, однако, отметить, что при всей тщательности рассмотрения материала в словаре не всегда в полной мере используется засвидетельствованный письменностью лексический фонд германских языков, что не может не сказаться отрицательно на семасиологической интерпретации рассматриваемых имен. Так, на стр. 273 приводится ономастический элемент *uld-*, *old-*, который возводится к гот. *hulþs*, др.- в.-нем. *hold* «hold, getreu». В данном случае интересно было бы привлечь др.- англ. *hold* «tribunus» (Mk VI, 21), встречаемое в нортумбрийских евангелиях. Имя собственное *Burila* (стр. 106) в рецензируемом словаре возводится к гот. *baur* «Sohn» или к личному имени *Buri*. В этой связи следовало бы иметь в виду и встречаемое в нортумбрийском слово *birel* «minister» (J II, 5). К этому же корню, возможно, относится и имя *ber-*, *wir-*, приводимое на стр. 100—103. Указанный на стр. 99 корень *bel-* можно возвести не только к др.-в.-нем. *bil* «Spitzhacke», англ. *bill* «Schwert», но и к др.- англ. *bel* «костер».

[7] См.: E. G a m i l l s c h e g, Grammatik der gotischen Bestandteile des Romanischen, «Romania Germanica», II, Berlin — Leipzig, 1935, стр. 30—55. Нельзя, однако, не отметить интересных разысканий Э. Гамильшега в области германской лексики на территории Романии и собранного им огромного материала, который необходимо учитывать в любом исследовании подобного рода. Этот материал содержится не только в указанной работе Э. Гамильшега, но и в его фундаментальном «Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache», особенно в новом, в корне переработанном втором издании этого словаря, выпущенном в 1969 г. издательством К. Винтера в Гейдельберге.

[8] См.: O. H ö f l e r, Die zweite Lautverschiebung bei Ostgermanen und Westgermanen, Tübingen, 1958; ср.: G. B a i s t, Die hochdeutsche Lautverschiebung in Spanien, RF, 1, 1883.

[9] Ср.: T. M i l e w s k i, Indoeuropejskie imiona osobowe, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1969.

В послесловии к своему словарю авторы, однако, сами признают, что они не учли целый ряд средневековых источников, материал которых может внести значительные поправки в опубликованный ими список топонимических и антропонимических элементов. Именно поэтому они считают необходимым издание дополнительного тома к рецензируемому словарю.

В словаре Й. Пиля и Д. Кремера не предпринята попытка реконструкции корней, не засвидетельствованных в готских языковых памятниках, но представленных в родственных германских языках. Нет в словаре и словообразовательного анализа ономастического материала, позволяющего реконструировать не засвидетельствованные в готском вокабулы [10]. Авторы, к сожалению, н е п р и в л е к а ю т германский д и а л е к т н ы й м а т е р и а л, что в большой мере суживает возможности объяснения соответствующих имен и их соотнесение с определенной территорией или племенем. Не проводится в рецензируемом словаре и реконструкция специфических готских вокабул или особых значений известных лексем, т и п и ч н ы х для того или иного а р е а л а распространения готского языка. Не устанавливаются в словаре и изоглоссы между одинаковыми топонимическими элементами, распространенными в различных ареалах германской языковой территории [11]. Нельзя, однако, не принимать во внимание того обстоятельства, что на пути подобных исследований стоят огромные трудности, обусловленные не в последнюю очередь самой спецификой рассматриваемого ономастического материала. Мы имеем в виду отсутствие топонимического контекста (латинских или германских толкований топонимов, как это наблюдается в древнеанглийских «Charters») и контаминацию романских и германских корней и фонетических явлений, создающую немалые трудности их интерпретации. Так, например, приводимый авторами ономастический корень *frum-*, *from-*, *fram-* (ср. др.-в.-нем. *fruma* «Nutzen», ср.-в.-нем. *frum* «tüchtig», совр. нем. *fromm*) контаминируется с лат. *furmica* «муравей» (исп. *formiga*, *formigo*) в таких именах, как *Frumigaria*, *Frumigosa*, *Formigones*, *Formigal* (стр. 142). Ономастический корень *remes-*, *rim-* (предположительно связанный с гот. *rimis* «Ruhe») контаминируется в именах типа *Remesquide*, *Ramisquido*, *Remiqueira*, *Remiscal*, *Remiscosa* с романским корнем *ramisco* (*ramo*/*rama*) «Gezweig». Отметим, наконец, что принципы, на основе которых авторы выводят варианты собственных имен, не совсем ясны; во многих случаях весьма проблематичной представляется принадлежность этих вариантов к тем корням, с которыми авторы их соотносят [12]. Все это связано с тем, что применяемые ныне методы и принципы этимологического анализа все еще заставляют желать лучшего и в ряде случаев не только не дают возможности адекватного исследования материала, но и становятся помехой такого исследования. Речь идет и о многих «фонетических этимологиях», нередко заставляющих лингвиста делать построения, совершенно не подтверждаемые другими фактами языка, и особенно о семасиологической интерпретации сопоставляемых слов, связь которых часто оправдывается лишь потребностями «неумолимых» фонетических соответствий, но объективно носит произвольный и надуманный характер. В этой связи, приступая к этимологическому анализу того или иного слова, представляется необходимым, если это возможно, ответить на следующие основные вопросы: 1) почему одни и те же корни в близкородственных языках обнаруживают неодинаковые (и именно данные) семантические переходы, а в некоторых языках вовсе не меняют значения? какие значения могут (должны, не могут) изменяться, в какие значения они переходят (не переходят) и при каких условиях?; 2) чем объясняется порядковая последовательность (одновременность — разновременность, обратимость — необратимость) отдельных преобразований?; 3) каков возможный «предел» и диапазон семантического развертывания данной семантемы при тех или иных условиях (внутрисистемных, межсистемных, социальных, индивидуальных и др.)?; 4) что определяет качественный и количественный состав семантического и лексико-семантического континуума, существует ли определенная иерархия семантических переходов?; 5) можно ли говорить о семантических соответствиях и какие значения при тех или иных условиях соотносимы, а какие несоотносимы?; 6) можно ли считать наличие у сопоставляемых слов идентичных или различных значений достаточным основанием для их семантического уравнивания или разграничения, каким образом можно исключить промежуточные звенья семантиче-

[10] Ср.: H. -J. S c h u b e r t, Die Erweiterung des bibelgotischen Wortschatzes mit Hilfe der Methoden der Wortbildungslehre, München, 1968.

[11] Ср.: М. М. М а к о в с к и й, Реконструкция диалектных лексических моделей методом топонимического анализа, сб. «Изучение географических названий», М., 1966; е г о ж е, Этнонимия Англии в сравнительно-историческом освещении» сб. «Этнонимы», М., 1970, стр. 236; ср.; W. d e G r a y B i r c h, Cartularium Saxonicum. A collection of charters relating to Anglo-Saxon history, I—IV. London, 1885—1889.

[12] Ср.: F. S o l m s e n, Indogermanische Eigennamen als Spiegel der Kulturgeschichte, Heidelberg, 1922.

ского развития (сопоставлять следует по возможности структурно одинаковые звенья семантической цепи)?; 7) всегда ли и все ли лексико-семантические преобразования обусловлены только закономерностями [13]?

Важно иметь в виду, что отнюдь не все характеристики, признаки, связи, присущие исследуемому объекту, в одинаковой мере существенны для описываемого феномена. Именно поэтому, опираясь на признаки, бесспорно характерные для данного объекта, но стоящие как бы над ним, не составляющие его сущности (например, при использовании данных логики, психологии или просто «здравого смысла» для интерпретации языковой семантики или установления определенных ассоциаций), мы можем все же дать ложное описание последнего. Правомерными можно признать только такие критерии, которые отражают определенные ограничения, накладываемые специфическими свойствами данной лексико-семантической системы и ее отдельных членов.

Нельзя отрицать (и авторы этого не скрывают), что на территории Иберийского п-ова многие ономастические элементы все еще остаются недостаточно объясненными с точки зрения этимологии, словообразования, структуры (в ряде случаев исследователь сталкивается с вопросом, следует ли усматривать в том или ином ономастическом корне однокоренное или сложное слово) и соотношения с соответствующими корнями в родственных языках на различных этапах их развития, что часть ономастического материала вообще еще не изучена [14]. Нельзя, однако, не признать, что рецензируемый ономастический словарь **впервые** предоставляет в распоряжение исследователей (германистов и романистов) довольно значительный по своему объему и разнообразию **корпус готских ономастических элементов**, ранее разбросанных по отдельным источникам и не собранных воедино. Тот факт, что теперь такой корпус опубликован, дает основание полагать, что приводимый в нем фактический материал явится солидной основой для дальнейших исследований и сопоставлений. Важность такого корпуса готских имен для исследования как частных проблем германского языкознания (особенно при учете скудности готских языковых памятников), так и общих лингвистических вопросов (субстратные явления, заимствования и др.) трудно переоценить.

Маковский М. М.

[13] Ср.: М. М. Маковский, Соотношение необходимости и свободы в лексико-семантических преобразованиях, ВЯ, 1977, 3.

[14] Ср.: J. M. Piel, D. Kremer, Vestigios da onomastica pessoal visigoda medieval na toponimia «menor» das Terras de Bragança, Coimbra, 1975. Подробный список литературы вопроса (около 70 названий) приводится на стр. 394—397 рецензируемого словаря.

«Ономастика. Указатель литературы, изданной в СССР с 1963 по 1970 год». Сост. Б. А. Малинская, Р. Р. Мдивани, М. Ц. Шабат. Отв. ред. Н. В. Подольская.— М., 1976. 206 стр. (АН СССР, Ин-т научной информации по обществ. наукам)

Библиографический указатель «Ономастика», подготовленный Отделом научно-библиографической информации ИНИОН АН СССР, представляет собой первый опыт подобного издания в помощь специалистам по ономастике в СССР (литература по ономастике за 1918—1962 гг. отражена в указателе «Общее языкознание. 1918—1962», М., «Наука», 1964). Как справедливо отметил в предисловии к изданию О. Н. Трубачев, «читатель получает не просто библиографический справочник, а информационно-поисковую систему по ономастической литературе последнего времени» (стр. 5).

Роль подобного издания трудно переоценить. В самом деле, с выходом указателя специалисты по ономастике располагают добросовестно составленным, достаточно полным списком литературы за 1963—1970 гг. Помещенные на стр. 7—14 разделы «От авторов» и «О структуре книги» значительно облегчают читателю пользование указателем «Ономастика».

Указатель ориентирован на максимальную полноту охвата литературы по данной специальной тематике. В книгу включены сборники и статьи из них, отдельные монографии, авторефераты диссертаций, статьи из продолжающихся изданий и журналов, рецензии на советские и иностранные работы по ономастике и даже тезисы докладов на конференциях, симпозиумах, съездах (всего 2509 работ). Можно согласиться с авторами книги в том, что с принятием ими системы вспомогательных указателей классификационный принцип становится излишним. По-видимому, составители хорошо отдавали себе отчет также и в том, что ономастика

как область науки представляет исключительные трудности для внутриономастической классификации. Для организации материала практически невозможно выделить какой-то единый принцип классификации: территориальный, языковой и другие признаки не оказываются достаточно четкими. Поэтому в целях экономии места и для того, чтобы избежать дублирования, все работы даны в указателе общим списком по алфавиту.

В перечне сборников, вошедших в состав «Ономастики» (стр. 21—22), указаны только тематические сборники, т. е. посвященные исключительно ономастике. Однако этот принцип выдержан не полностью, что позволяет указать на опущенный сборник «Лингвистическая терминология и прикладная топономастика» (М., 1964), статьи из которого фигурируют в алфавитном списке. Составителям «Ономастики» вряд ли также стоило так строго придерживаться библиотечного принципа деления книг на сборники и периодику. Так, при наличии статей из некоторых изданий полное описание последних может нигде не отражаться, например, в списке сборников нет издания «Языки и топонимия Сибири» (т. 1— Томск, 1966; т. 2— Томск, 1970), свердловское же издание «Вопросы топономастики» (выходило в «Уч. зап. Уральск. гос. ун-та») указано лишь в списке аббревиатур. Возможно, для следующего издания «Ономастики» стоит подумать о включении в общий список сборников с характерным заглавием, выходящих в сериях периодических и продолжающихся изданий, поскольку такие сборники больше известны специалистам именно своим характерным заглавием. Можно было бы дать и общий список наименований использованной периодики.

Предмет ономастики как науки понимается авторами достаточно широко. В соответствии со сложившимися в ономастике традициями, указатель включает и работы по этнонимике (отнесение этнонимов к собственным именам или к нарицательной лексике — вопрос спорный), и по бесспорно нарицательной лексике — местным географическим терминам, поскольку топонимика не может обойтись без изучения этого разряда слов. Можно было бы рекомендовать составителям включить в следующее издание указателя «Ономастика» и некоторые работы географов, имеющие прямое отношение к топонимике, а в приложении, дополняющем данное издание, можно указать такие работы, как, например: Ф. Н. Мильков, Словарь-справочник по физической географии (2-е изд., М., 1970); И. М. Кауфман, Географические словари. Библиография (М., 1964). В первой работе, помимо научных географических терминов, имеется большое количество местных географических терминов; во второй — специальные разделы посвящены топонимическим словарям, словарям транскрипции географических названий и т. д.

Раскрытие содержания ономастической литературы производится составителями благодаря принятому ими набору содержательных характеристик (стр. 9), нашедшему выражение во второй части издания в виде шести вспомогательных указателей. Подобная система подачи материала без преувеличения может считаться новаторской в практике информационно-библиографических изданий по ономастике в СССР и зарубежных странах. Не случайно по принципам, разработанным для указателя «Ономастика», был сделан и аннотированный указатель «Топонимические карты» [1], где автором топонимической части Е. М. Поспеловым составлены указатель географических наименований, указатель топонимии по языковой принадлежности или происхождению и указатель топоформантов, тополексем, географических терминов и отдельных топонимов. Все это показывает, насколько перспективна и ценна в практическом отношении инициатива составителей библиографического указателя «Ономастика».

Важное место в книге занимает «Указатель основных терминов и понятий». Указатель составлен таким образом, что, читая его, можно действительно представить себе терминологическую систему ономастики и основное содержание этой науки. К достоинствам указателя можно отнести подробную роспись по языкам (например, Этнонимия адыгейская, алтайская и т. д.), инверсию ключевого слова (Антропонимическая модель → Модель антропонимическая) и т. д. Вместе с тем указатель, отражающий терминологию ономастики в том виде, как она сложилась к настоящему моменту, отчетливо демонстрирует, насколько эта терминология несовершенна (недифференцированное употребление терминов типа «ономастика», нечеткость некоторых терминов, например «ареал», и т. д.). Кстати, терминологическая нечеткость данной отрасли языкознания явственно обнаружилась и на прошедшей в октябре 1976 г. в Москве Международной славистической конференции «Перспективы развития славянской ономастики» (дискуссии по поводу терминов «ареал», «система» и др.). Подобное состояние науки объясняет трудности библиографов и в то же время показывает настоятельную необходимость дальнейшей разработки терминологической системы ономастики.

Специалисты, безусловно, оценят наличие в книге указателя языков, на мате-

[1] «Топонимические карты. Аннотированный указатель», М., 1974 (Гос. Биб-ка СССР им. В. И. Ленина. Моск. филиал ГО СССР).

риале которых проводилось исследование, указателей объектов и ареалов ономастических исследований. Наконец, уникальный указатель формантов и формообразующих элементов (или, как предложил называть его О. Н. Трубачев в предисловии, указатель исходов названий) предназначен для ученых, занимающихся словообразованием и этимологией собственных имен, и, без сомнения, окажет им важную помощь в их работе.

Рецензируемый библиографический труд, как нам представляется, станет настольной книгой любого лингвиста, интересующегося ономастикой. Остается пожелать составителям книги продолжить издание, охватив последующие годы, и сделать указатель выходящим периодически. Возможно, информационно-поисковая ценность указателя повысится еще более, если в него будут включаться и отдельные главы, посвященные ономастике, из книг монографического характера общеязыковедческой и другой специальной проблематики (например, в книге В. И. Абаева «Скифо-европейские изоглоссы на стыке Востока и Запада», М., 1965, есть ряд разделов, посвященных индоевропейской и славянской теонимии), хотя мы отдаем себе отчет в том, что подобное углубленное раскрытие содержания языковедческой литературы может намного увеличить объем библиографического указателя «Ономастика».

Следует также отметить, что книга вышла слишком маленьким (800 экз.) тиражом, который не в состоянии удовлетворить спрос на подобное издание в СССР, и это необходимо учесть при подготовке изданий такого рода в последующие годы.

Агеева Р. А.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам высылаться не будет.

2. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

3. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 10 стр. машинописи.

4. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

5. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

6. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

7. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

8. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

9. Непринятые рукописи, как правило, не возвращаются.

10. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

11. Хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни. Объем хроникальной заметки —3 —5 стр.

CONTENTS

Articles: Kumaxova Z. Ju., Kumaxov M. A. (Moscow). On the classification of functional styles in languages of different types; **Discussions:** Lapteva O. A. (Moscow) Modern Russian public speaking in the light of the theory of style; Lopatin V. V., Uluxanov I. S. (Moscow), Theory of grammar and practice of grammatical description; Palmaitis M. L. (Tbilisi). Proto-language: a genetic or contact entity?; **Materials and notes:** Philippov A. V. (Puškino, Moscow Region). On the lexical connotation; Komlev N. G. (Moscow). On criteria of correct utterances; Paulini E. (Bratislava). Distinctive features of vowels in Slovak; Avanesov R. I. (Moscow). Phonological status of long consonants in Byelorussian; Sanžeev G. D. (Moscow). Allophones of long consonant phonemes in Mongolian languages; Cyvin A. M. (Baku). On the classification of Russian dictionaries; Partenadze M. H. (Batumi). On the nature of words labelled «regional»; **Reviews; Scientific life.**

SUMMAIRE

Articles: Kumaxova Z. Ju., Kumaxov M. A. (Moscow). Sur la classification des styles fonctionnels dans les langues de types differents; **Discussions:** Lapteva O. A. (Moscou). Discours public russe d'aujourd'hui à la lumière de la théorie de style; Lopatin V. V., Uluxanov I. S. (Moscou). Théorie de la grammaire et pratique de la description grammaticale; Palmaitis M. L. (Tbilisi). La langue-mère, est-ce une communauté génétique ou de contact?; **Matériaux et notices:** Philippov A. V. (Pouchkino, région de Moscou). Sur le connotation lexique; Komlev N. G. (Moscou). Critères permettant de déterminer les énoncés corrects; Paulini E. (Bratislava). Traits distinctifs des voyelles en slovaque; Avanesov R. I. (Moscou). Statut phonologique des consonnes longues en biélorusse; Sanžeev G. D. (Moscou). Allophones longs des voyelles dans les langues mongoles; Cyvin A. M. (Baku). Sur la classification des dictionnaires russes; Partenadže M. H. (Batumi). Sur la nature des mots portant la marque «régional»; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Исправление

В № 4 за 1977 г. в строке 21 сверху на стр. 8 следует читать: «...оказалось 1475...».

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 28/X-1977 г. Т-22901 Подписано к печати 29/XII-1977 г. Тираж 7165 экз.
Зак. 3005 Формат бумаги 70×108¼₁₆ Усл. печ. л. 14,0 Бум. л. 5 Уч.-изд. л. 16,0

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10